

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В Тынце, в корчме «Свирепый тур», принадлежавшей аббатству[1], сидела за столом кучка народу и слушала бывалого рыцаря, который вернулся из дальних стран и рассказывал теперь о том, в каких переделках довелось ему побывать на войне и в дороге.

Бородатый, плечистый, богатырского роста, в полном расцвете сил, рыцарь, однако, был очень худ; волосы у него были убраны под шитую бисером сетку; на кожаном кафтане отпечатались кольца панциря; за наборным поясом, сплошь из медных блях, торчал нож в роговых ножнах, на боку висел короткий дорожный меч.

Рядом с рыцарем сидел за столом длинноволосый юноша с веселым взглядом, видно товарищ его или оруженосец, потому что и он был одет по-дорожному, в точно такой же помятый панцирем кожаный кафтан. Кроме них, за столом сидело двое шляхтичей из окрестностей Кракова да трое горожан в алых остроконечных шапках, языки которых свешивались набок до самых локтей.

Хозяин корчмы, немец, в светло-желтом колпаке с зубчиками по нижнему краю, наливал гостям из жбана в глиняные кружки сыченное пиво и с любопытством прислушивался к рассказу о военных подвигах.

С ещё большим любопытством слушали рыцаря горожане. В те времена ненависть, которая при Локотке разделяла горожан и рыцарство[2], стала уже угасать, и горожанин не гнул так спину перед паном, как в позднейшие века.

Пан ещё ценил его готовность *ad concessionem pecuniarum*[3], и в корчмах нередко случалось видеть, как купцы запросто бражничали с шляхтой. На них взирали даже с некоторой благосклонностью, потому что денег у них всегда было побольше и они обычно платили за своих благородных сотрапезников.

Итак, сидели в корчме горожане с шляхтичами и вели беседу с рыцарем, время от времени подмигивая хозяину, чтобы тот наполнил кружки.

– Сколько свету видали вы, благородный рыцарь! – воскликнул один из купцов.

– Да, немногим из тех, что съезжаются сейчас отовсюду в Краков, привелось столько увидеть, – ответил приезжий рыцарь.

– И пропасть же народу туда съедется! – продолжал горожанин. – Великое торжество и великое ликование в королевстве. Толкуют, и, верно, не зря, будто король всю опочивальню королевы повелел покрыть парчой, шитой жемчугами, и ложе убрать таким же балдахином. Игрища и ристалища будут, каких доселе не видывали.

– Кум Гамрот, не перебивайте рыцаря, – заметил другой купец.

– Да я, кум Айертретер[4], не перебиваю, я только думаю, рыцарю тоже любопытно узнать, что народ толкует, ведь и он, наверно, едет в Краков. Мы нынче все равно не успеем вернуться в город, потому что ворота запрут, а ночью вошь спать не дает, так что успеем наговориться.

– Вам слово, а вы десять. Стареете, кум Гамрот!

– Ну, штуку мокрого сукна я ещё одной рукой подниму.

– Эва! Такого, что, как сито, насквозь светится.

Однако дальнейшие споры прервал странствующий рыцарь.

– Это верно, – сказал он, – что я останусь в Кракове, слышал я про ристалища и охотно попытаю на них свою силу, да и племянник мой тоже, хоть и юн годами и безус, а не одного панцирника поверг уже на землю.

Гости бросили взгляд на юношу, который весело улыбнулся и, заложив за уши длинные волосы, поднес к губам кружку пива.

– Да и захотели бы мы вернуться, – прибавил старый рыцарь, – все равно некуда.

– Это как же так? – спросил один из шляхтичей. – Откуда же вы родом и как вас зовут?

– Меня зовут Мацько из Богданца, а это сын моего родного брата, зовут его Збышко. Герб наш Тупая Подкова, а клич "Грады"!

– Где же он, ваш Богданец?

– Эх, сударь, спросите лучше, где он был, потому что нет уж его. Еще во время войны Гжималитов с Наленчами сожгли дотла наш Богданец, так что один только старый дом остался; все, что было, забрали, а слуги наши разбежались. Одна голая земля осталась, мужики, которые жили по соседству, и те ушли дальше в леса. Отстроились мы с братом, отцом этого хлопца, да на другой год вода все снесла. Потом брат умер, и остался я после его смерти один с сиротою. Подумал я тогда: нет, не усидеть мне здесь! А в ту пору народ толковал про войну, шла молва, будто Ясько из Олесницы, которого король Владислав после Миколая из Москожова[5] послал в Вильно, спешно набирает по всей Польше рыцарей. Отдал я землю в залог достойному аббату, нашему родичу, Янеку из Тульчи, купил на деньги доспехи, коней, снарядился, как положено, в военный поход, посадил на меринка парнишку, которому было в ту пору двенадцать лет, и айда к Яську из Олесницы!

– С подростком?

– Да он в ту пору и подростком-то не был, но крепкий был парнишка. Бывало, в двенадцать лет упрет самострел в землю, прижмет животом да так натянет тетиву рукоятью, что и англичанин – мы их под Вильно видали – лучше не справится.

– Такой был сильный?

– Шлем за мною носил, а как стукнуло ему тринадцать, так и щит стал носить.

– Немало довелось повоевать вам.

– Все из-за Витовта. Сидел князь у крестоносцев, и каждый год делали они набег на Литву под Вильно. Разный народ шел с ними: немцы, французы, англичане – они самые меткие лучники, – чехи, швейцарцы, бургундцы. Рубили они леса, замки по дороге строили, да всю Литву огнем пожгли, мечом посекали, так что весь народ, который живет там, хотел покинуть родную землю и искать другой, хоть на краю

света, хоть среди детей Велиала, только бы подальше от немцев.

– Да и мы тут слышали, будто все литвины хотели уйти с детьми и женами, но только не верили этому.

– А я сам все это видел. Эх, эх! Не будь Миколая из Москожова, Яська из Олесницы да, не в похвальбу сказать, нас вот с ним, не было бы уже и Вильно.

– Это мы знаем. Вы замка не сдали.

– Да, не сдали. Вы вот послушайте хорошенько, что я вам скажу, человек я служилый и в войне искушенный. Еще старики говаривали: «неукротимая Литва», – оно и верно! Ловко литвины дерутся, но не с рыцарями им в поле силами меряться. Вот когда кони немцев в трясине увязнут или лес дремучий кругом, ну, тогда дело другое.

– Немцы добрые рыцари! – воскликнули горожане.

– Они стеной стоят, плечом к плечу, и так собачьи дети закованы в железную броню, что сквозь забрало одни глаза только и видно. И лавой валят. Ударят, бывало, на них литвины и рассыплются кто куда как песок, а нет, так немцы сомнут их и растопчут. Не одни у крестоносцев немцы, – сколько есть народов на земле, все у них служат. Ну и храбрецы! Пригнется это рыцарь к луке, наставит копье и перед битвой один ринется на целое войско, как ястреб на стадо.

– Господи! – воскликнул Гамрот. – А которые ж из них лучше всех?

– Это смотря по оружию. Из самострела лучше всех англичанин стреляет, он панцирь стрелой навывлет пробьет, а в голубя попадет на сто шагов. Чехи страх как секирами рубятся. Что до двуручного меча, так тут немец никому не уступит. Швейцарец железным чеканом легко расколется шлем; но нет лучше рыцаря, чем из французской земли. Этот бьется и конный и пеший и при том так и сыплет дерзкими словами; только его все равно не поймешь, потому тараторят французы, будто в оловянные миски бьют, а так народ ничего, набожный. Они нам через немцев передавали, будто мы, христиане, защищаем язычников и сарацин, и слово дали доказать это в рыцарском единоборстве. Вот такой божий суд должен быть между четырьмя ихними и четырьмя нашими рыцарями, а встреча назначена при дворе Вацлава[6], короля римского и чешского.

Любопытство шляхтичей и купцов было так возбуждено, что они даже шеи вытянули и давай расспрашивать Мацька из Богданца:

– Кто же там будет из наших? Говорите скорей, не томите!

Мацько поднес ко рту кружку и выпил пива.

– Э, – ответил он, – за наших не бойтесь. Ян из Влощовы будет там, каштелян добжинский, да Миколай из Вашмунтова, да Ясько из Здакова, да Ярош из Чехова – все славные рыцари, отменные храбрецы, им не впервой драться на копьях ли, на мечах ли или на секирах. Будет на что поглядеть и что послушать, потому, как я уже сказал, французу ногой на горло наступи, а он все дерзкие слова говорит. Они всех переговорят, а наши, как Бог свят, всех побьют.

– Честь и слава будет нашим, только бы господь их благословил, – сказал один из

шляхтичей.

– И святой Станислав[7], – прибавил другой. Затем, повернувшись к Мацьку, он снова стал расспрашивать: – Ну те-ка, расскажите нам обо всем! Вы вот прославляли отвагу немцев и иных рыцарей, говорили про то, как легко они одолели Литву. А разве с вами им не было потрудней? Разве они так же охотно шли и против вас? Даровал ли вам Бог победу? Наше оружие славьте!

Но Мацько из Богданца не был, видно, бахвалом. Он скромно ответил:

– Кто вновь прибывал из дальних стран, те с охотой шли против нас, ну только раз-другой, бывало, попробуют и поостынут. Неукротим наш народ, и нас часто укоряли за эту неукротимость. «Смерти, – говорят, – не страшитесь, а сарацинам помогаете, гореть вам за это в геенне огненной!» А мы ещё лютей становились, потому ведь неправда все это! Король с королевой крестили Литву, и всяк на Литве поклоняется Иисусу Христу, хоть не всяк и умеет. Известно, что и наш всемилостивейший король, когда в Плоцке в кафедральном соборе повергли на землю идола, повелел ему огарок поставить, и ксендзам пришлось уламывать короля, что не годится так поступать. А что ж говорить о простом человеке! Многие так себе думают: «Повелел князь креститься, я и окрестился, повелел Христу бить поклоны, я и бью, но чего же мне старой нечисти творожку жалеть, не кинуть ей печеной репы, пены не плеснуть с пива? Не сделаешь этого, лошади падут или коровы опаршивеют, молоко станут с кровью давать, а то и урожай пропадет. Многие так делают, потому и попали под подозрение. Да ведь они это все по невежеству, из страха перед нечистью. В старину этой нечисти лучше жилось. У неё были свои леса, свои просторные лесные хаты, верховые кони, да и десятину брали божки. А нынче леса повырублены, есть нечего, по городам в колокола звонят, вот вся нечисть и зарылась в самых дремучих борах да и воет там с тоски. Пойдет литвин в лес, так его там то один, то другой божок за полу кожуха дергает: „Дай!“, говорит. Некоторые дают; но есть и такие смельчаки, что не только не хотят давать, но ещё и ловят их. Один насыпал в воловий пузырь пареного гороху, так туда тотчас тринадцать божков и залезло. А он заткнул их рябиновым колышком да и понес в Вильно продавать францисканцам; ну, те охотно дали ему двадцать скойцев[8], лишь бы расточить врагов имени Христова. Я сам этот пузырь видал, ещё издали от него шел богомерзкий дух – это все бесстыдная нечисть со страху перед святой водой...

– А кто посчитал, что их там тринадцать было? – живо спросил купец Гамрот.

– Литвин считал: он видел, как они лезли. Да по одному духу можно было узнать, что они там сидят, ну, а колышек никому вынимать не хотелось.

– Экое диво какое! – воскликнул один из шляхтичей.

– Да, всякого дива я там насмотрелся. Народ хороший, ничего не скажешь, но только все у них особенное. Лохматые все, разве только какой-нибудь князь у них волосы чешет; едят печеную репу, почитают её за самое лучшее кушанье, от неё будто храбрости прибавляется. В лесных хатах живут со скотиной вместе да с ужами; в питье и в еде никакой меры не знают. Баб ни в грош не ставят, зато девушек очень уважают, верят, что владеют те великой силой: стоит будто девке натереть человеку живот сухой черникой – и колик как не бывало!

– Коли девки красавицы, так не жаль, если и живот схватит, – воскликнул кум Айертретер.

– Про то Збышка спросите, – заметил Мацько из Богданца.

Збышко залился таким смехом, что лавка под ним заходила ходуном.

– Есть и красавицы, – сказал он. – Разве Рынгалла[9] не была красавицей?

– Это что за Рынгалла такая? Прелестница, что ли? Ну же, рассказывай!

– Как, вы не слышали про Рынгаллу? – спросил Мацько.

– И не слыхивали.

– Да ведь это сестра князя Витовта, жена Генрика[10], князя мазовецкого.

– Что вы говорите! Какого князя Генрика? Был один мазовецкий князь Генрик, плоцкий епископ, но он умер.

– Он самый. Рим должен был разрешить его от обета, но смерть раньше его разрешила; видно, не очень порадовал он господа Бога своим поведением. Ясько из Олесницы послал меня к князю Витовту с письмом в Риттерсвердер как раз тогда, когда плоцкий епископ князь Генрик приехал туда к князю от короля. На ту пору Витовту воевать уж наскучило, Вильно он все равно не мог взять, ну, а нашему королю наскучили родные братья с их распутством. Увидел король, что Витовт побойчее и поумнее их, и послал епископа уговорить князя оставить крестоносцев и покориться ему, за что посулил отдать под его власть Литву. Витовт, охотник до всяких перемен, благосклонно выслушал посла. Начались тут пиры да ристалища. И хоть другие епископы этого не одобряют, князь Генрик охотно садился верхом на коня и показывал на ристалищах свою рыцарскую силу. Князья мазовецкие все богатыри, даже девушки из их рода легко ломают подковы. Выбил князь один раз из седла троих рыцарей, в другой раз пятерых, а из наших меня свалил, да у Збышка конь под его натиском прынул и сел на задние ноги. Все награды вручала князю прекрасная Рынгалла, перед которой он в полном вооружении преклонял колена. И так они полюбили друг друга, что на пирах епископа оттаскивали от неё за рукава отцы духовные, которые приехали с ним, а Рынгаллу удерживал брат Витовт. И говорит епископ: «Я, мол, сам разрешу себя от обета, а папа, если не римский, то авиньонский,[11] подтвердит разрешение, но венчаться я должен незамедлительно, иначе сгорю!» Тяжкий это был грех, но Витовт не хотел противиться, чтобы не оскорбить королевского посла, – и они справили свадьбу. Потом уехали в Сураж, а там в Слуцк, к великому горю Збышка, который, по немецкому обычаю, избрал княгиню Рынгаллу госпожой сердца и дал обет быть верным ей до гроба.

– Все это так, – вдруг прервал его Збышко, – да люди потом стали говорить, будто княгиня Рынгалла, пораздумав, решила, что не пристало ей быть женою епископа, который жениться женился, а снять с себя духовный сан не желает, что не может быть над ними благословения господня, и отравила мужа. Я как услышал про то, попросил одного благочестивого отшельника под Люблином разрешить меня от обета.

– Что он отшельник, это верно, – смеясь, возразил Мацько, – но вот благочестив ли, не знаю, потому мы в пятницу приехали к нему в лес, а он рубил топором медвежьи кости да так сосал мозг, что только кадык играл.

– Да, но он говорил, будто мозг – это вовсе не мясо, и сосет он его с особого соизволения, потому как насосётся, так во сне ему бывают чудные видения и на

другой день он может пророчествовать до самого полудня.

– Ну-ну! – сказал Мацько. – Прекрасная Рынгалла теперь вдова и может потребовать, чтобы ты служил ей.

– Понапрасну будет стараться, я себе выберу другую госпожу и буду верен ей до гроба, а там и жену себе добуду.

– Ты добудь сперва рыцарский пояс.

– Эва! Да разве после родин не будет ристалищ? А до ристалищ или после них король не одного рыцаря опояшет. А я против всякого выйду на бой. И епископ не победил бы меня, если бы мой конь не сел на задние ноги.

– Найдутся там получше тебя.

Тут шляхтичи из-под Кракова начали кричать:

– Господи, да ведь перед королевой не такие, как ты, будут выступать, а славнейшие рыцари мира. Состязаться будут Завиша из Гарбова, да Фарурей, да Добко из Олесницы, да Повала из Тачева, да Пашко Злодзей из Бискупиц, да Ясько Нашан, да Абданк из Гуры, да Анджей из Брохотиц, да Кристин из Острова, да Якуб из Кобылян!.. Где тебе мериться с ними силами, ведь против них никто не устоит ни при чешском, ни при венгерском дворе. Что ты болтаешь, будто ты лучше их? Сколько тебе лет?

– Восемнадцатый год, – ответил Збышко.

– Да тебя любой ногтем пришибет.

– Посмотрим.

– Слышал я, – сказал тут Мацько, – будто король щедро награждает рыцарей, которые возвращаются с литовской войны. Кто из вас краковский, – скажите, правда ли это?

– Ей-ей, правда! – ответил один из шляхтичей. – Всему свету известна щедрость короля, только пробиться сейчас к нему будет трудно – ведь в Кракове полным-полно гостей, которые съезжаются на родины и крестины, желая воздать честь и хвалу нашему государю. Ждут венгерского короля, приедет, говорят, римский император и всякие князья и правители, да и рыцарей будет тьма, всякий ведь надеется, что не уйдет от короля с пустыми руками. Толкуют, что прибудет сам папа Бонифаций, который тоже ищет милости и помощи у нашего государя против своего авиньонского недруга. Нелегко будет достигнуть к королю в такой толпе, но уж если достигнешь и припадешь к его стопам, то он щедро вознаградит тебя, коли ты этого заслужил.

– Я припаду к стопам короля, потому что заслужил, а случись ещё война, опять пойду воевать. Взял я кое-какую добычу, да и князь Витовт меня не забыл, не беден я, но скоро уже состарюсь, а как сил-то убудет, захочется и мне иметь спокойный угол.

– Король не оставил своей милостью тех, кто вернулся из Литвы от Яська из Олесницы, они все сейчас как сыр в масле катаются.

– Вот видите! А я в ту пору не воротился – всё ещё воевал. Надо вам сказать, что немцам дорого обошелся союз короля и князя Витовта. Князь хитростью захватил заложников, а потом как ударит на немцев! Он разрушил и предал огню замки, перебил рыцарей, истребил пропасть народу. Немцы хотели отомстить вместе с Свидригайлом[12], который бежал к ним. Опять начался великий поход. Сам магистр Конрад[13] выступил с большой ратью. Немцы осадили Вильно, пытались с высоченных башен пробить тараном стены замков, пытались добыть замки изменой – не удалось! А на обратном пути столько их полегло, что и половина назад не вернулась. Выходили мы в поле и против Ульриха из Юнгингена, брата магистра, самбийского правителя[14]. Но Ульрих в страхе бежал со слезами, и с той поры настал мир, и город теперь отстраивается. Один святой монах, который мог босыми ногами ходить по раскаленному железу, пророчествовал, будто теперь Вильно до светопреставления не увидит под своими стенами вооруженного немца. Но если так оно будет, то чьих же рук это дело?

При этих словах Мацько из Богданца вытянул свои руки – широкие, непомерной силы, а прочие, качая головами, стали поддакивать:

– Да, да! Это он верно говорит! Да!

Но тут разговор оборвался из-за шума, долетевшего с улицы в окна, из которых вынули бычьи пузыри, так как ночь спустилась теплая и ясная. Издали донесся звон оружия, человеческие голоса, фыркание коней и песни. Все в корчме удивились, так как время было позднее и луна уже высоко поднялась в небе. Хозяин-немец выбежал во двор корчмы, но не успели гости осушить последние кружки, как он ещё поспешней вернулся назад и крикнул:

– Едет какой-то двор!

Через минуту в дверях появился слуга в голубом кафтане и алой шапочке. Он остановился на пороге, окинул взглядом присутствующих и, увидев хозяина, сказал:

– Вытрите столы да зажгите огонь: княгиня Анна Данута остановится здесь на отдых.

С этими словами он повернулся и вышел вон. В корчме поднялось движение: хозяин стал звать слуг, а гости в изумлении воззрились друг на друга.

– Княгиня Анна Данута, – сказал один из горожан, – это ведь дочь князя Кейстута, жена Януша Мазовецкого. Вот уж две недели как она в Кракове; это она, верно, ездила в Затор[15] в гости к князю Вацлаву, а сейчас возвращается оттуда.

– Кум Гамрот, – сказал другой горожанин, – пойдемте на сеновал, для нас это слишком высокая компания.

– Нет ничего удивительного, что они едут ночью, – заговорил Мацько, – днем такая жара, но чего это они заехали в корчму, ведь монастырь под боком?

Затем он обратился к Збышку:

– Родная сестра прекрасной Рынгаллы, понял?

А Збышко ответил:

– И мазовецких панночек с нею, верно, без счета!

II

Но тут в корчму вошла княгиня, женщина средних лет, с улыбающимся лицом; она была одета в красный плащ и узкое зеленое платье с позолоченным поясом, который спускался вдоль бедер и внизу был застегнут большой пряжкой. За княгиней шли придворные панны, одни постарше, другие совсем ещё девочки, все в веночках из лилий и роз, многие с лютнями в руках. Некоторые несли целые букеты свежих цветов, нарванных, видно, по дороге. За паннами показались придворные и пажи, и в корчме стало шумно. Все вошли оживленные и веселые, громко разговаривая и напевая, словно в упоении от ясной ночи и яркого сияния луны. Среди придворных были два песенника, один с лютней, другой с гуслими у пояса. Одна из девушек, совсем ещё молоденькая, лет двенадцати, тоже несла за княгиней маленькую лютню, набитую медными гвоздиками.

– Слава Иисусу Христу! – сказала княгиня, остановившись посреди корчмы.

– Во веки веков, аминь! – с низким поклоном ответили присутствующие.

– А где хозяин?

Услышав, что его зовут, немец выступил вперед и, по немецкому обычаю, преклонил одно колено.

– Мы остановимся у тебя отдохнуть и подкрепиться, – сказала княгиня.

– Поторопись, а то мы голодны.

Горожане успели уже выйти из корчмы, а оба местных шляхтича, Мацько из Богданца и молодой Збышко, поклонились ещё раз и хотели было тоже выйти, чтобы не мешать княгине и её свите, однако Анна Данута остановила их:

– Вы шляхтичи и нам не помешаете! Познакомьтесь с придворными. Откуда Бог несет?

Те стали называть свои имена, гербы, кличи и деревни, из которых они были родом. Услышав от Мацька, откуда он с племянником возвращается, княгиня всплеснула руками.

– Ах, как кстати! – воскликнула она. – Расскажите нам про Вильно, про моего брата и сестру. Приедет ли князь Витовт на родину и крестины?

– Князь хочет приехать, да не знает, сможет ли; потому он и послал с ксендзами и боярами серебряную колыбель в дар королеве. С этой колыбелью приехали и мы с племянником, мы её охраняли в пути.

– Так колыбель уже здесь? Хотелось бы мне её посмотреть. Она вся из чистого серебра?

– Вся из чистого серебра, но её здесь уже нет. Ее повезли в Краков.

– А что же вы делаете в Тынце?

– Мы завернули сюда в монастырь к аббату, нашему родичу, хотим отдать на

сохранение святым отцам всю нашу военную добычу и дары князя.

– Это вам Бог послал. Велика ли добыча? Но, скажите, почему брат не уверен, что сможет приехать?

– Он готовит поход на татар.[16]

– Я это знаю; одно меня смущает, королева не пророчила счастливого конца этого похода, а все её пророчества всегда сбываются.

Мацько улыбнулся.

– Эх, благочестива государыня наша, ничего не скажешь, но ведь с князем Витовтом пойдет множество наших рыцарей, отменных храбрецов, против которых никто не устоит.

– А вы не пойдете?

– Ведь меня послали с другими колыбель охранять, да и пять уж лет, как я не снимал доспехов, – ответил Мацько, показывая на отпечатки панциря на своем лосином кафтане. – Но дайте только отдохнуть, и я опять пойду, а нет, так племянника Збышка отдам пану Спытку из Мельштына, который поведет в поход всех наших рыцарей.

Княгиня Данута бросила взгляд на рослую фигуру Збышка, но тут разговор оборвался, так как в корчму вошел монах и, поздоровавшись с княгиней, стал смиренно укорять её за то, что она не прислала в монастырь гонца с вестью о своем прибытии и остановилась не у них, а в простой корчме, что не приличествует её сану. Разве мало домов в монастыре, где находит приют даже простой человек, что же говорить о таком почетном госте, как супруга князя, предки и родственники которого оказали монастырю столько благодеяний!

Но княгиня весело ему возразила:

– Мы сюда заехали только размяться, утром нам надо ехать в Краков. Мы выспались днем и ехали ночью по прохладе, петухи уж пели, и я не хотела будить благочестивую братию, да ещё с таким народом, который больше думает не об отдыхе, а о песнях да плясках.

Но монах продолжал настаивать на своем.

– Нет. Мы уж здесь останемся. Послушаем светских песен, время и пролетит незаметно, а к утрени приедем в костёл, чтобы день начать с Богом.

– Служба будет о здравии милостивейшего князя и милостивейшей княгини, – сказал монах.

– Князь, супруг мой, приедет только через четыре-пять дней.

– Господь Бог и издалика ниспошлет ему благоденствие, а пока позвольте нам, смиренным, хоть вина принести вам из монастыря.

– Благодарствуем, – ответила княгиня.

Когда монах вышел, она тотчас крикнула:

– Эй, Дануся! Дануся! Встань-ка на лавку да потешь нашу душеньку той песней, которую ты пела в Заторе.

Придворные мигом поставили лавку посреди корчмы. Песенники сели по краям, а между ними стала та самая девочка, которая несла за княгиней лютню, набитую медными гвоздиками. Косы у неё были распущены по плечам, на голове веночек, платье голубое, башмачки красные с длинными носками. Стоя на лавке, девочка казалась маленьким чудным ребенком, словно фигуркой из костёла или рождественского вертепа. Видно, не впервые приходилось ей стоять вот так и петь перед княгиней, потому что она не обнаруживала ни тени смущения.

– Ну же, Дануся, ну же! – кричали придворные панны.

Взяв лютню, девочка подняла голову, как пташка, когда хочет запеть, и, полузакрыв глаза, затянула серебряным голоском:

Ах, когда б я пташкой
Да летать умела,
Я бы в Силезию
К Ясю улетела!

Песенники тотчас стали вторить ей, один на гусельцах, другой на большой лютне; княгиня, которая ничего так не любила, как светские песни, стала покачивать в такт головой, а девочка снова затянула тоненьким детским голоском, свежим, как у пташки, когда весной она поет в лесу свою песенку:

Сиротинкой бедной
На плетень бы села:
«Глянь же, мой соколик,
Люба прилетела».

И снова завторили ей оба песенника. Молодой Збышко из Богданца, который с детских лет привык к войне и ужасным её картинам, в жизни ничего подобного не видывал; коснувшись плеча стоявшего рядом мазура, он спросил:

– Кто это такая?

– Панночка из свиты княгини. Немало песенников увеселяют наш двор, но эта маленькая певунья всех милей княгине, и ничьих песен она не слушает так жадно, как её.

– И не диво. Я думал, это ангел, не наглажусь на неё. Как же её зовут?

– Да разве вы не слышали? Дануся. Отец её Юранд из Спыхова, могущественный и храбрый комес[17], прославленный рыцарь, в бою он выступает впереди хоругви.

– Экая краса невиданная!

– Любят её все и за песни, и за красу.

– Кто ж её рыцарь?

– Да она ведь ещё совсем дитя.

Дануся снова затянула песенку, и разговор оборвался. Збышко глядел сбоку на её светлые волосы, на приподнятую головку, на полузакрытые глаза, на всю её фигурку, залитую огнями восковых свечей и лунным сиянием, лившимся в растворенные окна, – и все больше и больше дивился. Ему казалось, что он уже где-то видел её, он только не помнил – во сне ли или где-то в Кракове на окне костёла.

И снова тихонько толкнув придворного, он спросил у него, понизив голос:

– Так она из вашего двора?

– Мать Дануси приехала из Литвы с княгиней Анной Данутой, та выдала её тут за графа Юранда из Спыхова. Красавица она была и знатного рода, княгиня любила её больше всех своих придворных панн, да и она любила княгиню. Потому и дочку назвала Анной Данутой. Но пять лет назад, когда немцы под Злоторьей напали на наш двор, она умерла со страху. Княгиня взяла тогда девочку – и с той поры воспитывает её. Отец тоже часто наезжает ко двору и радуется, видя, что девочка его здорова и окружена любовью. Но только как ни взглянет он на неё, так всякий раз слезами и обольется, вспомнив свою покойницу, а вернувшись домой, мстит немцам за тяжкую обиду. Так любил он жену, как никто во всей Мазовии своей жены не любил, – и тьму немцев он за неё уже перебил.

У Збышка мгновенно зажглись глаза и жилы вздулись на лбу.

– Так немцы убили её мать? – спросил он.

– И убили и не убили. Сама она померла со страху. Пять лет назад был мир, никто про войну не думал, все жили спокойно. Без войска, с одной только свитой, как всегда в мирное время, князь поехал в Злоторью[18] строить башню. И тут, не объявляя войны, без всякого повода, вторглись в наш край предатели-немцы.. Позабыв страх божий и все благодеяния, оказанные им предками князя, они привязали его к коню и угнали в неволю, а людей поубивали. Долго томился князь в неволе у немцев, только когда король Владислав пригрозил им войною, страх объял их, и они отпустили князя. Но во время набега скончалась мать Дануси, со страху подкатило у неё к самому сердцу и так сдавило в горле, что она померла.

– А вы, пан рыцарь, были при этом? Скажите, как вас зовут, а то я позабыл.

– Зовут меня Миколай из Длуголяса, а прозвище мое Обух. Я был во время набега. Видал, как один немец с павлиньими перьями на шлеме хотел привязать мать Дануси к седлу и как она на глазах у него побелела на веревке как полотно. Меня самого алебардой рубнули, вот и шрам остался.

С этими словами он показал глубокий шрам на голове, который тянулся из-под волос до самой брови.

На минуту воцарилось молчание. Збышко снова вперил взор в Данусю.

– Так вы говорите, – спросил он, помедлив, – у неё нет рыцаря?

Однако ответа он не дождался, так как в это мгновение песня оборвалась. Один из песенников, толстый парень, поднялся вдруг с лавки, и она качнулась набок. Дануся, пошатнувшись, взмахнула ручками, но упасть или соскочить с лавки не успела – Збышко ринулся, как лев, и подхватил её на руки.

Княгиня в первую минуту вскрикнула от страха, но потом весело рассмеялась.

– Вот и рыцарь Данусе! – воскликнула она. – Подойди, рыцарь молодой, и отдай нам милую нашу певунью!

– Ловко он её подхватил! – послышались возгласы среди придворных.

Збышко направился к княгине, прижимая к груди Данусю, которая обняла его одной рукой за шею, а другую подняла с лютней вверх, чтобы не раздавить свой инструмент. Всё ещё испуганное лицо её озарилось радостной улыбкой. Приблизившись к княгине, юноша опустил перед нею Данусю на пол, а сам преклонил колени и, подняв голову, с удивительной для его лет смелостью сказал:

– Быть по-вашему, милостивейшая княгиня! Пора этой прекрасной панне иметь своего рыцаря, пора и мне иметь свою госпожу, красоту и добродетели которой я бы прославлял, потому, с вашего дозволения, я хочу дать обет этой панне и остаться ей верным до гроба.

Удивление изобразилось на лице княгини, однако не речь Збышка поразила её, а внезапность всего происшедшего. Правда, рыцарские обеты в Польше не были в обычае, но Мазовия, лежавшая на немецком рубеже и часто выдавшая рыцарей даже из дальних стран, знала этот обычай лучше, чем другие польские земли, и часто следовала ему. Княгиня слышала о нем ещё при дворе своего великого отца, где все западные обычаи почитались законом и образцом для самых благородных воителей, поэтому в желании Збышка она не нашла ничего оскорбительного ни для себя, ни для Дануси. Она даже обрадовалась, что милая её сердцу придворная начинает пленять сердца и взоры рыцарей.

– Данусенька, Данусенька, – обратилась она, повеселев, к девочке, – хочешь иметь своего рыцаря?

Дануся сперва три раза подпрыгнула в своих красных башмачках, встряхивая распущенными косами, а затем, обвив руками шею княгини, воскликнула с такой радостью, точно ей посулили забаву, дозволенную только взрослым:

– Хочу! Хочу! Хочу!..

У княгини от смеха слезы выступили на глазах; вместе с нею смеялась вся свита. Высвободившись наконец из объятий девочки, княгиня обратилась к Збышку:

– Ну что ж, давай, давай обет! В чем же ты ей клянешься?

Хотя все кругом смеялись, Збышко хранил непоколебимую серьезность и так же серьезно, не поднимаясь с колен, произнес:

– Клянусь по прибытии в Краков повесить щит на корчме с пергаментом, на котором монах-краснописец четко напишет, что панна Данута самая прекрасная и самая добродетельная из всех девиц, какие только живут во всех королевствах. А кто станет мне в том перечить, с тем клянусь драться до тех пор, пока сам не погибну или он не погибнет, а нет, так сдастся.

– Отлично! Видно, ты знаешь рыцарский обычай. А ещё что?

– А ещё... От пана Миколая из Длуголяса я узнал, что матушка панны Дануты испустила дух по вине немца с павлиньим гребнем на шлеме, потому я даю обет сорвать с немецких голов несколько таких павлиньих чупрунов и сложить их к ногам моей госпожи.

При этих словах княгиня перестала смеяться и спросила:

– Ты что, не на шутку даешь этот обет?

А Збышко ответил:

– Так, да поможет мне господь Бог и крест святой; свой обет я повторю ксендзу в костёле.

– Похвально сражаться с лютым врагом нашего племени, но мне жаль тебя, ты молод и легко можешь погибнуть.

Но тут приблизился Мацько из Богданца, который, будучи человеком старозаветным, только пожимал плечами, слушая княгиню и Збышка, но сейчас счел уместным вмешаться:

– Не тревожьтесь о том, милостивейшая пани! В битве смерть может настичь всякого, а для шляхтича, стар ли он, молод ли, сложить голову в бою – это славная смерть. И не в диковинку война моему хлопцу; хоть и юн он годами, а не раз уж довелось ему биться и конному и пешему, и на копьях и на секирах, и на длинных и на коротких мечах, и со щитом и без щита. Новый это обычай, чтобы рыцарь давал обет девушке, которая пришлась ему по сердцу; но я не стану корить Збышка за то, что он посулил своей госпоже павлиньи чупруны. Лупил он уже немцев, пусть ещё их взлупит, а что проломит при том несколько голов, так это только послужит к вящей его славе.

– Да, я вижу, что он не робкого десятка, – сказала княгиня.

Потом она обратилась к Данусе:

– Садись-ка на мое место, ты сегодня у нас первая особа, только не смейся, нехорошо.

Дануся села на место княгини; она хотела казаться серьезной, но голубые глазки её смеялись коленопреклоненному Збышку, и она не могла удержаться, чтобы от радости не болтать ножками.

– Дай ему перчатки, – сказала княгиня.

Дануся достала перчатки и подала их Збышку, который весьма почтительно принял их из её рук и, прижав к устам, сказал:

– Я приколю их к шлему, и горе тому, кто осмелится посягнуть на них!

С этими словами он поцеловал Данусе руки и ноги и поднялся с колен. Но тут его оставила прежняя серьезность, сердце юноши преисполнилось великой радостью от того, что отныне весь двор будет почитать его зрелым мужем, потрясая перчатками Дануси, он весело и вместе с тем запальчиво воскликнул:

– Эй, сюда, псы с павлиньими чупрунами! Эй, сюда!

В это мгновение в корчму вошел тот самый монах, который приходил уже раньше, а с ним двое другие, постарше. Монастырские служки несли за ними ивовые корзины, наполненные баклагами с вином и собранными на скорую руку лакомствами. Вновь пришедшие монахи, приветствуя княгиню, снова стали упрекать её за то, что она не заехала в монастырь, а она снова стала объяснять им, что, выпавшись за день, путешествует со свитой ночью по холодку, поэтому в отдыхе не нуждается и, не желая будить ни достославного аббата, ни святых монахов, решила остановиться в корчме, чтобы немного размяться.

Обменявшись множеством учтивостей, порешили наконец на том, что после утрени и ранней обедни княгиня со свитой позавтракает и отдохнет в монастыре. Гостеприимные монахи пригласили вместе с мазурами краковских шляхтичей и Мацька из Богданца, который и без того намерен был отправиться в аббатство, чтобы оставить там на хранение военную добычу и дары щедрого Витовта, предназначенные для выкупа Богданца. Но молодой Збышко не слышал приглашения – он бросился к своим повозкам, стоявшим под охраной слуг, чтобы переодеться и предстать перед княгиней и Данусей в более приличном наряде. Сняв с повозки короба, он велел отнести их в людскую и стал там переодеваться. Торопливо причесав волосы, он убрал их под шелковую сетку, шитую янтарем, а спереди настоящим жемчугом. Затем он надел белый шелковый полукафтан, расшитый золотыми грифами, с нарядной оторочкой понизу; поверх кафтана подпоясался двойным золоченым поясом, на котором висел короткий меч с насечкой из серебра и слоновой кости. Все на нем было новое, все сверкало и не носило никаких следов крови, хотя было захвачено в поединке у молодого фризского рыцаря[19], служившего у крестоносцев. Затем Збышко надел красивые штаны с одной штаниной в продольные зеленые и красные полосы, другой – в фиолетовые и желтые, а сверху – в пеструю шахматную клетку. Надев после этого красные башмаки с длинными носками, красивый и нарядный, он направился в общую комнату.

Когда он остановился в дверях, все просто ахнули. Увидев, какой красавец рыцарь дал обет служить её Данусе, княгиня ещё больше обрадовалась. Дануся в первое мгновение кинулась к Збышку, как серна. Но она не успела добежать до него; красота ли юноши, изумленные ли возгласы придворных остановили её, только за какой-нибудь шаг от него она замерла, потупив вдруг глазки, и, вся вспыхнув, сжала в смущении ручки и стала перебирать пальчиками.

За ней подошли к Збышку другие: сама княгиня, придворные, песенники, монахи; все хотели получше рассмотреть юного рыцаря. Мазовецкие панны глаз с него не сводили, и каждая из них жалела теперь о том, что не она стала его избранницей, старшие дивились пышности его наряда, так что Збышко очутился в кругу любопытных; стоя посередине, он с самодовольной улыбкой чуть-чуть повертывался на месте, чтобы все получше могли его рассмотреть.

– Кто это такой? – спросил один из монахов.

– Рыцарь, племянник вот этого шляхтича, – ответила княгиня, показывая на Мацька, – он только что дал обет служить Данусе.

Монахи этому тоже не удивились, так как подобные обеты ни к чему не обязывали. Рыцари часто давали обет замужним женщинам, а у родовитой знати, знакомой с западным обычаем, почти не было дамы, которая не имела бы своего рыцаря. Если рыцарь давал обет девушке, то он вовсе не становился её женихом: напротив, она

чаще всего выходила замуж за другого, он же, если отличался постоянством, оставался верен ей, но женился тоже на другой.

Несколько больше удивил монахов возраст Дануси, да и то не очень, так как в те времена шестнадцатилетние отроки становились уже каштелянами. Самой великой королеве Ядвиге в ту пору, когда она прибыла из Венгрии, едва минуло пятнадцать лет, а тринадцатилетние девочки выходили тогда замуж. Впрочем, в эту минуту взоры были обращены не столько на Данусю, сколько на Збышка, и все слушали Мацька, который, гордясь своим племянником, рассказывал, каким образом юноша добыл столь богатое платье.

– Год и девять недель назад, – рассказывал Мацько, – пригласили нас в гости саксонские рыцари. У них гостил один рыцарь из народа фризского, который живет далеко, у самого моря, а с ним сын, года на три постарше Збышка. Как-то на пиру сын рыцаря стал, глумясь, говорить Збышку, что нет, мол, у него ни усов, ни бороды. Збышко, хлопец горячий, не стал его слушать, схватил за бороду и всю её ему вырвал, за что мы дрались после на смерть или на неволю.

– Как же это вы дрались? – спросил пан из Длуголяса.

– Отец вступился за сына, я – за Збышка, вот мы и дрались вчетвером при гостях на утопанной земле. Уговор у нас был такой, что победитель заберет и полные повозки, и коней, и слуг побежденного. Бог пришел нам на помощь. Порубили мы фризов, хоть и нелегко далась нам победа над этими сильными и храбрыми рыцарями, и добычу захватили богатую: четыре полные повозки, в каждую по паре мерингов запряжено, да четверку рослых скакунов, да девять человек прислуги, да на двоих отборные доспехи, каких у нас, пожалуй, и не сыщешь. Правда, мы помяли в бою шлемы, но господь кой-чем другим нас вознаградил – взяли мы целый кованый сундук дорогого платья; то, что сейчас на Збышке, тоже было в этом сундуке.

Тут оба краковских шляхтича и все мазуры стали с большим уважением поглядывать на дядю и племянника, а пан из Длуголяса, по прозвищу Обух, сказал:

– Я вижу, вы народ решительный и смелый.

– Теперь мы верим, что этот юноша добудет павлиньи чупруны!

А Мацько смеялся, причем в суровом лице его было что-то хищное.

Монастырские служки добыли тем временем из ивовых корзин вина и лакомства, а служанки стали вносить блюда дымящейся яичницы, обложенной колбасами, от которых по всей корчме пошел сильный и смачный дух свиного сала. При виде яичницы и колбас гостям захотелось есть, и все двинулись к столам.

Однако никто не садился, прежде чем княгиня не займет свое место; она села посредине, велела Збышку и Данусе занять места рядом напротив неё, а потом сказала Збышку:

– Тебе полагается есть из одной миски с Данусей, только не жми ей под лавкой ноги и не касайся её колен, как делают другие рыцари, – она для этого ещё слишком молода.

Он ответил княгине:

– Если я и стану это делать, милостивейшая пани, то разве только через два-три года, когда господь позволит мне выполнить обет и когда созреет эта ягодка; что ж до того, чтоб жать ей ножки, то этого я не мог бы сделать, если бы даже захотел, – ведь они у неё не достают до полу.

– Это верно, – сказала княгиня, – приятно, однако, знать, что ты учтив в обхождении.

После этого все занялись едой и воцарилось молчание. Збышко отрезал самые жирные куски колбасы и подавал их Данусе, а то и просто клал ей в рот, а она, довольная, что ей прислуживает такой нарядный рыцарь, уплетала колбасу за обе щеки, моргая глазками и улыбаясь то ему, то княгине.

Когда гости опростали блюда, монастырские служки стали разливать сладкое ароматное вино – мужчинам помногу, женщинам – поменьше; но рыцарскую свою учтивость Збышко особенно выказал, когда внесли полные чаши присланных из монастыря орехов. Там были и лесные, и редкие в те времена грецкие орехи, привозимые издалека, на которые гости накинулись с такой жадностью, что через минуту по всей корчме слышен был только треск скорлупы на зубах. Однако напрасно было бы думать, что Збышко помнил только о себе, он предпочел показать княгине и Данусе свою рыцарскую силу и воздержность, нежели, набросившись с жадностью на редкое лакомство, уронить себя в их глазах. Набрав полную горсть лесных или грецких орехов, он не разгрызал их зубами, как делали другие, а раскалывал, сжимая своими железными пальцами, и подавал Данусе очищенные от скорлупы ядра. Он придумал даже забаву для неё: вынув ядро, он подносил руку к губам и дул на скорлупу: под могучим его дыханием скорлупа взлетала под самый потолок. Дануся хохотала до упаду, так что княгиня, опасаясь, как бы девочка не подавилась, велела Збышку прекратить эту забаву; видя, как рада Дануська, княгиня спросила у неё:

– А что, Дануся, хорошо иметь своего рыцаря?

– Ах, как хорошо! – ответила девочка.

Она коснулась розовым пальчиком белого шелкового кафтана Збышка и, тут же отдернув руку, спросила:

– А завтра он тоже будет моим?

– И завтра, и в воскресенье, до гроба, – ответил Збышко.

После орехов подали сладкие пироги с изюмом, и ужин затянулся. Одним придворным хотелось поплясать, другим послушать песенников или Данусю; но у Дануси под конец стали слипаться глазки и клониться от дремоты головка; раз-другой она ещё взглянула на княгиню, на Збышка, протерла ещё разок кулачками глазки – и, с великим доверием опершись на плечо своего юного рыцаря, тут же уснула.

– Спит? – спросила княгиня. – Вот тебе и «дама».

– Она и во сне мне милей, чем другая в танце, – ответил Збышко, сидя прямо и не двигаясь, чтобы не разбудить девушку.

Однако Данусю не разбудили даже музыка и песни. Одни притопывали ногами в такт музыке, другие вторили ей, гремя мисками, но чем больше был шум, тем крепче она

спала, открыв, как рыбка, ротик.

Дануся проснулась только тогда, когда запели петухи, зазвонили колокола в костёле, и все поднялись с лавок с возгласами:

– На утреню! На утреню!

– Пойдем пешком во славу божию, – сказала княгиня.

И, взяв за руку пробудившуюся Данусю, она первая вышла, а за нею высыпала вся свита.

Ночная тьма уже поредела. На востоке светлело небо. Узкая золотая полоска зари, с зеленой каймой вверху и алой внизу, разливалась на глазах. Луна на западе словно отступала перед ней. А заря становилась все алее, все ярче. Мир пробуждался, омытый сильной росой, радостный и отдохнувший.

– Бог дал хорошую погоду, но жара будет страшная, – говорили придворные.

– Не беда! – успокаивал их пан Миколай из Длуголяса, – выпимся в аббатстве, а в Краков приедем под вечер.

– Пожалуй, опять прямо на пир.

– Там и нынче что ни день гуляют, ну а после родин да ристалищ пир пойдет горой.

– Посмотрим, как себя покажет рыцарь Дануси.

– Э, да ведь они богатыри!.. Слыхали, как они рассказывали про свой поединок с двумя фризами?

– Может, к нашему двору пристанут, вон о чем-то советуются.

Мацько и Збышко в самом деле держали совет; старик не очень был рад, что все так сложилось; идя позади свиты и нарочно отставая, чтобы потолковать с племянником на свободе, он говорил ему:

– Сказать по правде, никакого проку для тебя я во всем этом не вижу. Уж как-нибудь я пробьюсь к королю, ну хоть с этим двором, может, что-нибудь и заполучим. Очень мне хочется замок небольшой или городок заполучить... Ну да посмотрим. Богданец, само собой, выкупим, потому чем отцы наши владели, тем и мы должны владеть. Но откуда взять мужиков? Аббат поселил там новых, но ведь он их назад возьмет, а без мужика земле грош цена. Вот и смекай, что я тебе скажу: ты там обеты давай кому хочешь, но с паном из Мельштына иди к князю Витовту воевать против татар. Коли затрубят в трубы до родин, не жди, покуда королева родит и начнутся рыцарские ристалища, а выступи в поход, потому там может быть добыча. Ты знаешь, как щедр князь Витовт, а тебя он уже знает. Отличишься, богатые дары от него получишь. А что всего важнее – даст Бог, захватишь уйму невольников. Татар на свете тьма-тьмушая. В случае победы по полсотни, а то и больше на брата придется.

Тут Мацько, алчный до земли и мужиков, размышлял:

– Боже ты мой! Пригнать с полсотни невольников да поселить в Богданце!

Расчистили бы кусок пуши. Поднялись бы мы оба. Знай, нигде так не разживешься, как там!

Но Збышко покачал головой:

– Эва! Наторочить конюхов, которые жрут конскую падаль и к земле не привыкли! Какой толк от них в Богданце?.. К тому же я дал обет добыть три немецких гребня. Где я их найду у татар?

– Дал обет по глупости, такая и цена твоему обету.

– А моя рыцарская честь? Как с нею быть?

– А как было с Рынгаллой?

– Рынгалла отравила князя, и отшельник разрешил меня от обета.

– Так тебя в Тынце разрешит аббат. Аббат получше пустытника, тот не на монаха, а больше на разбойника смахивал.

– Да не хочу я.

Мацько остановился и спросил, видно разгневавшись:

– Что ж будем делать?

– Поезжайте к Витовту сами, я не поеду.

– Ах ты, мальчишка! А кто к королю пойдет на поклон?.. И не жаль тебе моих косточек?

– На ваши косточки дерево свалится, и то не поломает их. Да хоть мне и жаль было бы вас, все равно я к Витовту не поеду.

– Что же ты будешь делать? Останешься сокольничим или песенником при мазовоцком дворе?

– А разве плохо быть сокольничим? Коли вам слушать меня неохота, а поворчать приспичило, ну что ж, ворчите.

– Ну куда ты поедешь? Что ж тебе, наплевать на Богданец? Ногтями будешь землю ковырять? Без мужиков-то?

– Неправда! Ловко вы это придумали с татарами. Слыхали, что на Руси говорят? – татар, мол, столько найдешь, сколько их полегло в бою, а полонить никого не полонишь, потому в степи татарина никому не догнать. Да и на чём я буду гнаться за ними? Уж не на тех ли тяжелых жеребцах, которых мы захватили у немцев? Как же, догонишь на них! А какую добычу я возьму? Одни паршивые тулупы. То-то богачом вернусь в Богданец, то-то назовут меня комесом!

В словах Збышка было много правды, и Мацько умолк; только через минуту он заметил:

– Но тебя наградил бы князь Витовт.

– Это ещё как сказать: одному он дает слишком много, а другому ничего.

– Ну тогда говори, куда поедешь?

– К Юранду из Спыхова.

Мацько в гневе передернул пояс на кожаном кафтане и бросил:

– А чтоб ты пропал!

– Послушайте, – спокойно сказал Збышко. – Я говорил с Миколаем из Длуголяса, и он мне рассказал, что Юранд мстит немцам за жену. Я пойду на помощь ему. Ведь вы сами говорили, что мне не в диковину драться с немцами, что я знаю их повадки и знаю, как одолеть их. Да и там, на границе, я скорее добуду павлиньи чупруны, а вы знаете, что павлиний гребень какой-нибудь кнехт на голове не носит, – выходит, коли Бог поможет добыть гребни, то поможет взять и добычу. Ну, а тамошний невольник – это вам не татарин. Такого поселишь в бору, век не пожалеешь.

– Да ты, парень, что, ума решился? Ведь сейчас нет войны, и Бог весть когда она будет!

– Ах, дядюшка! Заключили медведи мир с бортниками и бортей не портят, и меду не едят! Ха-ха! Да неужто вы не знаете, что войска не воют и король с магистром приложили к пергаменту свои печати, но на границе-то вечные стычки. Угонит кто-нибудь скотину, стадо, так за одну корову жгут целые деревни и осаждают замки. А разве не угоняют в неволю мужиков и девок? А купцов на больших дорогах? Вспомните старые времена, о которых вы сами мне рассказывали. Разве плохо было Наленчу, когда он захватил сорок рыцарей, ехавших к крестonosцам, посадил их в подземелье и не отпускал до тех нор, пока магистр не прислал ему полный воз гривен? Юранд из Спыхова тоже только тем и занят, и дело на границе всегда найдется.

Минуту они шли в молчании. Тем временем совсем рассвело, и яркие лучи солнца осветили скалы, на которых было выстроено аббатство.

– Бог везде может послать счастье, – смягчился наконец Мацько, – помолись, чтобы ниспослал тебе свое благословение.

– Это верно, все в его воле!

– И о Богданце подумай, ты ведь не уверишь меня, что хочешь ехать к Юранду из Спыхова не ради этой свиристелки, а ради Богданца.

– Вы мне этого не говорите, не то я рассержусь. Не стану отпираться, гляжу не нагляжусь я на неё, не такой я дал ей обет, как Рынгалле. Случалось ли вам встречать девицу краше её?

– Что мне до её красоты! Лучше, как подрастет, женись на ней, коли она дочка могущественного комеса.

Лицо Збышка осветилось юношеской доброй улыбкой.

– И то дело. Не нужна мне ни другая госпожа, ни другая жена! Вот состаритесь вы и зануют ваши старые косточки, так ещё помянчите наших с нею детей.

При этих словах улыбнулся и Мацько и ответил, совсем смягчившись:

– Грады! Грады! Пусть же посыплются тогда градом детишки. В старости радость, по смерти спасение подай нам, Иисусе!

III

Княгиня Данута, Мацько и Збышко уже бывали в Тынце, но некоторые придворные видели его впервые. Подняв глаза, они в изумлении смотрели на величественный монастырь, на зубчатые стены, которые тянулись вдоль скал над обрывами, на высокие здания, которые громоздились то по склону горы, то за острогом, отливая золотом в лучах восходящего солнца. При первом же взгляде на эти великолепные стены и сооружения, на эти дома и хозяйственные постройки, на сады, лежавшие у подошвы горы, и на тщательно возделанные поля, которые с высоты открывались взору, можно было сказать, что тут за столетия накоплены неисчислимые богатства, непривычные и удивительные для жителей бедной Мазовии. И в других местах были старинные богатые бенедиктинские аббатства, например в Любуше на Одре, в Плоцке, в Могильне, что в Великой Польше, но ни одно из них не могло сравниться с тынецким, владения которого были обширней многих удельных княжеств, а доходы могли возбудить зависть даже у тогдашних королей.

Придворные диву давались, иные просто глазам своим не верили, а княгиня, желая скоротать время и поразвлечь своих приближенных панны, попросила одного из монахов рассказать старинную и страшную повесть о Вальгере Прекрасном[20], которую ей уже рассказывали, хоть и не очень подробно, в Кракове.

Заслышав об этом, панны тесной стайкой окружили княгиню и медленно направились в гору, в лучах утреннего солнца подобные движущимся цветам.

– Пусть брат Гидульф расскажет о Вальгере, он ему как-то ночью явился, – сказал один из монахов, поглядывая на другого, человека преклонных лет, который, сгорбившись, шел рядом с Миколаем из Длуголяса.

– Неужто вы, святой отче, видели его собственными глазами? – спросила княгиня.

– Видел, – угрюмо ответил монах. – Бывает такая пора, когда, по воле Божьей, он может покидать преисподнюю и показываться миру.

– Когда же это бывает?

Старик бросил взгляд на других монахов и умолк, – существовало поверье, будто дух Вальгера является тогда, когда в монашеском ордене портятся нравы и монахи больше, чем следует, помышляют о земных благах и мирских утехах.

Никто из них не хотел в этом признаться, но призрак, по поверью, предвещал также войну или иное бедствие, и брат Гидульф, помолчав с минуту времени, промолвил:

– Явление его не сулит добра.

– И я не хотела бы увидеть его, – крестясь, сказала княгиня. – Но почему же он в преисподней, если только отомстил за свою тяжкую обиду?

– Да будь он всю жизнь праведником, – сурово возразил монах, – все равно был бы осужден на вечные муки, ибо жил в язычестве и не очистился святым крещением от первородного греха.

Брови княгини мучительно сжались при воспоминании о том, что её великий отец, которого она любила всей душой, умер тоже язычником и должен вечно гореть в геенне огненной.

– Мы слушаем вас, – сказала она, помолчав.

– Жил-был в языческие времена, – повел свой рассказ брат Гидульф, – могущественный граф, за неописанную красоту прозванный Вальгером Прекрасным. Весь этот край, что глазом его не окинуть, принадлежал графу, а в походы он водил не одно пешее войско, но и по сотне копейщиков, ибо все рыцари на запад до самого Ополя и на восток до Сандомира были его вассалами. Счету не знал он своим стадам, а в Тынце была у него башня, доверху набитая деньгами, как нынче в Мальборке у крестоносцев.

– Знаю, есть у них такая башня, – прервала его княгиня Данута.

– Богатырь он был, – продолжал монах, – дубы вырывал с корнем, и в мире не было красавца, равного ему, и никто не мог сравниться с ним в игре на лютне и в песнях. Случилось ему быть при дворе французского короля, и полюбила его королева Гельгунда; дабы прославить имя господне, король-отец хотел отдать дочь в монастырь, а она бежала с графом в Тынец, и стали они жить во грехе, ибо ни один ксендз не хотел обвенчать их по христианскому обряду. Жил-был в ту пору в Вислице Вислав Красивый из рода короля Понеля. В отсутствие Вальгера учинял он набеги на тынецкое графство. Вальгер разбил его и увел в Тынец в неволю, невзирая на то, что всякая жена, раз увидев Вислава, готова была отречься от отца с матерью и мужа, лишь бы только утолить с ним свою страсть. Так оно случилось и с Гельгундой. Придумала она для Вальгера такие оковы, что хоть богатырь он был и дубы вырывал с корнем, а не мог их разорвать, и отдала мужа Виславу, который увез его в неволю в Вислицу. Но Рынга, сестра Вислава, слышав в подземелье песню Вальгера, воспыкала любовью к нему и выпустила из подземелья, а он, порубив мечом Вислава и Гельгунду и бросив их тела на съедение вранам, вернулся сам с Рынгою в Тынец.

– Разве он худо поступил? – спросила княгиня.

Но брат Гидульф ответил:

– Когда бы принял он святое крещение и Тынец отдал бенедиктинцам, может, Бог отпустил бы ему грехи его, но граф этого не сделал, и земля пожрала его.

– Да разве бенедиктинцы уже были в королевстве?

– Не было бенедиктинцев, в королевстве одни язычники жили.

– Как же мог он принять святое крещение или отдать Тынец?

– Не мог – и потому осужден на вечные муки, – важно ответил монах.

– Верно! Правду он говорит! – раздалось несколько голосов.

Тем временем все приблизились к главным воротам обители, где княгиню ждал аббат с целой свитой монахов и шляхтичей. Светских лиц – «экономов», «адвокатов», «прокураторов» и всяких служащих ордена – в обители всегда бывало немало. Да и шляхтичи, в том числе богатые рыцари, по довольно редко применявшемуся в Польше ленному праву, брали в лен необозримые монастырские земли и в качестве «вассалов» охотно пребывали при дворе «сюзерена», где у подножия престола господня легко было заполучить дары, льготы и всякие блага часто за небольшую услугу, удачное словцо или просто под веселую руку всемогущего аббата. Многих вассалов привлекли из дальних мест готовящиеся в столице торжества, и те, кто по причине большого съезда не нашел где остановиться в Кракове, устроились в Тынце. По этой причине *abbas centrum villarum*[21] встретил княгиню со свитой ещё более многочисленной, чем обычно.

Это был мужчина высокого роста, с сухощавым умным лицом и выбритой макушкой, окруженной венчиком седующих волос. На лбу у аббата виднелся шрам от раны, полученной, видно, в молодости, когда он был ещё рыцарем, пронзительные глаза надменно смотрели из-под черных бровей. Как и прочие монахи, аббат был одет в рясу, но поверх неё наброшена была черная, подбитая пурпуром мантия, а на шее висел на золотой цепи золотой же, осыпанный драгоценными камнями крест – знак достоинства аббата. Вся осанка изобличала в нем человека, привыкшего повелевать, надменного и самоуверенного.

Памятуя, однако, что супруг княгини происходил из того же рода князей мазовецких, что и короли Владислав и Казимир, а по женской линии и ныне царствующая королева, повелительница одного из величайших государств в мире, аббат почтительно, даже с некоторым подобострастием приветствовал княгиню. Переступив порог врат обители, он низко склонил голову и, благословив Анну Дануту и всех её придворных маленьким золотым ковчежцем, который держал в правой руке, сказал:

– Приветствую тебя, милостивейшая госпожа, в смиренной нашей обители. Да ниспошлют тебе здравие и благоденствие святой Бенедикт из Нурсии[22], святой Маурис, святой Бонифаций, святой Бенедикт из Аниана и Иоанн из Фтоломеи, покровители наши, вкушающие вечное блаженство, и да благословят тебя семь раз на дню во вся дни живота твоего!

– Они не могут не внять мольбе столь славного аббата, разве только если глухи, – учтиво сказала княгиня, – тем более что мы прибыли сюда к обеду и предадим вся своя и себя в руки их.

С этими словами княгиня протянула аббату руку, которую тот, преклонив по придворному обычаю колено, поцеловал как рыцарь; затем они вместе проследовали во врата обители. Их, видно, уже ждали с обедней, в ту же минуту зазвонили колокола и колокольчики; трубачи в дверях костёла затрубили в честь княгини в громкие трубы, литаврщики ударили в огромные литавры, кованные из красной меди и обтянутые кожей, рождающей громозвучное эхо. На княгиню, которая родилась в языческом краю, всякий костёл всё ещё производил сильное впечатление, а тынецкий в особенности, ибо немного было костёлов, равных ему по великолепию. Тьма наполняла глубину святыни, лишь у главного престола трепетали огни светильников, мешаясь с блеском свечей, озарявших позолоту и статуи святых. Вышел священник в облачении, поклонился княгине и начал литургию. Благовонный фимиам кадил тотчас заструился густыми, мягкими волнами, окутал священника и престол и, плавно уносясь ввысь, придавал храму ещё большую торжественность и таинственность. Анна Данута откинула голову и, воздев руки, стала жарко молиться. Но когда раздалась

звуки редкого ещё в ту пору органа, то потрясая своды храма величественным рокотом, то наполняя его ангельскими голосами, то разливаясь как бы в соловьиной песне, княгиня подняла очи горе, на лице её, вместе с благоговением и страхом, изобразилось бесконечное блаженство, – и могло показаться, что это святая в чудном видении озирает разверстое небо.

Так молилась рожденная в язычестве дочь Кейстута, которая, как и все другие люди в те времена, в повседневной жизни запросто поминала имя господне, но в доме божием с детским трепетом и смирением устремляла взор к таинственному и предвечному вседержителю.

Так же усердно, хотя и с меньшим трепетом, молился весь двор. Збышко опустил с мазурами на колени позади седалищ ксендзов – к алтарю прошли только придворные панны с княгиней – и предавал себя в руки господя. Время от времени он бросал взгляд на Данусю, которая, полузакрыв глаза, сидела около княгини, и думал о том, что стоило, разумеется, стать рыцарем такой девушки, но что и обет он дал ей нешуточный. Сейчас, когда хмель выветрило из него, он призадумался, как выполнить свой обет. Войны не было. Правда, в стычке на границе легко было наткнуться на вооруженного немца и убить врага или самому сложить голову. Об этом Збышко и говорил Мацьку. «Так-то оно так, – думал он, – но ведь не всякий немец носит павлиний или страусовый чуб на шлеме». Из гостей крестоносцев разве только графы, а из самих крестоносцев разве только комтур, да и то не всякий. Если войны не будет, годы пройдут, покуда он добудет три гребня; тут он вспомнил ещё, что, не будучи посвящен в рыцари, может вызывать на поединок только непосвященных. Правда, он надеялся получить рыцарский пояс из рук короля на ристалищах, которые должны были состояться на крестинах, он ведь давно его заслужил, – ну, а что же дальше? Он поедет к Юранду из Спыхова, будет помогать ему, перебьет сколько сможет кнехтов – и конец. Кнехты крестоносцев – это не рыцари с павлиньими перьями на головах.

Видя, что без особой на то милости божией он не много может сделать, Збышко в смятении и тревоге начал молиться:

«Поддай, господи, войну с крестоносцами и немцами, недругами нашего королевства и всех народов, кои на нашем языке хвалят имя твое святое. Нас благослови, а их сотри с лица земли, ибо не тебе, но царю тьмы они служат и злобу против нас таят в своем сердце, особливо за то, что король наш с королевой крестили Литву и возбраняют им сечь мечом рабов твоих. Покарай их за злобу сию.

А я, грешный раб твой Збышко, каюсь пред тобою и, взывая к пяти ранам твоим, молю тебя: ниспошли мне поскорее троих знатных немцев с павлиньими чубами на шлемах и, по милости твоей, помоги убить их насмерть. Ибо оные чубы обещал я панне Дануте, дочери Юранда и рабе твоей, и поклялся в том рыцарской честью.

Ото всего, что найдется ещё при убитых, я отдам десятину святой твоей церкви, дар принеся и тебе, Иисусе сладчайший, и хвалу воздав тебе, господи, дабы ведал ты, что не напрасно, но от чистого сердца дал я обет сей. Истинно так, господи Иисусе, помоги же мне, аминь!»

По мере того как Збышко молился с благоговением, он так умилился сердцем, что дал новый обет: после выкупа Богданца пожертвовать на церковь весь воск, который за год дадут пчелы в бортях. Он надеялся, что дядя Мацько не станет этому противиться, а Иисус Христос будет особенно рад свечному воску и, чтобы получить поскорее жертву, тотчас ему поможет. Эта мысль показалась Збышко такой удачной,

что душа его преисполнилась радостью: теперь он был почти уверен, что господь услышит его молитву и что в самом непродолжительном времени вспыхнет война, а если и не вспыхнет, так он и без войны как-нибудь добьется своего. Он ощутил в руках и ногах такую великую силу, что в эту минуту готов был один ударить на целую хоругвь. Он подумал даже, что раз уж дал обеты Богу, так и Данусе можно прибавить парочку немцев. Юношеский пыл толкал его на этот шаг; однако победило на этот раз благоразумие. Збышко побоялся излишними желаниями испытывать терпение господа.

Однако он ещё больше укрепился в своих надеждах, когда после обедни и продолжительного отдыха, на который удалился весь двор, послушал за завтраком разговор аббата с Анной Данутой.

В те времена супруги князей и королей по причине своей набожности, да и потому, что магистры ордена щедрой рукой раздавали им дары, оказывали крестоносцам всяческое расположение. Даже благочестивая Ядвига, пока была жива, удерживала занесенную над ними длань своего могущественного супруга. Одна только Анна Данута ненавидела их лютой ненавистью за тяжкие обиды, причиненные ими её семье. Когда аббат спросил, как обстоят дела в Мазовии, она стала горько жаловаться на орден:

– Как могут обстоять дела в княжестве, когда у него такие соседи? Слово бы и мир: шлют один другому посольства и письма, и все-таки нельзя быть спокойным за завтрашний день. Ложась вечером спать, никто на границе не знает, не проснется ли он в оковах, или с острием меча на горле, или с пылающей кровлей над головой. От предательства не спасут ни клятвы, ни печати, ни пергаменты. Случилось же так под Злоторьей, когда во время самого полного мира крестоносцы захватили и увели в неволю князя. Они говорили, будто этот замок может быть опасным для них. Но ведь замки строят не для нападения, а для обороны, и какой же князь не имеет права соорудить или перестраивать их на своей земле? Не примириться с орденом ни слабому, ни сильному, потому что слабого он презирает, а сильного стремится одолеть. За добро он платит злом. Разве есть в мире орден, который в других королевствах был бы осыпан такими милостями, как крестоносцы у польских князей, а чем отблагодарили они за это? Ненавистью, набегам, войною и вероломством. И тщетны все пени, тщетны все жалобы самому престолу апостольскому, ибо, закоснев в упорстве и гордыне, они не внемлют даже папе римскому. И теперь вот они прислали посольство на родины и крестины, но лишь для того, чтобы отвратить от себя гнев могущественного короля за все то, что они учинили в Литве. Сердца же их полны умыслом стереть с лица земли королевство и все польское племя.

Аббат внимательно слушал, покачивая головой, а затем сказал:

– Мы знаем, что во главе посольства в Краков приехал комтур Лихтенштейн, брат ордена, коего весьма почитают за славный род, храбрость и ум. Вы, милостивейшая пани, может, скоро его увидите, ибо вчера комтур прислал мне весть, что он посетит Тынец, желая поклониться нашим святыням.

Услышав об этом, княгиня снова стала жаловаться:

– Толкует народ, – и так оно, верно, и есть, – что быть скоро великой войне. Воевать будут Королевство Польское и все народы, которые говорят на языке, похожем на польский, с немцами и орденом. Предсказала будто войну какая-то святая...

– Бригитта[23], – прервал княгиню ученый аббат. – Восемь лет назад её причислили к лику святых. Святой Петр из Альвастра и Матвей из Линкепинга записали её пророчества, в которых и впрямь предсказана великая война.

Збышко при этих словах затрепетал от радости и, не в силах удержаться, спросил:

– А скоро ли будет эта война?

Но аббат, занятый разговором с княгиней, не расслышал его, а может, притворился, что не слышит.

– Радуются и у нас этой войне молодые рыцари, – продолжала меж тем княгиня, – но те, кто постарше и порассудительней, вот что говорят: «Не немцев, говорят, мы страшимся, хоть велика их гордыня и сила, не копий их и мечей, но страшимся мы, говорят, святынь крестоносцев, ибо все силы людские ничто противу них».

Анна Данута со страхом взглянула на аббата и прибавила, понизив голос:

– Сдается, есть у них подлинное древо креста господня; как же воевать с ними?

– Прислал им его французский король, – подтвердил аббат.

На минуту воцарилось молчание, затем заговорил Миколай из Длуголяса, по прозвищу Обух, человек бывалый, искушенный опытом.

– Был я в неволе у крестоносцев, – сказал он, – и случилось мне видеть процессии с этой великой святыней. Но, кроме неё, есть у крестоносцев, в монастыре в Оливе, множество других первейших святынь, без коих ордену не достичь бы такого могущества.

Тут бенедиктинцы, вытянув от любопытства шеи, стали спрашивать у него:

– Скажите же, что это за святыни?

– Есть у них край ризы пресвятой девы Марии, – ответил пан из Длуголяса, – коренной зуб Марии Магдалины и головешки неопалимой купины, из коей сам Бог-отец явился Моисею, есть рука святого Либерия, а что до костей прочих святых, так их на пальцах рук и ног не сочтешь...

– Как же воевать с крестоносцами? – со вздохом повторила княгиня.

Аббат наморщил высокий лоб и после минутного раздумья сказал:

– Трудно с ними воевать уже по одному тому, что они монахи и носят крест на плащах; но ежели они погрязли во грехах, то и святыням может показаться мерзостным пребывание среди них, и тогда они не только не придадут крепости ордену, но отнимут её у него, дабы перейти в более благочестивые руки. Да хранит господь Бог кровь христианскую, но коли уж начнется великая война, то и у нас в королевстве найдутся святыни, кои на войне нашими станут заступниками. Недаром вещает глас в пророчестве святой Бригитты: «Я поставил их, яко тружениц пчел, утвердил на рубеже земли христианской; но они восстали против меня. Ибо не пекутся они о душе и не щадят плоти народа, который обратился в веру католическую. Они в рабов его обратили, не учат заповедям Божиим и, лишая его святых тайн, обрекают на вечные муки, горшие тех, кои терпел бы он, коснея в

язычестве. А воют они для утоления своей алчности. Посему придет время, когда будут выбиты зубы у них, и отсечена будет правая рука, и охромеют они на правую ногу, дабы познали грехи свои».

– Дай Бог! – воскликнул Збышко.

Слушая слова пророчества, прочие рыцари и монахи также ободрились, аббат же обратился к княгине:

– Посему уповайте на господу Бога, милостивейшая пани, ибо не ваши, но скорее их дни сочтены, а пока с чистым сердцем примите сей ковчежец, в коем хранится палец ноги святого Птоломея, одного из покровителей наших.

Протянув трепещущие от счастья руки и преклонив колена, княгиня приняла ковчежец и прижала его к устам. Радость её разделяли придворные, ибо никто не сомневался, что от такого дара снизойдет благодать на всех, а может, и на целое княжество. Збышко тоже был счастлив, ему казалось, что война должна вспыхнуть тотчас после краковских торжеств.

IV

Было уже далеко за полдень, когда княгиня со своей свитой выехала из гостеприимного Тынца в Краков. Рыцари в те времена, направляясь в гости к знатной особе, при въезде в большой город или замок надевали часто бранные доспехи. Правда, искони так повелось, что, проехав ворота, рыцарь должен был тотчас снять доспехи, причем в замке сам хозяин, по обычаю, говорил гостю: «Снимите доспехи, благородный рыцарь, ибо вы прибыли к друзьям». Все же въезд в полном боевом снаряжении почитался более пышным и возвышал рыцаря в глазах окружающих. Ради этой пышности и Мацько со Збышком надели добытые у фризских рыцарей великолепные панцири и наплечники, блестящие, сверкающие, протканые по краям золотом. Миколай из Длуголяса, который и свету повидал на своем веку, и на рыцарей насмотрелся, да к тому же был весьма искушен в военном деле, тотчас признал работу славнейших в мире миланских бронников; выковать себе такую броню могли лишь самые богатые рыцари, и стоила она целого состояния. Он заключил отсюда, что фризские рыцари принадлежали у себя, видно, к знати, и с тем большим уважением стал глядеть на Мацька и Збышка. Одни только шлемы у них, хоть и не плохие, все же не были такими богатыми, зато рослые кони, покрытые красивыми попонами, возбудили у придворных удивление и зависть. Сидя в непомерно высоких седлах, Мацько и Збышко с высоты взирали на весь двор. Они держали в руке по длинному копыю, на боку у них висел меч, у седла торчала секира. Правда, щиты они удобства ради оставили на повозках, но и без щитов у обоих был такой вид, точно они не в город ехали, а выступали в бой.

Оба они держались неподалеку от коляски, в которой на заднем сиденье ехала княгиня с Данусей, а на переднем почтенная придворная дама Офка, вдова Кристина из Яжомбова, и старый Миколай из Длуголяса. Дануся с большим любопытством глядела на закованных в латы рыцарей, а княгиня то и дело вынимала из-за пазухи ковчежец с реликвией и подносила его к устам.

– Страх как любопытно взглянуть на косточку там, в середине, – произнесла наконец она, – но сама я не открою ковчежец, чтобы не оскорбить святого. Пусть откроет епископ в Кракове.

– Э, лучше уж не выпускать его из рук, – заметил осторожный Миколай из Длуголяса, – уж очень это соблазнительная штука.

– Может, вы и правы, – после короткого раздумья сказала княгиня, а затем прибавила: – Давно никто не доставлял мне такой радости, как достойный аббат, и своим подарком, и тем, что рассеял мой страх перед святынями крестоносцев.

– Мудрые и справедливые речи он говорил, – сказал Мацько из Богданца.

– Были и под Вильно всякие святыни у крестоносцев, уж очень они хотели убедить чужих, что воюют с язычниками. И что же? Увидели наши, что ежели поплевать в кулак да рубнуть сплеча секирой, так и шлем и голова пополам. Грех сказать, святыне помогают, но только тем, кто с именем Божиим идет на бой за правое дело. Так вот я и думаю, милостивейшая пани, что случись великая война, то, хоть все немцы станут крестоносцам на помощь, мы разобьем их наголову, потому народ наш велик, да и силы в костях Иисус Христос даровал нам побольше. Что ж до святынь, то разве в Свентокшижском монастыре нет у нас древа креста господня?

– Правда, истинная правда, – сказала княгиня. – Но у нас оно хранится в монастыре, а они свое в случае надобности возят с собой.

– Все едино! Нет пределов для всемогущего.

– Так ли это, скажите? – спросила княгиня, обращаясь к мудрому Миколаю из Длуголяса.

– Любой епископ это подтвердит, – ответил тот. – До Рима тоже далеко, а ведь папа миром правит. Что же говорить о Боге?

Эти слова окончательно успокоили княгиню, и она перевела разговор на Тынец и его красоты. Мазуры дивились не только богатству монастыря, но и богатству, и красоте всего края, по которому они сейчас проезжали. Кругом раскинулись большие зажиточные села с густыми садами; они опоясались липовыми рощами; на липах виднелись гнезда аистов, а пониже – борти под соломенными стрешками. По обе стороны большой дороги тянулись нивы. Ветер клонил по временам ещё зеленое море хлебов, в котором, как звезды в небе, мелькали светло-синие васильки и красные маки. Далеко за полями темнел кое-где хвойный лес, веселили взор залитые солнечным блеском дубравы и ольшаники, травянистые сырые луга, где над болотцами кружили чибисы; а там снова холмы, облепленные хатами, снова поля; видно, жило тут много народу, любившего трудиться на земле, – и весь край, насколько хватает глаз, казался землею обетованной, обителью спокойствия и счастья.

– Это земли короля Казимира, – сказала княгиня. – Жить бы тут и не умирать.

– И Христос такой земле улыбается, – заметил Миколай из Длуголяса, – и благословение Божие почиет над нею; да и как же может быть иначе, коли тут, когда ударят в колокола, не найдешь уголка, куда бы не донесся звон! Известно, что злые духи этого не терпят и бегут в глухие боры к самой венгерской границе.

– Вот мне и удивительно, – вмешалась в разговор пани Офка, вдова Кристина из Яжомбова, – как это Вальгер Прекрасный, о котором рассказывали монахи, может являться в Тынце, где семь раз на дню звонят в колокола.

Миколай на минуту смешался и только после некоторого раздумья сказал:

– Неисповедим промысл Божий, это первое, ну, а потом примите во внимание, что

Вальгер всякий раз получает на то особое соизволение.

– По мне, все едино, только я все-таки рада, что мы не ночуем в монастыре. Да я бы, верно, умерла со страху, явись мне вдруг из преисподней этот великан.

– Ну, это ещё как сказать. Говорят, будто он писанный красавец.

– Да будь он раскрасавец, не хочу я его поцелуя – у него ведь рот серой пышет.

– А откуда вы знаете, что ему тотчас захотелось бы вас поцеловать?

При этих словах княгиня, а за нею пан Миколай и оба рыцаря из Богданца разразились смехом. Их примеру последовала и Дануся, хоть и не знала толком, чему они смеются. Тогда Офка, повернувшись лицом к Миколаю из Длуголяса, в гневе сказала:

– Да уж, по мне, лучше он, чем вы.

– Эй, не выкликайте волка из лесу, – весело ответил мазур, – ведь он, дьявол, часто шатается по большой дороге между Краковом и Тынцем, особенно к ночи; а ну, как услышит вас да явится в образе великана?

– Сгинь, сгинь, сатана! – воскликнула Офка.

В эту минуту Мацько из Богданца, который, сидя верхом на рослом коне, видел дальше, чем княгиня и её спутники, сидевшие в карете, натянул поводья и сказал:

– Господи боже мой, да что же это такое?

– Что там?

– Из-за холма навстречу нам выезжает какой-то великан.

– Свят, свят, с нами крестная сила! – воскликнула княгиня. – Не болтайте попусту Бог весть что!

Но Збышко приподнялся на стременах и сказал:

– Клянусь всеми святыми, это великан. Не иначе как Вальгер!

При этих словах возница в страхе осадил лошадей и, не выпуская из рук вожжей, начал креститься, так как и он уже заметил со своих козел впереди, на ближайшем холме, гигантскую фигуру всадника.

Княгиня привстала было, но тотчас же села, переменившись от испуга в лице; Дануся спрятала голову в складках её платья. Придворные и песенники, которые ехали верхом за княгиней, услышав зловещее имя, сбились толпой вокруг её кареты. Мужчины ещё как будто смеялись, хоть в глазах их светилась тревога, но дамы побледнели; только Миколай из Длуголяса, который и на коне бывал, и под конем бывал, по-прежнему хранил безмятежное выражение; желая успокоить княгиню, он сказал:

– Не бойтесь, милостивейшая пани. Ведь солнце ещё не село, а хоть бы и ночь уже наступила, святой Птоломей справится с Вальгером.

Тем временем незнакомый всадник, поднявшись на косогор, осадил коня и замер на месте. Он был ясно виден в лучах заходящего солнца и казался действительно великаном. Расстояние между ним и свитой княгини составляло не более трехсот шагов.

– Отчего же он стоит? – спросил один из песенников.

– Оттого, что и мы стоим, – ответил Мацько.

– Он смотрит так, точно хочет кого-нибудь выбрать из нас, – заметил другой песенник. – Знал бы я, что это не злой дух, а человек, подъехал бы да хватил его лютей по голове.

Женщины совсем перепугались и начали громко молиться. Збышко, желая похвастаться перед княгиней и Данусей своею отвагой, сказал:

– А я поеду. Что мне Вальгер!

Дануся закричала со слезами:

– Збышко! Збышко!

Но он тронул коня и погнал его вперед, уверенный, что, даже встретив подлинного Вальгера, пронзит его насквозь копьём.

А Мацько, у которого были острые глаза, сказал:

– Он кажется великаном оттого, что стоит на холме. Здоровенный детина, но самый обыкновенный человек – и только. Эва! Поеду и я, а то как бы у Збышка не дошло с ним дело до ссоры.

Тем временем Збышко, пустив коня во всю рысь, раздумывал, сразу ли наставить копьё или подъехать поближе и поглядеть сперва, что же это за человек стоит на холме. Он решил сперва поглядеть и тотчас убедился, что поступил правильно, так как по мере приближения незнакомец на глазах у него становился все меньше и меньше. Высоченный детина, он сидел верхом на коне, ещё более рослом, чем жеребец под Збышком, но был не выше человеческого роста. К тому же он был без доспехов, в бархатной шапке колоколом и в белом полотняном плаще, предохраняющем от пыли, из-под которого выглядывал зеленый кафтан. Всадник стоял на холме и, подняв голову, молился. Видно, и коня он остановил для того, чтобы кончить вечернюю молитву.

«Хорош Вальгер, нечего сказать!» – подумал юноша.

Он подъехал уже так близко, что мог бы достать незнакомца копьём; но тот, увидев рыцаря в великолепных доспехах, благожелательно улыбнулся и сказал:

– Слава Иисусу Христу!

– Во веки веков!

– А что там, под горой, не княгиня ли мазовецкая со свитой?

– Она самая.

– Так это вы едете из Тынца?

Однако ответа не последовало, потому что Збышко в это самое мгновение был так ошеломлен, что даже не расслышал вопроса. С минуту времени он стоял окаменелый, не веря собственным глазам, – в какой-нибудь сотне шагов от незнакомца он увидел десятка полтора всадников с рыцарем во главе, который ехал впереди их, закованный в блестящие латы, в белом суконном плаще с черным крестом и в стальном шлеме с пышным павлиньим чубом на гребне.

– Крестоносец! – прошептал Збышко.

При виде крестоносца Збышко подумал, что это Бог, услышав его молитву, посылает ему в своем милосердии того самого немца, о котором он просил в Тынце, что надо воспользоваться милостью божией; не колеблясь поэтому ни единой минуты, не успев даже додумать до конца все эти мысли и прийти в себя от изумления, он пригнулся в седле, вытянул на высоте в пол конского уха копьё и издав родовой клич: «Грады! Грады!» – понесся во весь опор на крестоносца.

Тот тоже изумился, придержал коня и, не хватаясь за копьё, которое торчало у его ноги, воззрился на всадника, как бы недоумевая, неужели тот и в самом деле хочет напасть на него.

– Наставляй копьё! – кричал Збышко, вонзая в бока коню железные концы стремян. – Грады! Грады!

Расстояние между Збышком и крестоносцем стало уменьшаться. Видя, что всадник и впрямь мчится на него, крестоносец вздыбил коня и схватился за оружие; казалось, копьё Збышка вот-вот разлетится от удара в грудь рыцаря; но вдруг чья-то рука переломила его, как сухую тростинку, у самой руки Збышка, затем та же рука с такой страшной силой натянула поводья его коня, что тот всеми четырьмя копытами врылся в землю и стал как вкопанный.

– Что ты делаешь, безумец? – раздался густой грозный голос. – Ты покушаешься на жизнь посла, ты оскорбляешь короля!

Збышко взглянул на незнакомца и узнал в нем того самого великана, которого приняла за Вальгера свита княгини и испугались все её придворные дамы.

– Пусти меня на немца! Кто ты такой? – воскликнул Збышко, хватаясь за рукоять секиры.

– Убери секиру! Ради всего святого! Убери секиру, говорю тебе, не то я сброшу тебя с коня! – ещё более грозно закричал незнакомец. – Ты оскорбил его величество короля и будешь предан суду.

Затем, повернувшись к всадникам, сопровождавшим крестоносца, он крикнул:

– Ко мне!

Но тут подоспел Мацько, лицо которого выражало тревогу и гнев. Он тоже прекрасно понимал, что Збышко совершил безрассудный поступок, который может иметь для него дурные последствия; однако готов был вступить в бой. Незнакомого рыцаря и

крестоносца сопровождало не более полутора десятков всадников, вооруженных копьями или самострелами, так что двое рыцарей, закованных в броню, могли сразиться с ними не без надежды на победу. К тому же Мацько подумал, что если уж в будущем им грозит суд, то, может, лучше уйти от него, прорвавшись сквозь кучку всадников, и укрыться потом где-нибудь, пока не пронесет тучу. Лицо у него перекосилось, он стал похож на волка, готового укусить, и, втиснувшись на коне между Збышком и незнакомцем, спросил, хватаясь за меч:

– Кто такой? По какому праву?

– По такому праву, – возразил незнакомец, – что король повелел мне следить за безопасностью этих мест, а зовут меня Повала из Тачева.

Взглянув на рыцаря, Мацько и Збышко тут же вложили в ножны свои наполовину вынутые мечи и опустили головы. Не страх их объял, нет, – они склонили головы перед славным и хорошо известным им именем Повалы из Тачева, родовитого шляхтича и могущественного вельможи, владевшего обширными землями под Радомом, и в то же время одного из самых славных рыцарей королевства. Певцы воспевали его в песнях как образец отваги и чести, прославляя его имя наравне с именами Завиши из Гарбова и Фарурея, Скарбека из Гуры и Добка из Олесницы, Яська Нашана, Миколая из Москожова и Зындрама из Машковиц. К тому же он в эту минуту представлял до некоторой степени особу короля, и напасть на него было равносильно тому, что положить голову на плаху.

Опомнившись, Мацько с почтительностью в голосе сказал:

– Честь и хвала вам, пан рыцарь, вашей отваге и славе.

– Хвала и вам, пан рыцарь, – ответил Повала, – хоть я и предпочел бы познакомиться с вами не при таких тяжелых обстоятельствах.

– Это почему же тяжелых? – спросил Мацько.

Но Повала обратился к Збышку:

– Что же ты, молодец, натворил? На большой дороге, под боком у короля, учинил нападение на посла! Да знаешь ли ты, что ждет тебя за это?

– Он напал на посла по молодости и по глупости, – возразил Мацько, – больно прыток, думать не любит. Но вы не станете судить его сурово, когда я расскажу вам все дело.

– Не я его буду судить. Мое дело только заковать его...

– Как заковать? – окинув всех мрачным взглядом, спросил Мацько.

– По повелению короля.

После этих слов воцарилось молчание.

– Он шляхтич, – произнес наконец Мацько.

– Тогда пусть поклянется рыцарской честью, что явится на суд.

– Клянусь честью! – воскликнул Збышко.

– Хорошо. Как вас зовут?

Мацько назвал свое имя и герб.

– Если вы из свиты княгини Анны Дануты, то просите её ходатайствовать за вас перед королем.

– Нет, мы не придворные. Мы едем из Литвы от князя Витовта. И уж лучше бы нам не встречаться ни с каким двором! От этой встречи беда стряслась над хлопцем.

И Мацько стал рассказывать обо всем, что случилось в корчме, – и о том, как они встретились со двором княгини, и о том, как Збышко дал свой обет. Тут старик внезапно так разгневался на племянника, по легкомыслию которого они попали в столь тяжкую беду, что, повернувшись к нему, воскликнул:

– Лучше б тебе под Вильно погибнуть! О чем только ты думал, щенок?

– Да ведь я, – ответил Збышко, – давши обет, помолился Иисусу, чтобы он послал мне немцев, и дары ему пообещал. Ну, как завидел я павлиньи перья да плащ с черным крестом, тотчас голос услышал в душе: «Бей немца, это чудо!» Вот я и бросился на него, – да и кто бы не бросился?

– Послушайте, – прервал Збышка Повала. – Я не желаю вам зла, ибо ясно вижу, что юноша провинился не столько по злобе, сколько по легкомыслию, свойственному его возрасту. Я бы рад ничего не видеть и ехать дальше, будто вовсе ничего не случилось. Но только сделать это я могу, если комтур пообещает, что не пожалуется королю. Попросите его об этом: может, и ему жаль станет хлопца.

– Лучше под суд идти, чем кланяться крестоносцу! – воскликнул Збышко.

– Недостойно это моей шляхетской чести.

Повала из Тачева сурово посмотрел на него и сказал:

– Нехорошо ты поступаешь. Старшие лучше тебя знают, что достойно и что недостойно рыцарской чести. Меня народ тоже знает, и все-таки, скажу тебе, я не постыдился бы за такое дело попросить прощения.

Збышко смешался, но, оглядевшись кругом, сказал:

– Земля тут ровная, вот бы только немного утоптать её. Чем просить у немца прощения, лучше мне сразиться с ним конному или пешему, на смерть или на неволю.

– Глупец! – прервал его Мацько. – Как ты можешь сразиться с послом? Ни тебе с ним, ни ему с таким молокососом драться нельзя. – И он обратился к Повале: – Простите, благородный рыцарь. Мальчишка за войну совсем от рук отбился, и пусть уж он лучше с немцем не разговаривает, а то ещё нанесет ему новое оскорбление. Я с ним буду говорить, я его буду просить, а если после окончания посольства комтур захочет вступить на ристалище в единоборство, то и я сражусь с ним.

– Это рыцарь знатного рода и со всяким не станет драться, – возразил Повала.

– Как так? Что же, я не ношу пояса и шпор? Со мною и князь может выйти на поединок.

– Это верно, но вы ему этого не говорите, разве только если он сам об этом заговорит, а то я боюсь, как бы он на вас не разгневался. Ну, да поможет вам господь Бог.

– Пойду за тебя отдуваться, – сказал Мацько Збышку. – Ну, погоди же ты у меня!

И он подъехал к крестоносцу, который остановился в нескольких шагах от них и, сидя неподвижно, словно чугунный монумент, на своем рослом, как верблюд, коне, с величайшим равнодушием слушал весь разговор. За долгие годы войны Мацько научился кое-как изъясняться по-немецки и стал теперь на родном языке комтура рассказывать ему обо всем происшедшем, ссылаясь на молодость и горячность своего племянника, которому почудилось, будто это сам Бог послал ему рыцаря с павлиньим чубом; старик наконец попросил крестоносца извинить Збышка.

Лицо комтура даже не дрогнуло. Прямой и неподвижный, он, подняв голову, с таким равнодушием и вместе с тем презрением смотрел на Мацька стальными глазами, точно перед ним был не рыцарь и даже не человек, а заборный столб. Владелец Богданца заметил это и хотя оставался по-прежнему вежливым, но в душе, видно, стал возмущаться; он говорил все более принужденно, и загорелые щеки его покрылись румянцем. Было видно, что, столкнувшись с такой холодной надменностью, он с трудом сдерживается, чтобы не заскрежетать зубами и не разразиться негодованием.

Это не ускользнуло от внимания Повалы, и, будучи человеком доброго сердца, рыцарь решил прийти Мацьку на помощь. В молодости, когда он тоже искал рыцарских приключений при венгерском, австрийском, бургундском и чешском дворах и имя его прославилось по свету, Повала научился немецкому языку и сейчас обратился к Мацьку на этом языке тоном примирительным и вместе с тем нарочито шутливым:

– Видите, пан рыцарь, благородный комтур полагает, что все это дело пустое и слов не стоит тратить. Не в одном нашем королевстве, везде отроки безрассудны, но рыцарь, да ещё такой, не станет воевать с детьми с мечом в руках или преследовать их по закону.

Лихтенштейн при этих словах встопорщил свои рыжеватые усы и, не проронив ни слова, тронул коня и поехал вперед, минуя Мацька и Збышка.

От слепой ярости у них волос стал дыбом под шлемами и рука рванулась к мечу.

– Погоди же ты, тевтонский пес, – процедил сквозь зубы старший рыцарь из Богданца, – уж теперь-то я найду тебя, только бы ты перестал быть послом.

Но Повала, который тоже кипел уже гневом, сказал:

– Это потом. А сейчас пусть за вас заступится княгиня, иначе быть беде.

Он поехал за крестоносцем, остановил его, и некоторое время они с жаром о чем-то говорили. Мацько и Збышко заметили, что немецкий рыцарь не взирал на Повалу с такой надменностью, как на них, и ещё больше разгневались. Через минуту Повала вернулся и, подождав, пока крестоносец отъедет подальше, сказал им:

– Я просил за вас, но это не человек, а камень. Он говорит, что только тогда не

станет жаловаться, когда вы сделаете все, чего он пожелает...

– Чего же он желает?

– Он мне так сказал: «Я задержусь, чтобы приветствовать княгиню мазовецкую, а они, говорит, пусть подъедут, пусть спешатся, пусть снимут шлемы и, стоя с обнаженными головами, пусть попросят прощения, тогда я и дам им ответ».

Тут Повала бросил быстрый взгляд на Збышка и прибавил:

– Тяжело это шляхтичам.. я понимаю, но должен предостеречь тебя, что если ты этого не сделаешь, кто знает, что ждет тебя: быть может, меч палача.

Лица у Мацька и Збышка стали каменные. Снова воцарилось молчание.

– Ну, так как же? – спросил Повала.

Со спокойствием и с такой суровостью, точно за одну минуту он стал старше на двадцать лет, Збышко ответил:

– Что ж! Все мы под Богом ходим.

– То есть как?

– Да так, что, будь я о двух головах и руби мне палач обе головы, – все равно честь у меня одна, и не годится мне позорить её.

При этих словах Повала посуровел и, обратившись к Мацьку, спросил и у него:

– А вы что скажете?

– Я скажу, – мрачно ответил Мацько, – что с малых лет воспитывал хлопца... На нем наш род стоит, потому что я уже стар, но он не может этого сделать, пусть даже ему суждено погибнуть.

При этом суровое лицо Мацька дрогнуло, и сердце его наполнилось внезапно такой любовью к племяннику, что он обнял его своими закованными в броню руками и воскликнул:

– Збышко! Збышко!

Молодой рыцарь даже удивился и, сжав в объятиях дядю, сказал:

– А я и не знал, что вы так меня любите!..

– Я вижу, вы настоящие рыцари, – сказал растроганный Повала, – и раз хлопец поклялся мне честью, что явится на суд, я не стану надевать на него цепи: таким людям, как вы, можно верить. Вы не отчаивайтесь. Немец в Тынце денек погуляет, так, что я увижу короля раньше и доложу обо всем этом деле так, чтобы он не очень разгневался. Счастье, что я успел переломить копье, великое счастье!

Но Збышко возразил ему:

– Уж коли не миновать мне платиться головой, то хоть было бы утешение, что я

кости поломал крестоносцу.

– Свою честь ты умеешь защищать, а того не можешь понять, что навлек бы позор на весь наш народ! – нетерпеливо возразил Повала.

– Понимать-то я понимаю, – ответил Збышко, – потому-то мне и жаль...

Тогда Повала обратился к Мацьку:

– Знаете, пан рыцарь, коли удастся вашему хлопцу как-нибудь отвертеться от суда, придется вам колпачок ему на голову надеть, как ловчому соколу. Иначе не умереть ему собственной смертью.

– Ему бы и удалось отвертеться, кабы вы, пан рыцарь, пожелали скрыть все от короля.

– А что же мне с немцем делать? Ведь рот-то ему не заткнешь!

– Верно! Верно!..

Ведя такой разговор, они повернули назад к свите княгини. Слуги Повалы, которые раньше ехали с людьми Лихтенштейна, следовали теперь за ними. Издали было видно, как среди мазурских шапок покачиваются на ветру павлиньи перья крестоносца и сверкает на солнце его шлем.

– Удивительный народ эти крестоносцы, – как будто в раздумье сказал рыцарь из Тачева. – Когда крестоносцу круто приходится, он жалостлив, как францисканец, смирен, как ягненок, и сладок, как мед, – лучше его на свете не сыщешь. Но стоит ему только увидеть, что сила на его стороне, никто не станет так пыхиться, как он, и ни у кого ты не встретишь меньше жалости. Видно, господь не сердце дал им, а камень. Насмотрелся я всякого люда и не раз видел, как щадит слабого настоящий рыцарь, говоря себе: «Не прибудет мне чести от того, что я побью лежачего». А крестоносец тут-то и свирепеет. Держи его за шиворот и не пускай, иначе горе тебе! Вот и этот посол хочет, чтобы вы и прощенья у него попросили, и сраму натерпелись. И я рад, что не бывать этому.

– Не бывать! – воскликнул Збышко.

– Смотрите, как бы он не заметил, что вы удручены, а то обрадуется.

Тут они подъехали к княжеской свите и присоединились к ней. Посол крестоносцев, увидев их, сразу принял надменный и презрительный вид, но они будто и не замечали его. Збышко поехал рядом с Данусей и весело заговорил с нею о том, что с холма уже ясно виден Краков, а Мацько стал рассказывать одному из песенников о необычайной силе пана из Тачева, который, как сухой стебель, переломил в руке Збышка копье.

– Зачем же он его переломил? – спросил песенник.

– Да хлопец напал на крестоносца, но только так, смеха ради.

Песеннику, который был шляхтичем, человеком бывалым, такая шутка показалась не очень благопристойной, но, видя, что Мацько говорит о ней с легкостью, он тоже не придавал ей особого значения. Меж тем немцу такое поведение пришлось не по

нутру. Он поглядел раз-другой на Збышка, затем перевел взгляд на Мацька и понял наконец, что они и не подумают спешиться и умышленно не обращают на него внимания. Тогда глаза его сверкнули стальным блеском, и он тут же стал прощаться...

Когда он тронул коня, рыцарь из Тачева не удержался и сказал ему на прощанье:

– Поезжайте смело, храбрый рыцарь. Край наш спокойный, и никто на вас не нападет, разве какой-нибудь шутник-мальчишка...

– Хоть и удивительные у вас обычаи, но я не защиты искал у вас, а хотел побыть в вашем обществе, – отрезал Лихтенштейн. – Впрочем, надеюсь, что мы ещё встретимся и при здешнем дворе, и в другом месте...

В последних словах прозвучала как будто скрытая угроза, поэтому Повала сурово бросил:

– Даст Бог...

Тут он поклонился, отвернулся и, пожав плечами, сказал вполголоса, но так, чтобы услышали те, кто стоял поближе к нему:

– Мозгляк! Поддел бы тебя копьем да поднял на воздух, чтоб ты ногами поболтал у меня, покуда я «Отче наш» трижды прочту!

И он заговорил с княгиней, с которой был хорошо знаком. Анна Данута спросила, что он здесь делает, он доложил ей, что, по повелению короля, ездит по дорогам, чтобы поддержать порядок в округе, где в связи с наплывом гостей, съезжающихся отовсюду в Краков, легко может произойти какая-нибудь стычка. В доказательство этого Повала рассказал о случае, свидетелем которого он оказался. Подумав, однако, что попросить княгиню заступиться за Збышка можно попозже, когда в этом будет нужда, и не желая портить общее веселье, он в своем рассказе не придал происшествию большого значения. Княгиня даже посмеялась над Збышком, которому так не терпелось добыть павлиньи чубы, другие же, узнав о том, что пан из Тачева одной рукой переломил копье, дивились его силе.

Рыцарь, будучи человеком немного тщеславным, в душе радовался, что его хвалят, и сам стал рассказывать о своих подвигах, которые прославили его имя, особенно в Бургундии, при дворе Филиппа Смелого[24]. Как-то на турнире, когда у него переломилось копье, он обхватил руками одного арденнского рыцаря, вытащил его из седла и подбросил вверх на высоту копья, хотя арденец весь был закован в броню. Филипп Смелый подарил ему за это золотую цепь, а королева – бархатный башмачок, который он с той поры носил на шлеме.

Услышав об этом, все пришли в изумление, только Миколай из Длуголяса сказал:

– Обабились мы, нет уж нынче таких богатырей, как в моей молодости или в те времена, о каких рассказывал мой отец. Случится нынче шляхтичу кольчугу разодрать, самострел натянуть без рукояти или железный тесак пальцами скрутить, и уж он почитает себя богатырем и кичится своею силой. А в старину это девушки делали.

– Оно конечно, ничего не скажешь, в старину народ был покрепче, – ответил Повала, – но и сейчас богатыри найдутся. Мне господь немалую силу дал в костях,

и все-таки я не почитаю себя самым сильным человеком в королевстве. Видали ли вы, ваша милость, когда-нибудь Завишу из Гарбова? Этот меня одолел бы.

– Видал. Плечи у него широкие, как тот брус, на котором висит краковский колокол.

– А Добко из Олесницы? Однажды на турнире, который крестоносцы устроили в Торуне, он положил двенадцать рыцарей, к чести и славе своей и народа нашего.

– Ну, пан Повала, наш мазур Сташек Цёлек[25] посильнее был и вас, и Завиши, и Добка. Рассказывали, будто, зажав в кулаке свежую ветвь, он выжимал из неё сок[26].

– Сок и я выжму! – воскликнул Збышко.

Не успели его попросить об этом, как он подскакал к обочине дороги и, сорвав с дерева большую ветвь, с такой силой сжал её на глазах княгини и Дануси, что на дорогу в самом деле стал капать сок.

– Господи! – вскричала тут Офка из Яжомбкова. – Не ходи ты на войну, а то жалко будет, коли такой хлопец да пропадет до женитьбы...

– Да, жалко будет! – помрачнев вдруг, повторил Мацько.

Только Миколай из Длуголяса да княгиня засмеялись. Прочие во весь голос превозносили силу Збышка, ибо в те времена железный кулак ценился превыше всего. Придворные панны кричали Дануське: «Радуйся!» – и она радовалась, хоть и не понимала толком, какая ей может быть корысть от зажатого в кулаке сучка. Совершенно позабыв о крестоносце, Збышко посматривал на всех с таким превосходством, что Миколай из Длуголяса, желая отрезвить его, сказал:

– Зря ты силой своей похваляешься, есть и покрепче тебя. Я не видел, но отец мой был очевидцем куда более замечательного события, которое произошло при дворе императора римского Карла[27]. Поехал к нему в гости наш король Казимир с большой свитой, и был в этой свите славный силач Сташко Цёлек, сын воеводы Анджея. И стал как-то похваляться император, что есть у него чех, который может облапить и тут же задавить медведя. Устроили бой, и чех задавил двух медведей подряд. Наш король очень был озабочен, как бы не пришлось ему уехать с позором. «Мой Цёлек, – сказал он, – не даст себя посрамить». Порешили через три дня устроить единоборство. Понаехало знатных дам и рыцарей, и через три дня во дворе замка схватились чех с Цёлеком; только не долго они поборолись, потому не успели схватиться, как Цёлек сокрушил чеху хребет, переломал ему ребра и к великой славе короля только мертвым выпустил из рук[28]. Прозванный с той поры Сокрушителем, он однажды сам один поднял на колокольню большой колокол, который двадцать горожан не могли сдвинуть с места.

– Сколько же ему было лет? – спросил Збышко.

– Молодой был!

Тем временем Повала из Тачева, который ехал по правую сторону от княгини, наклонился наконец к ней и шепотом сказал ей всю правду про то, какой тяжелый произошел случай, и тут же попросил поддержать его, когда он попытается вступить за Збышка, который может тяжело поплатиться за свой проступок.

Княгиня, которой полюбился Збышко, услышав эту весть, опечалилась и очень встревожилась.

– Краковский епископ всегда рад меня видеть, – сказал Повала, – может, мне удастся упросить его, да и королеву тоже, однако чем больше будет заступников, тем лучше для хлопца...

– Если только королева за него заступится, волос не упадет с его головы, – сказала Анна Данута, – король весьма чтит её и за благочестие, и за приданое, особенно ж теперь, когда с неё смыто позорное пятно бесплодия. Да! В Кракове сейчас любимая сестра короля, княгиня Александра, – обратитесь к ней. Я тоже сделаю все, что могу, но она королю родная сестра, а я двоюродная.

– Король и вас любит, милостивейшая пани.

– Ах, не так, – с некоторой грустью возразила княгиня, – мне звеньшко, а ей целая цепочка; мне лиса, а ей соболь. Никого из родных не любит так король, как Александру. Нет того дня, чтоб она ушла от него с пустыми руками...

Беседуя таким образом, они приблизились к Кракову. На большой дороге было оченьлюдно от самого Тынца, теперь же всю её запрудил народ. Встречались тут шляхтичи в сопровождении слуг – кто в доспехах, а кто в летнем наряде и в соломенной шляпе. Некоторые ехали верхом, другие на повозках с женами и дочерьми, которые хотели посмотреть на давно обещанные ристалища. Кое-где купцы загородили всю дорогу своими телегами; им не дозволялось объезжать Краков, дабы город не остался без пошлин. Купцы везли соль, воск, зерно, рыбу, кожи, пеньку, лес. Из города тянулись телеги, груженные сукнами, бочками пива и всякими городскими товарами. Краков был уже хорошо виден: сады короля, вельмож и горожан, опоясавшие кольцом весь город, за ними стены и башни костёлов. Чем ближе, тем оживленнее становилось движение, а у городских ворот в толчее трудно было проехать.

– Вот это город! Верно, другого такого нет на всем свете, – сказал Мацько.

– Вечно тут как на ярмарке, – сказал один из песенников. – Вы давно здесь были?

– Давненько. Вот и дивлюсь, будто в первый раз вижу, потому мы приехали из диких краев.

– Говорят, при короле Ягайле Краков очень вырос.

Это была правда: со времени вступления на трон великого князя литовского необозримые литовские и русские края были открыты для краковской торговли, население Кракова день ото дня росло, он богател, застраивался и становился одним из крупнейших городов мира...

– У крестоносцев города тоже хороши, – снова сказал толстый песенник.

– Нам бы только туда попасть, – ответил Мацько. – Богатая была бы добыча!

Однако Повала думал совсем о другом, он думал о том, что молодой Збышко, который провинился только по своей безрассудной горячности, идет прямо в пасть волку. Хотя пан из Тачева в дни войны был суров и непреклонен, однако в богатырской груди его билось сердце поистине голубиной кротости, и, лучше всех прочих

понимая, что ждет виновного, он проникся к нему состраданием...

– А я все думаю и думаю, – снова обратился он к княгине, – сказать или не сказать обо всем королю. Если крестоносец не пожалуется, то все обойдется, но если он захочет пожаловаться, то, может, лучше сразу все рассказать королю, чтобы он вдруг не разгневался...

– Уж если крестоносец может кого погубить, так непременно погубит, – ответила княгиня. – Я только скажу сперва Збышку, чтобы он присоединился к нашему двору. Может, нашего придворного король покарает не так сурово.

С этими словами она подозвала Збышка, который, узнав, в чем дело, соскочил с коня, упал к её ногам и с величайшей радостью согласился стать её придворным не столько ради большей безопасности, сколько ради того, чтобы остаться поближе к Данусе...

Тем временем Повала спросил у Мацька:

– Где вы думаете остановиться?

– На постоялом дворе.

– На постоялых дворах же давно нет ни одного места.

– Тогда мы заедем к знакомому купцу Амылею, может, он пустит нас на ночлег...

– А я вам вот что скажу: поедьте ко мне. Ваш племянник мог бы остановиться с придворными в замке, но лучше уж ему не попадаться под руку королю. Что сделаешь во гневу, того не сделаешь поостывши. Вы, верно, станете делить свое добро, повозки и слуг, а для этого надобно время. Знаете, вам у меня будет хорошо и безопасно.

Мацька несколько встревожило то, что Повала так печется об их безопасности, тем не менее он от всей души поблагодарил рыцаря, и они въехали в город. При виде чудес, которые открылись их взору, он со Збышком на минуту снова забыли о своих заботах. В Литве и на границе они видали только кое-где замки, а из крупных городов – Вильно. Плохо построенный город этот был предан огню и обращен в груды развалин, погребенных под пеплом; здесь же каменные купеческие дома были подчас великолепнее тамошнего великокняжеского замка. Встречалось, правда, много деревянных домов, но и они поражали высотой стен и кровель и окнами из стеклянных шариков, оправленных в свинец, которые так отражали сияние заходящего солнца, что можно было подумать, будто в доме пожар. Однако на улицах, что поближе к рынку, дома чуть не сплошь были из красного кирпича или камня, высокие, с балконами и черными крестами на стенах. Они стояли рядами, как солдаты в строю, одни длинные, другие поуже, всего на девять локтей, но все высокие, со сводчатыми сенями, часто с распятием или с иконой Божьей матери над воротами. Были улицы, где виднелись два ряда домов, над ними – полоса неба, внизу – дорога, сплошь вымощенная камнем, а по обе стороны, насколько хватает глаз, – склады, склады, богатые, полные самых лучших, порой удивительных, а то и вовсе незнакомых товаров, на которые Мацько, привыкший на непрерывной войне захватывать добычу, смотрел жадными глазами. Однако ещё больше поражали Мацька и Збышка общественные здания[29]: костёл девы Марии на рынке, Сукенницы, ратуша с огромным погребом, где продавалось свидницкое пиво, снова костёлы, снова склады сукон, огромный мерцаториум[30], предназначенный для иноземных купцов, здание, в

котором хранились городские весы, цирюльни, бани, медеплавильни, воскотопни, золотоплавильни, сереброплавильни, пивоварни, целые горы бочек около так называемого Шротамта – словом, изобилие и богатство, какие и не снились человеку, непривычному к городу, даже если он был владельцем небольшого «городка».

Повала привел Мацька и Збышка в свой дом на улице святой Анны, велел отвести им просторную комнату, поручил их попечению своих слуг, а сам отправился в замок, откуда вернулся к ужину уже довольно поздно. С ним пришли приятели, все сели за веселый пир, ели мясо до отвала, вино лилось рекой, один хозяин был что-то невесел. Когда гости разошлись наконец по домам, он сказал Мацьку:

– Говорил я с одним каноником, грамотей он и законник, сказал мне он, что за оскорбление посла грозит смертная казнь. Так что молитесь Бога, чтобы крестоносец не пожаловался...

Хоть оба рыцаря и хватили лишнего на пиру, однако, услышав про это, спать пошли невеселые. Мацько вовсе не мог уснуть и спустя некоторое время окликнул племянника:

– Збышко!

– Что?

– Пораздумал я обо всем и решил, что отрубят тебе голову.

– Вы думаете? – сонным голосом спросил Збышко.

И, повернувшись к стене, заснул сладким сном, утомившись от дороги...

V

На другой день оба рыцаря из Богданца пошли с Повалой в кафедральный собор[31] к ранней обедне Богу помолиться и поглазеть на двор и гостей, собиравшихся в замке. По дороге Повала встретил множество знакомых, в том числе немало рыцарей, славных и в родном краю, и за границей; молодой Збышко смотрел на них с восторгом, в душе давая клятву сравняться с ними в храбрости и прочих доблестях, если только дело с Лихтенштейном благополучно кончится для него. Один из этих рыцарей, Топорчик, родственник краковского каштеляна, сообщил им новость о возвращении из Рима схоласта Войцеха Ястжембца, который ездил к папе Бонифацию IX с письмом от короля, пригласившего святого отца в Краков на крестины. Бонифаций принял приглашение, но, не будучи уверен в том, что сможет прибыть лично, уполномочил посла от своего имени быть восприемником младенца, который должен был появиться на свет, и вместе с тем, в доказательство своей особой любви к королевской чете, просил наречь его Бонифацием или Бонифацией.

Говорили также о скором прибытии венгерского короля Сигизмунда, который непременно должен был явиться на торжества. Он всегда приезжал, званый и незваный, в гости, на пиры и ристалища; страстный охотник до них, Сигизмунд всегда выступал в состязаниях, желая прославиться не только как король, но и как певец и один из первых рыцарей. Повала, Завиша из Гарбова, Добко из Олесницы[32], Нашан и другие столь же славные мужи с улыбкой вспоминали о том, как в последний приезд Сигизмунда король Владислав тайно просил их не очень теснить его на турнире, щадить «венгерского гостя», которого весь свет знал как человека столь суетного, что от неудачи у него на глазах выступали слезы. Но

больше всего внимание рыцарей привлекли дела Витовта. Рассказывали чудеса о роскошной колыбели, отлитой из чистого серебра, которую литовские князья и бояре привезли в дар королеве от Витовта и супруги его Анны[33]. Как всегда перед службой, народ разбился на кучки и толковал о новостях. Услыхав про колыбель, Мацько в одной из таких кучек стал расписывать этот драгоценный дар, но его засыпали вопросами о великом походе на татар, который замыслил Витовт, и Мацьку пришлось больше рассказывать об этом новом замысле князя. Поход был уже почти готов, многочисленное войско двинулось на Русь; если бы он кончился победой, владычество короля Ягайла распространилось бы чуть не на полмира, до неведомых азиатских пустынь, до границ Персии и берегов Арала. Мацько, который до этого был одним из приближенных Витовта и мог знать его замыслы, умел о них рассказывать так подробно и даже красноречиво, что, прежде чем зазвонили к обедне, вокруг него у ступеней собора собралась толпа любопытных. Речь идет, говорил он, просто о крестовом походе. Хотя Витовт именуется великим князем, однако он правит Литвой по уполномочию Ягайла, он лишь наместник, значит, крестовый поход будет заслугой короля. Сколь же велика будет слава новоокрещенной Литвы и могущественной Польши, когда объединенные войска понесут крест в такие края, где если и поминают имя спасителя, то лишь для того, чтобы изрыгать хулу, и где не ступала ещё нога поляка и литвина! Когда польские и литовские войска снова посадят на трон кипчаков[34] изгнанника Тохтамыша, он объявит себя «сыном» короля Владислава и, как обещал, вместе со всей Золотой Ордой поклонится кресту.

Мацька слушали с напряженным вниманием, но многие не знали толком, о чем идет речь, кому Витовт собирается помогать, с кем воевать, поэтому некоторые стали спрашивать:

– Да скажите же толком, с кем война?

– С кем? С Тимуром Хромым, – ответил Мацько.

На минуту воцарилось молчание. До слуха западных рыцарей часто доходили названия Золотой, Синей[35], Азовской и прочих орд, но про татарские дела и междоусобные войны они мало что знали. Зато во всей тогдашней Европе не нашлось бы человека, который не слышал бы о грозном Тимуре Хромом, или Тамерлане, чье имя повторяли с не меньшим страхом, чем некогда имя Аттилы. Ведь это был «властитель мира» и «властитель времен», повелитель двадцати семи завоеванных царств, владетель Московской Руси, владетель Сибири и Китая до самой Индии, Багдада, Исфахана, Алеппо, Дамаска, тень которого через аравийские пески падала на Египет, а через Босфор – на Греческое царство, губитель рода человеческого, чудовищный создатель пирамид из человеческих черепов, победитель во всех битвах, неодолимый «властелин душ и тел».

Это он посадил Тохтамыша на трон Золотой и Синей Орды и признал его своим «сыном». Но, когда владычество «сына» простерлось от Арала до Крыма и земель у него стало больше, чем их было во всей остальной Европе, он захотел стать независимым владетелем, за что грозный «отец» «одним пальцем» сверг его с трона, и тот, взывая о помощи, бежал к литовскому правителю. Именно его и вознамерился Витовт вновь вернуть на трон, но для этого надо было сперва сразиться с властелином мира Хромцом.

Вот почему имя Хромца произвело сильное впечатление на слушателей, и после минутного молчания один из старейших рыцарей, Войцех из Яглова, сказал:

– Драться с таким врагом дело нешуточное.

– Только вот за что драться? – живо возразил Миколай из Длуголяса. – Что нам из того, будет там, за морями, за долами, править сынами Велиала Тохтамыш или какой-нибудь Кутлук?

– Тохтамыш принял бы христианскую веру, – сказал Мацько.

– То ли принял бы, то ли нет. Разве можно верить собакам которые не признают Христа?

– Но должно голову сложить во имя Христа, – возразил Повала.

– И во имя рыцарской чести, – прибавил Топорчик, родственник каштеляна. – Найдутся ведь среди нас такие, которые пойдут. У пана Спытка из Мельштына молодая любимая жена, а он уже отправился к князю Витовту.

– И не удивительно, – вставил Ясько из Нашана. – Пусть на душе у тебя смертный грех, за такую войну наверняка получишь и отпущение грехов, и спасение.

– И вечную славу, – снова подхватил Повала из Тачева. – Коль воевать, так воевать, а что враг силен, так оно и лучше. Тимур покорил весь мир, подчинил себе двадцать семь царств. Честь и хвала была бы нашему народу, если бы мы стерли его с лица земли.

– Отчего ж не стереть? – воскликнул Топорчик. – Да покори он хоть сотню царств, нам все едино; пусть другие его боятся, а мы не станем! Это вы верно говорите! Бросить только клич да собрать тысяч десять добрых копейщиков – и мы весь мир пройдем!

– Да и какому ещё народу покорить Хромца, как не нашему?

Так толковали рыцари, а Збышко просто диву давался, как это ему раньше не захотелось двинуться с Витовтом в дикие степи... Будучи в Вильно, он хотел посмотреть на Краков и двор, принять участие в рыцарских ристалищах, а теперь подумал, что здесь его ждут, быть может, бесчестие и суд, а там он в худшем случае умрет смертью храбрых...

Однако столетний Войцех из Яглова, с трясущейся от старости головой, но умудренный годами, словно ушат холодной воды вылил на рыцарей.

– Глупцы вы, – сказал он. – Да разве никто из вас не знает, что королева слышала глас самого Христа, ну, а коли сам спаситель снизошел к ней, то почему же духу святому, лишь третьей ипостаси святой троицы, быть к ней менее милостиву. Потому-то она провидит будущее так, будто все перед ней совершается, и вот она говорила...

Оборвав эту свою речь, он потряс головой и сказал, помолчав:

– Позабыл я, что она говорила, погодите, дайте-ка вспомнить.

Он стал припоминать, а рыцари сосредоточенно ждали, ибо все думали, что королева – провидица.

– Ах да! – сказал он наконец. – Вспомнил! Королева говорила, что если бы все здешние рыцари пошли с князем Витовтом на Хромца, мы сокрушили бы язычество. Однако нам нельзя этого сделать из-за козней христианских владык. Надо стеречь границы и от чехов, и от венгров, и от ордена, никому нельзя доверять. А коли с Витовтом уйдет лишь горсточка поляков, их одолеет Тимур Хромой или его воеводы, которые ведут за собою тьму тем татар...

– Ведь сейчас у нас мир, – сказал Топорчик, – и, сдается, сам орден помогает Витовту. Даже крестоносцы не могут поступить иначе, они хоть для виду должны показать святому отцу, что готовы сражаться с язычниками. При дворе поговаривают, будто Куно Лихтенштейн приехал сюда не только на крестины, но и для переговоров с королем...

– Вот и он! – воскликнул в удивлении Мацько.

– И впрямь он! – сказал, оглянувшись, Повала. – Ей-ей, он самый! Недолго же погостил у аббата, должно быть, на рассвете уж уехал из Тынца.

– Приспичило! – угрюмо сказал Мацько.

В это время Куно Лихтенштейн прошел мимо них. Мацько узнал его по кресту, нашитому на плаще, но крестоносец не узнал ни его, ни Збышка, потому что видел их раньше в шлемах, а из-под шлема, даже при поднятом забрале, видна только нижняя часть лица. Проходя мимо рыцарей, Лихтенштейн кивнул головой Повале из Тачева и Топорчику и стал медленно и величественно подниматься с оруженосцами по ступеням собора.

Тут зазвонили колокола, всполошив стаи галок и голубей, гнездившихся на башнях, и возвестив вместе с тем, что скоро начнется обедня. Несколько встревоженные скорым возвращением Лихтенштейна, Мацько и Збышко вошли вместе с прочим народом в костёл. Надо сказать, что больше тревожился старший рыцарь, внимание младшего было всецело поглощено двором. Отродясь не видывал Збышко ничего такого, что могло бы сравниться пышностью с этим костёлом и с этим собранием. С двух сторон его окружали знаменитейшие мужи королевства, прославившиеся в совете или в бою. Многие из тех, кто устроил предусмотрительно брак великого князя Литвы с прекрасной и юной королевой Польши, уже умерли, но некоторые были ещё живы, и народ взирал на них с необыкновенной почтительностью. Молодой рыцарь не мог налюбоваться осанкой краковского каштеляна Яська из Тенчина, у которого суровость сочеталась с величественностью и благородством; с восхищением смотрел он на умные и исполненные достоинства лица других советников и на здоровые лица рыцарей, у которых волосы, ровно подстриженные над бровями, длинными кудрями ниспадали на плечи. Иные носили на головах сетки, иные поддерживали волосы только повязками. Иноземные гости, послы римского императора, Чехии, Венгрии и Австрии и лица, сопровождавшие их, поражали необыкновенной изысканностью одежд; князя и бояре литовские, невзирая на летний зной, надели пышности ради шубы, подбитые дорогими мехами; князя русские в негнущихся широких одеждах на фоне церковных стен и позолоты напоминали иконы византийского письма. Но с самым живым любопытством Збышко ждал выхода короля и королевы; он старался протиснуться вперед, к седалищам ксендзов, перед которыми у алтаря виднелись две подушки красного бархата, – король и королева всегда слушали обедню коленапреклоненными. Ждать пришлось недолго: король вышел первым из дверей сакристии[36], и, пока он дошел до алтаря, Збышко успел хорошо его рассмотреть. Черные, длинные и спутанные волосы короля со лба уже начинали редеть, с боков они были откинута за уши, смуглое лицо было гладко выбрито, нос с горбинкой,

острый, у рта пролегли складки, а черные, маленькие, блестящие глазки бегали по сторонам так, словно король, прежде чем дойти до алтаря, хотел пересчитать всех молящихся в храме. Лицо у короля было добродушное, но вместе с тем настороженное, как у человека, который, будучи вознесен судьбою сверх ожидания, должен все время думать о том, отвечают ли его поступки королевскому сану, и опасаться злоречия. Поэтому в лице его и движениях сквозило легкое нетерпение. Нетрудно было догадаться, что в гневе он неукротим и страшен и что всегда остается тем самым князем, который в свое время, когда крестоносцы своими происками вывели его из терпения, крикнул их посланцам: «Вы ко мне с пергаментом, а вот я вас копьем!»

Но сейчас эта природная горячность характера умерялась глубокой и искренней набожностью. В костёле король служил примером благочестия не только для вновь обращенных князей литовских, но и для польских вельмож, издавна славившихся своей набожностью. Часто, отбросив подушку, король для вящего умерщвления плоти стоял, преклонив колена, на голых камнях; воздев руки, он не опускал их до тех пор, пока от усталости они сами не падали вниз. Он отслушивал на дню не менее трех обеден, причем слушал их с жадностью. Открытие чаши и звон колокольчика во время великого выхода всегда наполняли его душу восторгом и упоением, блаженством и трепетом. После окончания обедни он выходил из костёла, словно очнувшись ото сна, умиротворенный и кроткий, и придворные уже давно знали, что в это время легче всего сыскать у него милость или испросить дары.

За королем из сакристии вышла Ядвига. Обедня ещё не начиналась, но рыцари, стоявшие впереди, увидев королеву, тотчас преклонили колена, невольно воздавая ей честь как святой. Збышко сделал то же самое, ибо во всей толпе молящихся никто не сомневался в том, что видит святую, иконы которой со временем будут украшать церковные алтари. Ядвига вела жизнь столь суровую и подвижническую, особенно в последние годы, что, помимо почестей, воздаваемых ей как королеве, её стали чтить как святую. В народе и среди знати из уст в уста передавались легенды о чудесах, творимых королевой. Говорили, будто прикосновением руки она исцеляет болящих, будто люди, не владевшие членами, начинают ходить, облачившись в старые одежды королевы. Заслуживающие доверия свидетели утверждали, будто собственными ушами слышали, как однажды Христос вещал ей с престола. Перед нею преклоняли колена иноземные монархи, её почитал и опасался оскорбить даже гордый орден крестоносцев. Папа Бонифаций IX называл её благочестивой дочерью и избранницей церкви. Мир взирал на её дела и помнил, что, происходя из Анжуйского дома и польских Пястов, будучи дочерью могущественного Людовика, воспитанной при самом блистательном дворе, и, наконец, прекраснейшей девой на земле, она отреклась от счастья, отреклась от первой девической любви и, будучи королевой, вступила в брак с «диким» князем Литвы, дабы вместе с ним склонить к подножию креста господня последний языческий народ в Европе. То, что не могли свершить ни немцы, ни могущество ордена, ни крестовые походы, ни море пролитой крови, свершило одно её слово. Никогда апостольский венец не осенял столь юного и прекрасного чела, никогда апостольство не сочеталось с таким самоотречением, никогда женская красота не озарялась такой ангельской добротой и такой тихой печалью.

Менестрели воспевали её при всех дворах Европы; в Краков съезжались рыцари из самых отдаленных стран, чтобы увидеть польскую королеву, как зеницу ока берег её и любил собственный народ, чье могущество и славу она приумножила брачным союзом с Ягайлом. Одна лишь великая печаль омрачала её и народ: долгие годы Бог не давал своей избраннице потомства.

Но когда наконец миновало и это несчастье, радостная весть о ниспосланном благословении с быстротой молнии разнеслась от Балтийского до Черного моря и до Карпат и наполнила весельем сердца всех народов великой державы. Даже при иноземных дворах везде, кроме столицы крестоносцев, весть об этом приняли с радостью. В Риме пели «Te Deum». В землях польских народ окончательно утвердился в мысли, что стоит «святой владычице» о чем-нибудь попросить Бога – и молитва её непременно будет услышана.

Люди приходили к ней просить помолиться за их здоровье, посланцы земель и уездов приходили к ней просить помолиться то о ниспослании дождя, то хорошей погоды на время жатвы, то удачного покоса, то хорошего сбора меда, то изобилия рыбы в озерах и дичи в лесах. Грозные рыцари из пограничных замков и городков, которые, по обычаю, перенятому от немцев, занимались разбоем или междоусобной войной, при одном её слове вкладывали в ножны мечи, отпускали без выкупа пленников, возвращали угнанные стада и протягивали друг другу руку в знак мира. Все убогие, все нищие толпились у ворот краковского замка. Чистая душа её проникала в тайники человеческих сердец, смягчала участь невольников, гордость вельмож, суровость судей и возносилась над всей страной, как провозвестница счастья, как ангел справедливости и мира.

Все с сердечным трепетом ждали благословенного дня.

Рыцари внимательно посматривали на стан королевы, чтобы заключить, долго ли ещё остается им ждать будущего наследника или наследницу престола. Архиепископ краковский Выш, который был в то же время самым опытным в стране лекарем, прославившимся и за границей, не обещал ещё скорого разрешения от бремени, и если уже делались приготовления к празднествам, то лишь потому, что, по обычаю тех времен, празднества начинались загодя и тянулись целыми неделями. Хотя стан королевы несколько округлился, однако всё ещё сохранял прежнюю стройность. Одежды она носила крайне простые. Воспитанная когда-то при пышном дворе, самая красивая из всех тогдашних княжон и принцесс, она любила дорогие материи, ожерелья, жемчуга, золотые браслеты и перстни, но теперь вот уже несколько лет не только носила монашеские одежды, но и закрывала лицо, дабы от вида собственной красоты не обуяла её мирская гордыня. Тщетно Ягайло, с восторгом узнав о том, что королева тяжела, просил её украсить ложе парчю, виссоном, камнями. Она ответила, что, давно отрекшись от пышности и памятуя, что час разрешения часто бывает смертным часом, не среди драгоценных камней, но в тихом смирении должна принять милость, ниспосылаемую ей Богом.

Золото и драгоценности шли тем временем на Академию[37] или на посылку новоокрещенных литовских юношей в иноземные университеты.

С той поры как надежда на материнство обратилась в уверенность, королева лишь согласилась в одном изменить свой монашеский облик – она перестала закрывать лицо, справедливо полагая, что отныне не приличествуют ей покаянные одежды...

Взоры всех с любовью устремились теперь на прекрасное лицо, которому не нужны были для украшения золото и самоцветы. Подняв очи горе, держа в одной руке молитвенник, а в другой четки, королева медленно шла от дверей сакристии к алтарю. Збышко увидел лилейный её лик, лазоревые очи, поистине ангельские черты, исполненные спокойствия, доброты и милосердия, и сердце молотом забило у него в груди. Он знал, что, по велению божию, должен любить своего короля и свою королеву, и любил их по-своему, но сейчас он внезапно вспыхнул к ним той великой любовью, которая загорается в сердце, не повинуюсь велению, но вспыхивает сама,

как пламя, сочетаясь с величайшим преклонением, и смирением, и жаждою жертвы. Збышко был молод и горяч, и сейчас его охватила жажда доказать королю и королеве всю свою рыцарскую любовь и преданность, совершить подвиг ради этой любви, куда-то помчаться, кого-то изрубить, что-то захватить и при этом самому сложить голову. «Не пойти ли мне с князем Витовтом, – говорил он сам с собою, – как ещё я могу послужить святой владычице, раз поблизости нигде нет войны?» Ему даже в голову не пришло, что служить можно не только мечом, рогатиной или секирой, и он готов был один ударить на всю рать Тимура Хромого. Ему хотелось тотчас после обедни вскочить на коня и на что-то решиться. На что? Этого он сам не знал. Он знал только, что сгорает от нетерпения, что не может сидеть сложа руки, что вся душа его горит...

Он снова совсем позабыл о грозившей ему опасности. На мгновение он позабыл даже о Данусе, а когда в костёле запели вдруг детские голоса и он вспомнил о ней, то почувствовал, что с нею – это «совсем особая статья». Данусе он дал обет верности, дал обет убить трех немцев – и свершит этот обет, но королева выше всех женщин, и когда он подумал о том, сколько немцев он желал бы убить для королевы, то увидел горы панцирей, шлемов, страусовых и павлиньих перьев, но и этого ему показалось мало...

Он не спускал глаз с королевы, раздумывая с одушевленным сердцем о том, какой молитвой почтить её, ибо полагал, что за королеву как-нибудь молиться нельзя. Он умел прочесть: «Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum» [38]. Этому научил его один францисканец в Вильно, но то ли сам монах не знал больше, то ли Збышко позабыл остальную часть молитвы, только прочесть «Отче наш» до конца он не мог. Однако сейчас он стал без конца повторять эти несколько слов, которые в его душе значили: «Поддай возлюбленной нашей владычице здравие, житие и благоденствие и пейись о ней более, нежели обо всем прочем». Поскольку слова молитвы повторял человек, над собственной головой которого нависла угроза суда и кары, ясно, что во всем костёле никто не молился более искренне...

Когда кончилась обедня, Збышко подумал, что если бы ему дозволили предстать пред очи королевы, пасть пред нею ниц и обнять её колена, то пусть бы уж после этого наступил конец света; но после первой обедни началась вторая, за нею третья, а затем королева удалилась в свои покои, так как она обыкновенно постилась до полудня и намеренно не принимала участия в веселых завтраках, во время которых для потехи короля и гостей выступали шуты и скоморохи. Вместо королевы Збышко увидел старого рыцаря из Длуголяса, который позвал его к княгине.

– За завтраком ты будешь прислуживать мне и Данусе как мой придворный, – сказала княгиня, – вдруг королю понравится твое острое словцо или какая-нибудь шутка, и ты привлечешь его сердце. А если тебя узнает крестоносец, то, может, не станет жаловаться, увидев, что ты прислуживаешь мне за королевским столом.

Збышко поцеловал княгине руку, а затем повернулся к Данусе; тут он, хоть и более привык к войнам и сражениям, нежели к придворным обычаям, вспомнил, видно, как надлежит себя вести рыцарю, когда утром он встречает свою госпожу: отступив на шаг, он изобразил на своем лице изумление и, крестясь, воскликнул:

– Во имя отца и сына и святого духа!..

Подняв на него голубые глазки, Дануся спросила:

– Что это ты, Збышко, крестишься, ведь обедня уж кончилась?

– О прекрасная панна, как же ты за эту ночь похорошела! Это просто чудо!

Но Миколай из Длуголяса, человек старый, не любивший новых иноземных рыцарских обычаев, пожал плечами и сказал:

– Что ты попусту время теряешь, болтаешь тут ей о красоте! Коротышка, от земли не видно!

Збышко в негодовании воззрился на старика.

– Берегитесь называть её коротышкой, – сказал он, бледнея от гнева, – и знайте, что, будь вы помоложе, я тотчас приказал бы утоптать землю за замком и сразился бы с вами насмерть!..

– Молчи, щенок!.. Я и сегодня справился бы с тобой!

– Молчи! – повторила княгиня. – Нет чтоб подумать о собственной голове, он ещё в драку рвется! Лучше было мне поискать Данусе рыцаря порассудительней. Вот что я тебе скажу: хочешь смутьянить, ступай на все четыре стороны, нам здесь такие не нужны...

Збышку стало стыдно, и он начал просить у княгини прощения. Но при этом он подумал, что, если только у пана Миколая из Длуголяса есть взрослый сын, то когда-нибудь он уж вызовет его на поединок, пешего ли, конного ли, и отомстит за коротышку. А пока Збышко решил держаться в королевских покоях тише воды ниже травы и никого на поединок не вызывать, разве только если этого потребует рыцарская честь...

Звуки труб возвестили, что завтрак подан, и княгиня Анна, взяв за руку Данусю, направилась в королевские покои, перед которыми в ожидании её стояли вельможи и рыцари. Княгиня Александра вошла уже первая – как родная сестра короля, она занимала за столом место выше. Вскоре покои наполнились иноземными гостями и приглашенными к завтраку вельможами и рыцарями. Король сидел на верхнем конце, рядом с ним – епископ краковский и Войцех Ястжембец, который как папский посол занимал место по правую руку от короля, хотя саном был ниже епископа. Две княгини заняли следующие места. За Анной Данутой удобно расположился в широком кресле бывший гнезненский архиепископ Ян, князь из рода силезских Пястов, сын Болька III, князя опольского. Збышко слышал о нем при дворе Витовта и сейчас, стоя позади княгини и Дануси, тотчас признал князя по густой и кудлатой гриве, которая напоминала церковное кропило. При дворах польских князей его так и называли Кропилом, и даже крестоносцы прозвали его «Грапидлом». Это был человек, известный своим веселым и легким нравом. Получив против воли короля гнезненскую архиепископию, он хотел занять её с оружием в руках; лишенный за это сана и изгнанный, связался с крестоносцами, которые дали ему на Поморье бедную каменскую епископию. Только тогда поняв, что с могущественным королем лучше жить в мире, он вымолил у него прощение, вернулся на родину и стал ждать, пока освободится какая-нибудь епархия, в надежде получить её у милостивого короля. Надежды его впоследствии оправдались, а пока он старался шутками привлечь к себе сердце короля. Однако к крестоносцам он по-прежнему питал расположение. Даже сейчас, при дворе Ягайла, где ни вельможи, ни рыцари не проявляли к нему особой благосклонности, он искал общества Лихтенштейна и старался сесть за стол рядом с ним.

Так было и на этот раз. Став за креслом княгини, Збышко очутился так близко от крестоносца, что мог бы достать до него рукой. Молодой рыцарь сразу почувствовал, что у него руки чешутся и невольно сжимаются кулаки, однако укротил свой порыв и не позволил себе даже подумать что-нибудь неподобающее. Однако время от времени он с вожделием поглядывал на белобрысую голову Лихтенштейна, начинавшую лысеть на макушке, на его шею, плечи и спину, как бы пытаясь прикинуть, долго ли придется провожаться с ним в бою или в единоборстве. Збышку подумалось, что не очень долго, – хотя под узким кафтаном из тонкого серого сукна у крестоносца выдавались могучие лопатки, все же он был жидок по сравнению с Повалой, Пашком Злодзеем из Бискупиц, обоими славными Сулимчиками, Кшоном из Козихглув и многими другими рыцарями, сидевшими за королевским столом.

С восторгом и завистью глядел на них Збышко, но главное его внимание привлек все же сам король. Посматривая по сторонам и то и дело закладывая пальцами волосы за уши, он как будто гневался, что завтрак всё ещё не подан. На мгновение взгляд его задержался на Збышке, страх объял тут молодого рыцаря, ужасная тревога овладела им при одной мысли о том, что ему, наверно, придется предстать пред гневным лицом короля. Впервые он не на шутку задумался о том, что не миновать ему ответа за свой проступок, – до этой поры самая мысль о каре, которую он может понести, казалась ему далекой, смутной и потому не стоящей внимания.

Немец и не догадывался, что рыцарь, который дерзко напал на него на большой дороге, находится так близко от него. Начался завтрак. Подали винную похлебку, так крепко приправленную яйцами, корицей, гвоздикой, имбирем и шафраном, что дух пошел по всей комнате. Шут Цярушек, сидевший на табурете у двери, тотчас стал подражать пению соловья, что, видно, веселило короля. Со слугами, обносившими гостей, обходил стол другой шут; незаметно останавливаясь, он так искусно подражал жужжанию пчелы, что некоторые гости клали ложки и начинали отмахиваться. При виде этого остальные заливались смехом. Збышко усердно прислуживал княгине и Данусе, но когда и Лихтенштейн стал похлопывать себя по лысеющей макушке, он снова позабыл про опасность и тоже смеялся до слез, а князь литовский Ямонт, сын смоленского наместника[39], стоявший неподалеку от него, с таким усердием вторил ему, что даже ронял кушанья с блюд.

Крестоносец заметил наконец свою ошибку, повернулся к епископу Кропилу и, сунув руку в калиту, сказал несколько слов по-немецки, которые епископ тут же повторил по-польски.

– Вот что говорит тебе благородный рыцарь, – обратился он к шуту, – получишь два скойца, только не жужжи так близко, а то пчел отгоняют, а трутней бьют...

Шут спрятал два скойца, которые дал ему крестоносец, и, пользуясь свободой, предоставленной шутам при всех дворах, проговорил:

– Много меду в земле добжинской, потому и обсели её трутни. Бей же их, король Владислав!

– Вот тебе и от меня грош за острое слово, – сказал ему Кропило, – только помни, что, коли кресло оборвется, бортник себе шею свернет. Есть жала у мальборкских трутней, которые обсели Добжин, и опасно соваться к ним в борт.

– Эва! – воскликнул краковский мечник, Зындрам из Машковиц. – Можно выкурить их!

– Чем?

– Порохом!

– Или срубить борть топором! – сказал великан Пашко Злодзей из Бискупиц.

У Збышка взыграло сердце от радости, ибо он полагал, что такие речи сулят войну. Но Куно Лихтенштейн тоже понимал эти речи, – живя долго в Торуне и Хелмно, он научился польскому языку и не говорил по-польски только из гордости. Однако сейчас, уязвленный словами Зындрама из Машковиц, он устремил на него свои серые глаза и бросил:

– Увидим.

– Наши отцы под Пловцами видали, да и мы видали под Вильно, – ответил ему Зындрам.

– *Rax vobiscum!*[40] – воскликнул Кропило. – *Rax! Rax!* Пусть только преосвященный Миколай из Курова покинет куявскую епископию, а милостивый король назначит меня его преемником, я произнесу вам такую прекрасную проповедь о любви между христианскими народами, что всех вас укрошу. Ибо что такое ненависть, как не *ignis*, к тому же *ignis infernalis*[41] – огонь столь страшный, что водой его не унять, разве только вином можно залить. Дайте вина! Пей, гуляй, как говаривал покойный епископ Завиша из Курозвенк!

– А с гулянки в ад ступай, как говаривал черт! – прибавил шут Цярушек.

– Пускай черт тебя утащит!

– Любопытней будет, коли вас. Не видали ещё черта с Кропилом, но я думаю, что вы всех нас потешите...

– Сперва я ещё тебя покроплю. Дайте вина, и да здравствует любовь между христианами!

– Между истинными христианами! – с ударением повторил Куно Лихтенштейн.

– Как? – поднимая голову, воскликнул епископ краковский Выш. – Разве вы не обретаетесь в издревле христианском королевстве? Разве храмы наши не древней мальборкских?

– Не знаю, – ответил крестоносец.

Король был особенно щепетилен, когда дело касалось христианства. Ему показалось, что это крестоносец хочет уколоть его самого; выдавшиеся скулы тотчас покрылись у него красными пятнами, и глаза засверкали.

– Что сие означает? – раздался его густой голос. – Разве я не христианский король?

– Королевство почитается христианским, – холодно возразил крестоносец, – но обычаи в нем языческие...

При этих словах поднялись грозные рыцари: Марцин из Вроцимовиц герба Пулкоза,

Флориан из Корытницы, Бартош из Водзинка, Домарат из Кобылян, Повала из Тачева, Пашко Злодзей из Бискупиц, Зындрам из Машковиц, Якса из Тарговиска, Кшон из Козихглов, Зигмунт из Бобовой и Сташко из Харбимовиц, могучие, славные победители во многих битвах, на многих турнирах, и, то пылая от гнева, то бледнея, то скрежеща зубами, стали кричать наперебой:

– Горе нам! Он наш гость, и мы не можем вызвать его на бой!

А Завиша Чарный Сулимчик, славнейший из славных, «образец рыцаря», нахмурясь, обратил лицо на Лихтенштейна и сказал:

– Я не узнаю тебя, Куно! Как можешь ты, будучи рыцарем, позорить великий народ, зная, что, как послу, тебе не грозит за это кара?

Но Куно спокойно выдержал грозный взгляд и ответил раздельно и медленно:

– Прежде чем прибыть в Пруссию, наш орден воевал в Палестине, но даже там сарацины уважали послов. Только вы одни их не уважаете. Потому я и назвал ваши обычаи языческими.

Шум при этом поднялся ещё больший. За столом снова раздались возгласы:

– Горе нам, горе!

Но все стихли, когда король, лицо которого пылало от гнева, по литовскому обычаю несколько раз хлопнул в ладоши. Тогда встал краковский каштелян Ясько Топор из Тенчина, седой и важный старик, чей высокий сан вселял страх в сердца, и сказал:

– Благородный рыцарь из Лихтенштейна, если вам как послу нанесли оскорбление, говорите, суд у нас будет скорый и правый.

– Ни в каком ином христианском государстве этого со мной не случилось бы, – ответил Куно. – Вчера по дороге в Тынец на меня напал один ваш рыцарь и, хотя по кресту на плаще легко мог признать, кто я, посягнул на мою жизнь.

Услышав эти слова, Збышко побледнел, как мертвец, и невольно обратил взор на короля, лицо которого стало просто страшным. Ясько из Тенчина спросил в изумлении:

– Мыслимо ли это?

– Спросите пана из Тачева, он был очевидцем.

Все взоры обратились на Повалу, который с минуту времени стоял, мрачно потупив глаза, а потом сказал:

– Да, это правда!..

– Позор! Позор! – вскричали рыцари при этих словах. – Расступись земля под таким рыцарем! – Со стыда одни били себя кулаками в грудь и хлопали по бедрам, другие мяли в руках оловянные миски, стоявшие на столе.

– Почему же ты не убил его? – громовым голосом закричал король.

– Потому что он должен держать ответ перед судом, – сказал Повала.

– Цепи вы надели на него? – спросил каштелян Топор из Тенчина.

– Нет, он поклялся рыцарской честью, что явится на суд.

– И не является! – поднимая голову, насмешливо воскликнул Куно.

Но тут за спиной крестоносца раздался молодой печальный голос:

– Не приведи Бог, чтобы я смерти предпочел позор. Это я сделал, Збышко из Богданца.

При этих словах рыцари кинулись к несчастному Збышку, но король остановил их грозным манием руки; он поднялся, сверкая глазами, и, задыхаясь от гнева, закричал голосом, подобным грохоту телеги, катящейся по камням:

– Обезглавить его! Обезглавить! Пусть крестоносец отошлет его голову магистру в Мальборк!

Затем он крикнул стоявшему поблизости молодому литовскому князю, сыну смоленского наместника:

– Держи его, Ямонт!

Потрясенный королевским гневом Ямонт положил трепещущие руки на плечи Збышка, но тот, обратив к нему побледневшее лицо, сказал:

– Я не убегу...

Седобородый каштелян краковский, Топор из Тенчина, поднял тут руку в знак того, что хочет говорить, и, когда все стихли, сказал:

– Всемиловейший король! Пусть комтур убедится, что за покушение на особу посла не ты во гневе караешь смертью, но наш закон. Иначе он вправе будет подумать, что нет у нас в королевстве закона христианского. Я сам буду судить виновного!

Последние слова он произнес, повысив голос, и, видимо не допуская даже мысли, что этот голос может не быть услышан, кивнул Ямонту:

– Запереть его в башню. А вы, пан из Тачева, будете свидетелем.

– Я расскажу, в чем провинился сей отрок; никто из нас, зрелых мужей, не совершил бы такого поступка, – ответил Повала, мрачно глядя на Лихтенштейна.

– Верно! – тотчас подхватили другие. – Разве это рыцарь? Мальчик! Зачем же из-за него нас всех покрыли позором?

Наступило минутное молчание, все устремили на крестоносца враждебные взгляды. Тем временем Ямонт вывел Збышка из зала, чтобы передать его в руки лучников, стоявших во дворе замка. Жалость к узнику пробудилась в молодом его сердце, она была тем сильнее, что князь от рождения ненавидел немцев. Но как литвин он привык слепо повиноваться воле великого князя, да и сам был испуган королевским

гневом, поэтому по дороге он стал нашептывать молодому рыцарю:

– Знаешь, что я тебе скажу: ты удавись! Лучше всего сразу удавись. Король разгневался, и тебе все равно отрубят голову. Почему бы тебе его не потешить? Удавись, друг мой! У нас такой обычай.

Збышко, в полубеспамятстве от страха и стыда, сперва, казалось, не понял речей князя, но, постигнув наконец их смысл, даже приостановился в изумлении.

– Что это ты болтаешь?

– Удавись! Зачем это нужно, чтобы тебя судили? Короля потешишь! – повторил Ямонт.

– Сам удавись! – воскликнул молодой рыцарь. – Как будто и крещеный ты, а шкура у тебя осталась языческая, ты даже не понимаешь, что грех христианину душу свою губить.

Но князь пожал плечами:

– Да ведь это не по доброй воле. Все равно тебе отрубят голову.

У Збышка мелькнула мысль, что за такие речи следовало бы вызвать боярского сына на поединок, пешего или конного, на мечях или на секирах, но он подавил это желание, вспомнив, что времени для этого у него уж не будет. Печально опустив голову, он в молчании предался в руки начальника дворцовых лучников.

А в зале тем временем всеобщее внимание было привлечено другим. Увидев, что творится, Дануся сперва так испугалась, что дыхание замерло у неё в груди. Личико её побледнело как полотно, глазки округлились от ужаса, неподвижно, как восковая статуэтка в костёле, уставилась она на короля. Но когда девочка наконец услышала, что её Збышку хотят отрубить голову, когда его забрали и вывели из зала, безмерная жалость овладела ею, губы и брови у неё задрожали; как ни боялась она короля, как ни закусывала губы, однако не смогла удержаться от слез и расплакалась вдруг так жалобно и громко, что все лица обратились к ней и даже сам король спросил:

– Что случилось?

– Всемиловейший король! – воскликнула княгиня Анна. – Это дочь Юранда из Спыхова, которой несчастный молодой рыцарь дал обет. Дал он обет ей сорвать со шлемов три павлиньих чуба и, увидев такой чуб на шлеме комтура, решил, что это ему сам Бог его посылает. Не по злобе он сделал это, государь, а только по глупости, будь же милостив и не карай его, мы на коленях просим тебя об этом.

Тут она поднялась и, схватив за руку Данусю, подбежала с нею к королю. Король отшатнулся от них, но они обе упали ему в ноги, и Дануся, обхватив руками его колени, стала кричать:

– Помилуй Збышка, король, помилуй Збышка!

И, в самозабвении и вместе с тем в страхе, она спрятала свою светлую головку в складках серого платья короля и, трепеща как лист, стала целовать ему колени. Княгиня Анна Данута стояла на коленях с другой стороны и, сложив руки, с мольбою

смотрела на короля, на лице которого изобразилось сильное смущение. Он отодвигался с креслом от Дануси и княгини, но не отталкивал Дануси, а только махал обеими руками, точно отгоняя муху.

– Оставьте меня в покое! – кричал король. – Он провинился, опозорил все королевство! Пусть же его обезглавят!

Но маленькие ручки все теснее сжимали его колени, а детский голосок кричал все жалобней:

– Помилуй Збышка, король, помилуй Збышка!

Вдруг раздались голоса рыцарей:

– Юранд из Спыхова – славный рыцарь, гроза немцев!

– И отрок уже отличился под Вильно, – прибавил Повала.

Но король настаивал на своем, хотя и был тронут видом Дануси.

– Оставьте меня в покое! Он не предо мной провинился, и я не могу его помиловать. Пусть посол ордена простит его, тогда и я его помилую, а нет, так пусть его обезглавят.

– Прости его, Куно, – сказал Завиша Чарный Сулимчик, – сам магистр не станет укорять тебя за это.

– Прости его, рыцарь! – воскликнули обе княгини.

– Прости его, прости! – подхватили рыцари.

Прищуриив глаза, Куно сидел с поднятой головой, словно тешась тем, что обе княгини и столь славные рыцари обращаются к нему с мольбою. И вдруг в один миг он преобразился: опустив голову, скрестил на груди руки, из надменного стал смиренным и мягким, тихим голосом произнес:

– Христос, спаситель наш, простил на кресте разбойника и врагов своих...

– Вот это речь, достойная благородного рыцаря! – сказал епископ Выш.

– Справедливые слова! Справедливые!

– Как же мог бы я не простить, – продолжал Куно, – если я не только христианин, но и монах? Посему как слуга Христов и монах я прощаю его от всей души, от всего сердца!

– Слава ему! – крикнул Повала из Тачева.

– Слава! – подхватили остальные.

– Но, – сказал крестоносец, – среди вас я посол и олицетворяю величие всего ордена, который является орденом Христа. Кто нанес мне как послу оскорбление, тот оскорбил орден, кто же оскорбил орден, тот оскорбил самого Христа, а такое оскорбление я пред Богом и людьми не могу простить, если же закон ваш простит

его, то пусть узнают об этом все христианские государи.

Немое молчание воцарилось при этих словах. Лишь через минуту послышался скрежет зубов, тяжелые вздохи подавленной ярости и рыдания Дануси.

К вечеру все сердца склонились на сторону Збышка. Те самые рыцари, которые утром по манию короля готовы были изрубить его мечами, теперь искали способа спасти его. Княгини решили обратиться к королеве с просьбой уговорить Лихтенштейна взять назад свою жалобу, а в случае надобности послать письмо великому магистру с просьбой повелеть Куно не поднимать этого дела. Путь этот представлялся верным, так как Ядвига была окружена таким необычайным почетом, что великий магистр навлек бы на себя гнев папы и недовольство всех христианских государей, если бы отказал ей в этом. Можно было думать, что Конрад фон Юнгинген не откажет королеве и потому, что он был человек мирный и гораздо более мягкий, чем его предшественники. К несчастью, епископ краковский Выш, который был в то же время главным врачом королевы, строго-настрого запретил княгиням даже заикаться ей об этом деле. «Королева не может спокойно слышать о смертных приговорах, – сказал он. – Если речь идет даже о простом разбойнике, она принимает это близко к сердцу; что же говорить об отроке, который справедливо может надеяться на её милосердие? Однако всякое волнение вредно королеве и легко может привести к тяжелой болезни, здоровье же её для королевства дороже десятка рыцарских голов». Каждому, кто осмелится вопреки его запрету потревожить королеву, епископ пригрозил в заключение страшным королевским гневом и вдобавок преданием анафеме.

Обе княгини испугались и решили ничего не говорить королеве, но зато до тех пор неотступно умолять короля, пока он не смилуется над Збышком. Весь двор и все рыцари были уже на стороне Збышка. Повала из Тачева обещал сказать на суде всю правду, но свидетельствовать в пользу Збышка и представить все дело как следствие мальчишеской его безрассудности. И все же каждый предвидел, а каштелян Ясько из Тенчина заявлял об этом во всеуслышание, что если крестоносец станет настаивать, то жестокая казнь будет свершена.

Тем большим гневом пылали сердца рыцарей против Лихтенштейна, и не один из них думал про себя, а то и заявлял громогласно: «Он посол, и на поединок его не вызовешь, но пусть только вернется в Мальборк, не умереть ему собственной смертью». Это не были пустые угрозы, ибо опоясанным рыцарям не пристало бросать слова на ветер, и если уж кто давал какой-нибудь обет, должен был выполнить его или погибнуть. Больше всех негодовал грозный Повала, у него в Тачеве была любимая дочка одних лет с Данусей, и слезы Дануси вконец сокрушили его.

В тот же день Повала посетил Збышка в темнице, велел ему не падать духом и рассказал о том, как за него просили обе княгини и как заливалась слезами Дануся... Узнав, что девочка ради него бросилась к ногам короля, Збышко растрогался до слез и, не умея выразить свою благодарность Данусе и тоску по ней, сказал, утирая глаза:

– Эх! Да благословит её Бог, а мне даст поскорее сразиться за неё пешему или конному! Слишком мало пообещал я ей немцев, такой девушке надо было столько пообещать их, сколько ей лет. Коли вызволит меня Христос из этой беды, уж я их для неё не пожалею!..

И он поднял к небу полные благодарности глаза...

– Ты сперва пообещай что-нибудь на церковь, – возразил пан из Тачева, – ведь

если твоя жертва будет угодна Богу, ты наверняка выйдешь на свободу. А потом, послушай: твой дядя пошел к Лихтенштейну, а потом пойду и я. Не зазорно будет тебе попросить у него прощения, ведь ты и в самом деле провинился, да и просить прощения будешь не у какого-то Лихтенштейна, а у посла. Согласен?

– Коли мне такой рыцарь, как вы, ваша милость, говорит, что это не зазорно, – я так и сделаю! Но если крестоносец захочет, чтобы я попросил у него прощения так, как он требовал по дороге из Тынца, то пусть уж лучше мне отрубят голову. Останется дядя, он отомстит за меня крестоносцу, когда тот кончит править посольство...

– Посмотрим, что он скажет Мацьку, – сказал Повала.

Мацько и в самом деле побывал вечером у немца, но тот принял его с таким высокомерием, что даже свет не велел зажечь и говорил со старым рыцарем впотьмах. Мацько вернулся от него темный, как ночь, и направился к королю. Король принял его милостиво, потому что у него уже совсем отошло от сердца, и когда Мацько упал к его ногам, велел старику встать и спросил, чего ему надобно.

– Милостивейший государь, – сказал Мацько, – как говорится, виноват – клади голову на плаху, иначе не было б никакого закона на свете. Но есть в том и моя вина, не удерживал я хлопца, отроду горячего, а, наоборот, поощрял этот его недостаток. Так я его воспитывал, а потом с малых лет воспитывала его война. Моя вина, милостивейший король, не раз я ему говаривал: сперва руби, а там посмотришь, кого изрубил. Хорошо было это на войне, да худо при дворе! Но не хлопец он у меня, а золото, последний в роду, и жаль мне его до смерти...

– Он опозорил меня, опозорил королевство, – возразил король, – что же, мне за это по головке его погладить?

Мацько умолк, потому что при воспоминании о Збышке горло сжалось у него внезапно от жалости, и лишь спустя некоторое время он заговорил всё ещё взволнованным, прерывистым голосом:

– Только теперь, когда пришла беда, понял я, как люблю его. Стар я, а он у нас последний в роду. Не станет его, не станет и нас. Милостивейший король и государь, пожалей ты род наш!

Тут Мацько снова упал на колени и, протянув свои натруженные на войнах руки, продолжал со слезами:

– Мы защищали Вильно, Бог послал нам богатую добычу, – кому я её оставлю? Крестоносец требует отплаты, государь, пусть будет по его, но позвольте мне положить голову на плаху. Что мне жизнь без Збышка? Он молод, пусть выкупит землю, детей народит, как заповедал человеку Бог. Крестоносец не спросит, чья голова слетела с плеч, лишь бы слетела. И позор от этого не падет на род. Тяжело идти на смерть, но как пораздумаешь, так лучше смерть принять, чем дать погибнуть роду...

С этими словами он обнял ноги короля; тот заморгал глазами, что было у него признаком волнения, и наконец сказал:

– Не бывать тому, чтобы я опоясанному рыцарю повелел безвинно голову рубить! Не бывать, не бывать!

– Несправедливо было бы это, – прибавил каштелян. – Закон карает виновного, но это не дракон, который не глядит, чью хлещет кровь. Вы и про то подумайте, что позор неминуемо пал бы тогда на ваш род, – ведь согласись на это ваш племянник, так и его самого, и его потомство все почитали б бесчестными...

– Не дал бы он на то своего согласия, – возразил Мацько. – Но если б все случилось без его ведома, он отомстил бы потом за меня, как и я отомщу за него.

– Эх, – сказал Тенчинский, – добейтесь у крестоносца, чтобы он взял назад свою жалобу...

– Я уж был у него.

– И что же? – вытягивая шею, спросил король. – Что он вам сказал?

– Вот что он мне сказал: «Надо было на тынецкой дороге прощения просить, – вы не захотели, ну, а теперь я не хочу».

– А почему же вы не захотели?

– Да он хотел, чтобы мы спешились и пешими просили прощения!

Король заложил волосы за уши и хотел что-то сказать, но в это мгновение вошел придворный и доложил, что рыцарь из Лихтенштейна просит аудиенции.

Ягайло поглядел на Яська из Тенчина, затем на Мацька и повелел им остаться, должно быть в надежде, что в этом случае ему легче будет уладить дело своей королевской властью.

Тем временем вошел крестоносец, поклонился королю и сказал:

– Милостивый государь! Вот письменная жалоба на оскорбление, нанесенное мне в вашем королевстве.

– Жалуйтесь ему, – ответил король, показывая на Яська из Тенчина.

Глядя прямо в лицо королю, крестоносец ответил:

– Я не знаю ни ваших законов, ни ваших судов, одно только я знаю: посол ордена может жаловаться лишь самому королю.

Ягайло от нетерпения замигал глазками, однако протянул руку, взял жалобу и отдал её Тенчинскому.

Тот развернул жалобу и начал читать; по мере того как он читал, лицо его становилось все более печальным и озабоченным.

– Вы, пан рыцарь, – сказал он наконец, – так настаиваете на казни этого отрока, точно он страшен всему вашему ордену. Неужто вы, крестоносцы, боитесь уже даже детей?

– Мы, крестоносцы, не боимся никого, – надменно ответил комтур.

А старый каштелян тихо прибавил:

– Особенно же господу Бога.

На другой день в каштелянском суде Повала из Тачева делал все, что только было в его силах, чтобы смягчить вину Збышка. Однако он тщетно приписывал его поступок ребячеству и неопытности, тщетно говорил о том, что если бы даже рыцарь постарше, пообещав три павлиньих чуба и помолясь о ниспослании ему их, увидел внезапно перед собой такой чуб, то мог бы тоже усмотреть в этом руку провидения. Одного достойный рыцарь не мог отрицать, а именно того, что если бы не он, копье Збышка пронзило бы грудь крестоносца. Куно велел принести на суд доспехи, которые в тот день были на нем, и оказалось, что они были из тонкого и хрупкого железа и надевали их только в торжественных случаях, так что Збышко при его необычайной силе неминуемо проткнул бы их насквозь острием копья и убил бы посла насмерть. После этого Збышка спросили, имел ли он намерение убить посла, и он не стал этого отрицать. «Я кричал ему издали, – сказал Збышко, – чтобы он наставил копье – ведь живой он не дал бы сорвать с себя шлем, – но, крикни он мне издали, что он посол, я бы его оставил в покое».

Эти слова понравились рыцарям, которые из сочувствия к отроку целой толпой явились на суд, и тотчас раздались многочисленные голоса:

– Это верно, почему он не кричал?

Но лицо каштеляна оставалось угрюмым и суровым. Приказав присутствующим соблюдать тишину, он сам помолчал с минуту времени, а затем, устремив на Збышка испытующий взор, спросил:

– Можешь ли ты поклясться на распятии, что не видел плаща и креста?

– Никак не могу! – ответил Збышко. – Если б я не видел креста, я бы подумал, что это наш рыцарь, а на нашего я не стал бы нападать.

– А какой же под Краковом мог очутиться другой крестоносец, как не посол или кто-нибудь из посольской свиты?

Збышко на это ничего не ответил, потому что отвечать было нечего. Всем было ясно, что если бы не пан из Тачева, то теперь, к вечному стыду польского народа, перед судом лежал бы не панцирь посла, а сам посол с пронзенной грудью, так что даже те, кто от всего сердца сочувствовал Збышку, понимали, что приговор не может быть милостивым.

Через минуту каштелян сказал:

– Поскольку в запальчивости ты не подумал, на кого нападаешь, и не по злобе это учинил, зачтется и простится тебе это спасителем нашим, но ты, бедняга, предай душу свою в руки пресвятой девы, ибо закон не может тебя простить...

Збышко готов был ко всему, и все же при этих словах он побледнел, однако тут же откинул назад свои длинные волосы, перекрестился и сказал:

– Воля Божья! Что ж, ничего не поделаешь!

Затем он повернулся к Мацьку и показал ему глазами на Лихтенштейна, как бы прося

помнить о нем, а Мацько кивнул головой в знак того, что все понимает и все помнит. Этот взгляд и это движение не ускользнули от Лихтенштейна, и хотя в груди его билось сердце столь же злобное, сколь и отважное, однако на короткое мгновение трепет объял его, таким страшным и зловещим было лицо старого воина. Крестоносец понял, что между ним и старым рыцарем, лица которого он под шлемом не мог даже хорошенько рассмотреть, отныне начнется борьба не на жизнь, а на смерть, что если бы он пожелал даже скрыться от старика, все равно это ему не удастся, и, когда кончится его посольство, они неизбежно встретятся хотя бы в том же Мальборке.

Тем временем каштелян удалился в соседнюю комнату, чтобы продиктовать искусному писцу приговор Збышку. В перерыве то один, то другой рыцарь говорил, подойдя к крестоносцу:

– Чтоб тебя на страшном суде милостивей осудили! Крови радуешься?

Но Лихтенштейну важно было только мнение Завиши, который снискал себе широкую славу ратными подвигами, знанием рыцарских законов и строжайшим их соблюдением. Когда речь шла о рыцарской чести, к нему обращались по самым сложным делам, причем приезжали порой издалека, и никто не смел ему противоречить не только потому, что единоборство с ним было делом немислимым, но и потому, что его почитали «зерцалом чести». Слово упрека или похвалы из его уст быстро разносилось среди рыцарей Польши, Венгрии, Чехии, Германии, и оно одно уже могло принести худую или добрую славу.

Лихтенштейн приблизился к нему и, как бы желая оправдать свою жестокость, сказал:

– Один только великий магистр с капитулом мог бы его помиловать, – я не могу...

– Ваш магистр нам не указ. Не он, а только наш король может его помиловать, – возразил Завиша.

– Но как посол я должен был потребовать возмездия.

– Ты, Лихтенштейн, прежде всего не посол, а рыцарь...

– Неужели ты думаешь, что я уронил свою рыцарскую честь?

– Ты знаешь наши рыцарские книги и знаешь, что рыцарь должен следовать двум зверям: льву и ягненку. Кому же из них ты в этом случае следовал?

– Ты мне не судья...

– Ты спрашивал у меня, не уронил ли свою рыцарскую честь, вот я тебе и ответил, что об этом думаю.

– Стало быть, плохо ответил, коли твое слово мне колом поперек горла стало.

– Не моим, а своим злым словом ты подавишься.

– Но Христос мне зачтет, что я больше заботился о величии ордена, нежели о твоих похвалах.

– Он всех нас будет судить.

Дальнейший разговор был прерван появлением каштеляна и писца. Хотя все уже знали, что приговор будет суровым, однако воцарилась немая тишина. Каштелян занял место за столом и, взяв в руки распятие, велел Збышку стать на колени.

Писец стал читать по-латыни приговор. Ни Збышко, ни присутствовавшие на суде рыцари не понимали по-латыни, однако все догадались, что это смертный приговор. Когда писец кончил читать, Збышко стал бить себя в грудь, повторяя:

– Боже, милостив будь ко мне, грешному!

Затем он встал и бросился в объятия Мацька, который молча стал целовать его в голову и глаза.

В тот же день вечером на четырех углах рынка герольд под звуки труб оповестил рыцарей, гостей и горожан, что благородный Збышко из Богданца по приговору каштелянского суда будет обезглавлен мечом...

Но в те времена было в обычае перед смертью распорядиться до последней мелочи имуществом, и приговоренным к смертной казни всегда давали время договориться о наследстве с родными, да и примириться с Богом; поэтому Мацьку легко удалось испросить разрешение отсрочить смертную казнь. Лихтенштейн тоже не настаивал на немедленном приведении приговора в исполнение, понимая, что оскорбленный орден получил удовлетворение и не стоит больше гневить могущественного монарха, к которому он был послан не только для участия в торжествах по случаю крестин, но и для переговоров о земле добжинской. Однако самым важным во всем этом деле было здоровье королевы. Епископ Выш и слышать не хотел о том, чтобы обезглавить Збышка до разрешения королевы от бремени, он справедливо полагал, что, узнав о казни, которую трудно будет от неё утаить, королева непременно растрожится, а это может губительно отразиться на её здоровье. Таким образом, для последних распоряжений и прощания со знакомыми Збышку оставалось, быть может, даже несколько месяцев.

Мацько навещал его каждый день и утешал, как умел. С тоской говорили они о неизбежной смерти Збышка и с ещё большей тоской о том, что род их может угаснуть.

– Ничего не поделаешь, придется вам жениться, – сказал однажды Збышко.

– Уж лучше поискать хоть какого-нибудь дальнего родича, – возразил озабоченный Мацько. – Где уж мне о женитьбе помышлять, когда тебе должны голову отрубить. Да коли и непременно надо жениться, и то я этого не сделаю, покуда не пошлю Лихтенштейну рыцарского вызова на поединок и не отомщу за тебя. Ты не бойся!..

– Да вознаградит вас Бог. Пусть хоть это будет мне утешением! Я знал, что вы ему этого не простите. Как же вы это сделаете?

– Как кончится его посольство, либо война будет, либо мир – понимаешь? Коли будет война, я перед боем пошлю ему вызов на единоборство.

– На утопанной земле?

– На утопанной земле, конными или пешими, но только на смерть, а не на неволю.

Ну, а коли будет мир, я поеду в Мальборк и ударю копьём в ворота замка, а трубачу велю протрубить, что вызываю Лихтенштейна на смертный бой. Небось не спрячется.

– Ну конечно, не спрячется, да и вы с ним справитесь как пить дать.

– С ним-то?.. С Завишей не справился бы, с Пашком не справился бы, да и с Повалой тоже; ну, а с такими, как он, не хвалясь скажу, с двумя справлюсь. Я ему покажу, этому тевтонскому псу! Разве не сильнее его был фризский рыцарь? А как рубнул я его сверху по шлему, где завязла моя секира? В зубах завязла. Верно я говорю?

Збышко вздохнул с облегчением и сказал:

– Легче мне будет смерть принять.

И они оба завздохали. Помолчав, старый шляхтич опять заговорил растроганным голосом:

– Ты не горюй! На страшном суде не придется твоим косточкам друг дружку искать. Гроб я велел сколотить тебе дубовый, такой, что у каноников из костёла деви Марии и то лучше нету. Не погибнешь ты как какой-нибудь выскочка-шляхтич, что из мужиков жалуют. И не допущу я, чтоб тебе голову рубили на том самом сукне, на котором рубят горожанам. Я уже договорился с Амылеем, он даст совсем нового и такого отменного сукна, что и на шубу королю пригодилось бы. И на помин души я денег не пожалею – не бойся!

Возрадовалось при этих словах сердце Збышка, и, склонившись к руке дяди, он повторил:

– Спасибо вам.

Порой, несмотря на все утешения, Збышком овладевала страшная тоска, и однажды, когда Мацько пришел его навестить, он, едва поздоровавшись с дядей, спросил, глядя через решетку в стене:

– А как там, на дворе?

– Красный денек, солнышко греет, не нарадуешься.

Сжав руками затылок и запрокинув голову, Збышко сказал:

– Эх, боже ты мой! Сесть бы на коня да скакать по полям по широким! Жаль погибать молодому! Страх как жаль!

– Гибнут люди и на коне! – возразил Мацько.

– Да, но скольких раньше сами перебьют!..

И он стал расспрашивать про рыцарей, которых видел при королевском дворе: про Завишу, про Фаруря, про Повалу из Тачева, про Лиса из Тарговиска и про всех прочих – что они подельвают, как веселятся, как совершенствуются в благородном военном искусстве. Он жадно слушал рассказы Мацька, который описывал ему, как по утрам рыцари в броне прыгают через коней, как рвут веревки, как испытывают свои

силы в единоборстве на мечах и секирах со свинцовыми лезвиями и, наконец, как пируют и какие поют песни. Всею душой, всем сердцем рвался к ним Збышко; когда же он узнал, что Завиша сразу же после крестин собирается выступить куда-то в долину Венгрии против турка, он не мог удержаться от восклицания:

– Вот бы меня с ним пустили! Лучше было бы мне сложить голову в бою с басурманом!

Но об этом нечего было и думать, да и новые произошли тут события. Обе мазовецкие княгини не переставали думать о Збышке, пленившем их своей молодостью и красотой. В конце концов княгиня Александра надумала послать письмо великому магистру. Правда, он не мог отменить приговор, вынесенный каштеляном, но мог заступиться за юношу перед королем. Не подобало Ягайлу миловать виновного, когда речь шла о посягательстве на жизнь посла, но если бы за Збышка заступился сам магистр, король, пожалуй, с радостью помиловал бы его. Надежда вновь проснулась в сердцах обеих княгинь. Рыцари ордена с их лоском высоко ценили княгиню Александру, которая сама питала к ним слабость. Неоднократно получала она из Мальборка богатые дары и послания, в которых магистр называл её достоцитимой благодетельницей и ревностной заступницей ордена. Слово её значило много, и было весьма вероятно, что она не встретит отказа. Надо было только найти гонца, который постарался бы поскорее доставить письмо и вернуться назад с ответом. Услышав об этом, старый Мацько без колебаний взялся за дело.

Каштелян внял просьбам и назначил крайний срок, до которого обещал отложить казнь. Окрылившись надеждой, Мацько в тот же день занялся приготовлениями к отъезду, а затем отправился к Збышко, чтобы сообщить ему радостную весть.

В первый момент Збышко так обрадовался, точно перед ним уже отворилась дверь темницы. Однако через минуту он задумался, нахмурился вдруг и сказал:

– Как же, дождешься от немцев добра! Лихтенштейн тоже мог просить короля о помиловании и выиграл бы на этом, потому что избегнул бы мести, и все-таки он ничего не захотел сделать...

– Он разъярился оттого, что мы не захотели попросить у него прощения на тынецкой дороге. О великом магистре Конраде люди отзываются неплохо. В конце концов ты ничего на этом не потеряешь.

– Это верно, – сказал Збышко, – только вы ему там не очень-то кланяйтесь.

– Чего мне ему кланяться? Я везу письмо от княгини Александры – вот и вся недолга...

– Ну, коли вы так добры, помогите вам Бог...

Вдруг Збышко бросил на дядю быстрый взгляд и сказал:

– Но если король меня помилует, то Лихтенштейн не ваш будет, а мой. Помните...

– Ты ещё не знаешь, уцелеет ли у тебя голова на плечах, так что далеко вперед не загадывай. Довольно уж ты надавал глупых обетов, – сердито проворчал старик.

Тут они бросились друг другу в объятия – и Збышко остался один. Надежду в душе его сменяли сомнения, когда же надвинулась ночь, а с нею грозовые тучи, когда в

окне засверкали зловещие вспышки молний и стены затряслись от грома, когда, наконец, ветер ворвался со свистом в темницу и погасил тусклый светильник у ложа узника, Збышко во мраке снова потерял всякую надежду и за всю ночь не сомкнул глаз...

«Нет, не уйти мне от смерти, – думал он, – ничем тут не поможешь».

Но утром к нему пришла на свидание досточтимая княгиня Анна, а с нею Дануся с маленькой лютней у пояса. Збышко упал сперва к ногам княгини, а затем Дануси, и хоть не спал ночь напролет, удручен был горем и измучен сомнениями, однако не забыл о рыцарском долге и выразил Данусе свое восхищение её красотой.

Но княгиня подняла на него полные печали глаза и сказала:

– Не любуйся ты на красу её, а то не привезет Мацько утешительного ответа или вовсе домой не воротится, и придется тебе, бедняге, в скором времени на небесах любоваться чем-нибудь получше.

И, пораздумав о злой доле молодого рыцаря, стала ронять она слезы, а за ней расплакалась и Дануся. Збышко снова упал к их ногам, потому что и его сердце, как воск от тепла, смягчилось от этих слез. Не любил он Данусю той любовью, какой мужчина любит женщину, но почувствовал он, что любит её всей душой, что при виде её что-то творится с его сердцем, будто живет в нем другой человек, не такой суровый, не такой горячий, не такой воинственный, зато алчущий сладостной любви. И до слез жаль ему стало, что должен он её покинуть, что не сможет выполнить свои обеты.

– Не положить мне, бедняжка, павлиньих чубов к твоим ногам, – говорил он. – Но если предстану я пред лицом предвечного, то скажу ему тогда: «Господи, отпусти мне грехи мои, а все блага, какие есть на земле, отдай одной только панне Дануте».

– Недавно вы спознались, – сказала княгиня. – Даст Бог, не понапрасну.

Збышко стал вспоминать все, что случилось в тынецкой корчме, и совсем растрогался. Кончилось тем, что он стал просить Данусю спеть ту самую песню, какую она пела, когда он подхватил её на руки и принес к княгине.

И хоть Данусе было не до песен, она тут же подняла головку к сводчатому потолку и, закрыв, как птичка, глазки, затянула:

Ах, когда б я пташкой
Да летать умела,
Я бы в Силезию
К Ясю улетела.
Сиротинкой бедной
На плетень бы села:
«Глянь же, мой соколик...»

И вдруг из-под сомкнутых век полились у неё обильные слезы – и она не смогла больше петь. Збышко схватил её на руки, как тогда в тынецкой корчме, и стал носить по темнице, повторяя в восторге:

– Не одной только госпожи я в тебе искал бы. Если бы только спас меня Бог, да ты подросла, да позволил бы отец – взял бы милую я в жены!.. Эх!..

Обняв его за шею, Дануся спрятала заплаканное лицо у него на плече, а в сердце Збышка росла безмерная жалость и рвалась из глубины его вольной и простой славянской души, обращаясь словно в песню полей:

Взял бы милую я в жены,
Любушку мою!..

VI

Неожиданно произошло событие, перед которым все прочие дела потеряли в глазах людей всякое значение. Двадцать первую июня под вечер по замку разнесся слух, что королева внезапно занемогла. Всю ночь в покое королевы оставались епископ Выш и приглашенные лекари, а тем временем от служанок стало известно, что у королевы начались преждевременные роды. Краковский каштелян Ясько Топор из Тенчина в ту же ночь послал гонцов к отсутствовавшему королю. На следующее утро слух обо всех этих событиях разнесся по всему городу и по всей округе. Был воскресный день, и толпы народа наполнили храмы, где ксендзы велели молиться о здравии королевы. Тогда все стало ясно. После службы иноземные рыцари, которые съехались уже на ожидавшиеся торжества, шляхта и купеческие делегации направились в замок; цехи и братства выступили туда со своими знаменами. В полдень Вавель окружили бесчисленные толпы народа; королевские лучники поддерживали порядок, призывая сохранять спокойствие и тишину. Город почти совсем обезлюдел, лишь толпы крестьян из окружающих деревень проходили порой по опустелым улицам; узнав о болезни горячо любимой королевы, крестьяне тоже устремились к замку. Наконец в главных воротах появились епископ и каштелян, а с ними кафедральные каноники, королевские советники и рыцари. Они разошлись по стене в разные стороны и смешались с толпой; по лицам их было видно, что они готовятся сообщить какую-то весть, однако начали они с того, что строго-настрого приказали воздержаться от всяких кликов, чтобы не обеспокоить занемогшую королеву. После этого они возвестили, что королева родила дочь. При этой вести сердца всех преисполнились радостью, особенно когда народ узнал, что, несмотря на преждевременные роды, жизнь матери и ребенка пока вне опасности. Около замка нельзя было шуметь, а всем хотелось как-то проявить свою радость, поэтому народ начал растекаться по улицам, ведущим к рынку. Когда эти улицы наполнились толпами народа, раздались вдруг песни и радостные клики. Никто не огорчился, что королева родила дочь. «Разве худо было, – говорили в народе, – что у короля Людовика не было сыновей и наследницей престола стала Ядвига? Благодаря её браку с Ягайлом государство стало вдвое могущественней. Так будет и теперь. Где сыщешь такую наследницу, какой станет наша королевна, – ведь ни римский император, ни прочие короли не владеют такой великой державой, такими обширными землями и таким многочисленным рыцарством! Самые могущественные монархи будут добиваться её руки, будут приезжать на поклон к королю и королеве, будут съезжаться в Краков, а нам, купцам, от этого выгода будет, не говоря уж о том, что какое-нибудь новое государство, чешское или венгерское, соединится с нашим королевством». Так рассуждали купцы, и все ликовало вокруг. Народ пировал и по домам, и в корчмах. На рынке запыхали факелы и фонари. Из окрестных деревень в город съезжалось все больше крестьян, они располагались в предместьях лагерем вокруг своих телег. Евреи шумели около синагоги на Казимеже[42]. До поздней ночи, чуть не до рассвета, рынок, как во время ярмарки, кипел толпами народа, особенно около ратуши и весов. Люди делились новостями; посылали разузнать, не случилось ли ещё чего-нибудь в замке, и осаждали тех, кто возвращался оттуда.

Хуже всего было то, что архиепископ Петр в ту же ночь окрестил новорожденную[43], из чего заключили, что девочка очень слаба. Однако опытные горожанки рассказывали случаи, когда младенцы, родившиеся полумертвыми, обретали

жизненные силы после крещения. Народ верил, что новорожденная выживет, возлагая особые надежды на имя, которым её нарекли. Говорили, будто ни один Бонифаций, ни одна Бонифация не могут умереть сразу же после рождения, ибо им предназначено свершить доброе дело; в первые же годы жизни, а тем более в первые месяцы, ничего ни доброго, ни худого младенец свершить не может.

Однако на другой день и о младенце, и о матери пришли из замка худые вести – и взволновали город. В костёлах, как в храмовой праздник, весь день толпился народ. Жертвовали на службы за здоровье королевы и королевны. С волнением смотрели все на бедных крестьян, которые приносили четверти зерна, ягнят, кур, связки сушеных грибов или короба орехов. Крупные пожертвования потекли от рыцарей, купцов, ремесленников. Были разосланы гонцы в святые места. Звездочеты гадали по звездам. В самом Кракове были устроены торжественные процессии. Выступили все цехи и все братства. Весь город украсился знаменами. Состоялась также процессия детей, ибо все полагали, что невинные дети скорее могут испросить у Бога милость. Через городские ворота въезжали все новые и новые толпы людей.

Так проходил день за днем в церковных процессиях и молебствиях, под непрерывный колокольный звон и гул голосов в костёлах. Но когда миновала неделя, а царственная больная и младенец были всё ещё живы, надежда снова стала просыпаться в сердцах. Казалось немыслимым, чтобы господь преждевременно призвал к себе властительницу государства, которая, столько свершив, должна была бы оставить незаконченным великий свой подвиг, жену равноапостольную, которая, пожертвовав собственным счастьем, обратила в христианство последний языческий народ в Европе. Ученые вспоминали, сколько сделала она для Академии, духовные – для славы господней, державные мужи – для мира между христианскими монархами, законники – для справедливости, сирые – для нищеты, и никто не мог себе представить, что жизнь, столь необходимая королевству и всему миру, может безвременно оборваться.

Меж тем тринадцатого июля погребальный звон возвестил о смерти младенца. Снова зашумел город, тревога вселилась в сердца, и снова толпы народа окружили Вавель, допытываясь о здоровье королевы. Но на этот раз никто не вышел к народу с добрыми вестями. Лица вельмож, въезжавших в замок или выезжавших через ворота в город, были угрюмы и с каждым днем становились все темней и темней. Говорили, будто ксендз Станислав из Скарбимежа[44], магистр свободных наук в Кракове, не отходит уже от одра королевы, которая причащается каждый день. Говорили также, будто после причащения покой её всякий раз озаряется небесным сиянием. Некоторые видели даже сияние в окнах, но видение это лишь потрясло преданные королеве сердца как знак того, что для неё начинается уже загробная жизнь.

Иные, однако, не верили, что может случиться нечто столь страшное, они тешили себя надеждой, что справедливое небо удовлетворится одной жертвой. Меж тем в пятницу утром, семнадцатого июля, грянула весть, что королева при смерти. Все поспешили к замку. Город совсем опустел, остались одни калеки, даже матери с грудными младенцами поторопились к воротам замка. Лавки были закрыты, люди не готовили пищу. Все дела были оставлены, а под стенами Вавеля темнело море народа – беспокойное, потрясенное, но безмолвствующее.

И вдруг в час дня на колокольне кафедрального собора ударил колокол. Сперва никто не понял, что это значит, но потом волосы у людей встали от ужаса дыбом. Все головы, все глаза обратились к колокольне, где все шире и шире раскачивался колокол, чей жалобный стон тотчас подхватили другие колокола: у францисканцев, у

святой троицы, у девы Марии – и дальше и дальше по всему городу. Народ понял наконец, что означает этот стон; и такой ужас объял всех, такая пронизала боль, словно медные языки колоколов били прямо по сердцу людям.

Вдруг на колокольне показалась черная хоругвь с огромным черепом посредине, под которым белели две скрещенные берцовые кости. Все стало ясно. Королева отдала Богу душу.

Рыдания и стоны тысяч людей раздались у стен замка и слились с погребальным перезвоном колоколов. В толпе одни бросались на землю, другие раздирали на себе одежды или царапали лица, иные в немом оцепенении смотрели на стены, иные же глухо стонали или, простирая руки к костёлу и покоям королевы, молили Бога о чуде, о милосердии. Но некоторые в порыве отчаяния доходили даже до кощунства. «Бог отнял у нас любимую королеву, – слышались их гневные голоса. – К чему же были наши процессии, наши песнопения и мольбы? Серебро и золото было угодно Богу, а что же он дал взамен? Ничего! Взять – взял, а дать – не дал!» Другие, заливаясь слезами, повторяли со стоном: «Иисусе Христе! Иисусе!» Толпы людей хотели войти в замок, чтобы ещё раз взглянуть на лицо любимой королевы. Их не пустили, пообещав, что тело вскоре поставят в костёле, и тогда всякий сможет взглянуть на усопшую и помолиться у её гроба. К вечеру печальные толпы людей стали возвращаться в город; народ рассказывал о последних минутах королевы, о предстоящем погребении и о чудесах, которые будут совершаться у её тела и гробницы, в чем все были совершенно уверены. Говорили также о том, что королеву сразу же причислят к лику святых, когда же некоторые усомнились в этом, другие вознегодовали и стали грозить им Авиньоном...

Печаль и уныние объяли весь город, всю страну, и не только простому народу, всем казалось, что со смертью королевы закатилась счастливая звезда королевства. Даже кое-кто из краковской знати мрачно глядел на будущее. Люди задавались вопросом: что же теперь будет? Имеет ли право Ягайло оставаться после смерти королевы на престоле, не вернется ли он в свою Литву и не останется ли только великим князем литовским? Некоторые предвидели, и, как выяснилось потом, не без оснований, что он сам захочет отречься от престола и тогда от королевства отойдут обширные земли, снова начнутся набеги Литвы, на которые кровавыми ударами ответят разъяренные жители королевства. Усилится орден, усилятся римский император и венгерский король, а королевство, доселе одно из самых могущественных в мире, будут ждать упадок и посрамление.

Купцы, для которых были открыты обширные литовские и русские земли, предвидя потери, давали Богу обеты, чтобы только Ягайло остался на королевском троне; но в этом случае в самом ближайшем времени надо было ждать войны с орденом. Все знали, что одна только королева не давала развязать эту войну. Люди вспоминали теперь, как, возмущенная алчностью и хищностью крестоносцев, она сказала им однажды в пророческом ясновидении: «Пока я жива, я удерживаю руку и справедливый гнев моего супруга; но помните, что после моей смерти кара обрушится на вас за ваши грехи!»

В своей гордыне и ослеплении крестоносцы и в самом деле не боялись войны, полагая, что после смерти королевы рассеется ореол святости, которым она была окружена, никто не станет более препятствовать наплыву охотников из западных государств, и тогда на помощь ордену придут тысячи воинов из Германии, Бургундии, Франции и других, ещё более отдаленных стран. Однако смерть Ядвиги была событием столь значительным, что посол крестоносцев Лихтенштейн, даже не дождавшись приезда короля, поторопился в Мальборк, чтобы немедленно сообщить

великому магистру и капитулу важную и в какой-то степени грозную весть.

Послы венгерский, австрийский, императорский и чешский либо выехали вслед за Лихтенштейном, либо послали к своим монархам гонцов. Ягайло приехал в Краков в страшном отчаянии. В первую минуту он заявил вельможам, что не хочет править без королевы и уедет в свои владения в Литву, но затем от горя будто бы впал в оцепенение, не хотел заниматься делами, не отвечал на вопросы, а по временам горько упрекал себя за то, что уехал, что не присутствовал при кончине королевы, что не простился с нею и не слышал её последних слов и заветов. Тщетно Станислав из Скарбимежа и епископ Выш толковали ему, что королева занемогла внезапно и что по всем расчетам он успел бы вернуться, если бы роды не были преждевременными. Это не приносило ему ни утешения, ни облегчения. «Я без неё не король, – ответил он епископу, – но лишь кающийся грешник, которому не найти успокоения». После этого он уставился глазами в землю, и никто не мог добиться от него ни единого слова.

Тем временем умы всех людей были заняты погребением королевы. Со всех концов страны стали стекаться в столицу новые толпы знати, шляхты и простого народа, особенно нищеты, надевавшейся на щедрую милостыню во все время обряда погребения, который должен был длиться целый месяц. Тело королевы поставили в кафедральном соборе на возвышении, устроенном так, что широкий изголовок, где покоилась голова усопшей, был гораздо выше изножия. Это было сделано для того, чтобы народ мог лучше видеть лицо королевы. В соборе шла непрерывная служба; около катафалка пылали тысячи восковых свечей, а среди этого блеска, утопая в цветах, лежала она, спокойная, улыбающаяся, подобная таинственной белой розе, в одежде небесного цвета, с руками, сложенными крестом на груди. Народ почитал её за святую, к ней приводили одержимых, калек, больных детей, и в храме то и дело раздавался то крик матери, увидевшей на личике больного младенца вестник здоровья – румянец, то паралитика, внезапно обнаружившего, что он владеет своими доселе неподвижными членами. Трепет охватывал тогда людские сердца, весть о чуде облетала собор, замок, город, привлекая все большие толпы бедняков, которые только от чуда могли ждать спасения.

Все в это время совершенно забыли о Збышке, да и кто в столь тяжкую годину мог вспомнить о простом шляхетском хлопце, заключенном в башне замка! Однако от тюремной стражи Збышко знал о болезни королевы и слышал шум народных толп около замка; когда же он услышал рыдания и колокольный звон, то бросился на колени и, позабыв о собственной участи, стал оплакивать смерть обожаемой своей королевы. Ему казалось, что вместе с нею и для него угасла надежда и что после её смерти не стоит жить на свете.

Отголоски погребения, колокольный звон, церковные песнопения и рыдания толпы доносились до него в течение целых недель. За это время он стал угрюм, потерял аппетит и сон и метался по своему подземелью, как дикий зверь в клетке. Его угнетало одиночество, – бывали дни, когда даже страж не приносил ему свежей пищи и воды, настолько все были заняты похоронами королевы. Со времени её смерти никто не посетил его: ни княгиня, ни Дануся, ни Повала из Тачева, который раньше принимал такое живое участие в его судьбе, ни знакомый Мацька, купец Амылей. С горечью думал Збышко, что, с тех пор как уехал Мацько, все о нем забыли. Порой ему приходило в голову, что, быть может, о нем забыло и правосудие и что его сгноят в этой темнице. Тогда он молил Бога о смерти.

Когда же миновал месяц после похорон королевы и начался другой, Збышко стал сомневаться и в том, что Мацько вернется. Ведь старик обещал торопиться, не

жалеть коня. Мальборк не на краю света. За двенадцать недель можно было обернуться, особенно в такой крайней нужде. «А может, ему и нужды нет! – думал с горечью Збышко. – Может, он где-нибудь по дороге приглядел себе жену и с радостью повезет её в Богданец, чтобы дожидаться собственных детей, а я тут век целый буду ждать, покуда надо мною сжалится Бог!»

В конце концов он потерял представление о времени, совершенно перестал разговаривать с тюремным стражем и только по паутине, которая все гуще опутывала железную решетку окна, догадывался, что на воле наступает осень. По целым часам сидел он теперь на постели, опершись локтями на колени и схватившись руками за волосы, которые спускались уже у него много ниже плеч, и в полудремоте, полуоцепенении не поднимал головы даже тогда, когда страж заговаривал с ним, принося еду. Но вот однажды скрипнул засов, и знакомый голос крикнул с порога темницы:

– Збышко!

– Дядя! – воскликнул Збышко, срываясь с постели.

Мацько обнял его, охватил руками его светлую голову и стал осыпать её поцелуями. Сожаление, горечь и тоска с такой силой охватили хлопца, что он заплакал на груди у дяди, как малое дитя.

– Я думал, что вы уж не воротитесь, – сказал он, рыдая.

– Так оно и могло стать, – ответил Мацько.

Только теперь Збышко поднял голову и, взглянув на дядю, воскликнул:

– Да что же это с вами стряслось?

И он в изумлении воззрился на изнуренное, осунувшееся и бледное как полотно лицо старого воина, на его сгорбленную спину и поседелые волосы.

– Что с вами? – повторил Збышко.

Мацько опустил на постель и с минуту времени тяжело переводил дыхание.

– Что стряслось? – сказал он наконец. – Не успел я переехать границу, как меня в бору подстрелили из самострела немцы. Разбойники-рыцари, знаешь? Мне всё ещё трудно дышать... Бог послал мне помощь, иначе ты б меня больше не увидел.

– Кто же вас спас?

– Юранд из Спыхова, – ответил Мацько.

На минуту воцарилось молчание.

– Они напали на меня, а спустя полдня он напал на них. Не больше половины ушло из его рук. Он взял меня в свой городок, и там я три недели боролся со смертью. Бог меня спас, и хоть мне ещё худо, я воротился.

– Так вы не были в Мальборке?

– С чем же мне было ехать? Они вчистую обобрали меня и вместе с другими вещами забрали и письмо. Я воротился, чтобы попросить у княгини Александры другое письмо, но в дороге разминулся с нею и не знаю, удастся ли мне догнать её, потому приходится мне на тот свет собираться.

При этих словах он плюнул себе в ладонь и, протянув Збышку руку, показал чистую кровь:

– Вот видишь?

И, помолчав, прибавил:

– Видно, на то воля Божья.

С минуту времени они молчали под тяжестью черных дум, после чего Збышко спросил:

– Так это вы все время плюете кровью?

– Как же мне не плевать, коли у меня между ребрами на полпяди вонзилось жало стрелы! Небось и ты бы плевал. У Юранда из Спыхова мне стало полегче, а нынче я опять страх как измучился – дорога-то дальняя, а я торопился.

– Эх! Зачем же было вам торопиться?

– Да ведь я хотел встретить княгиню Александру и взять у неё другое послание. А Юранд из Спыхова так мне сказал: «Поезжайте, говорит, и возвращайтесь с письмом в Спыхов. У меня, говорит, в подземелье сидит несколько человек немцев, так я одного из них отпущу на рыцарское слово, он и отвезет письмо великому магистру». Это Юранд из мести за гибель жены всегда несколько человек держит у себя в подземелье; ожесточился он и с радостью слушает, как они по ночам стонут и гремят цепями. Понимаешь?

– Понимаю. Только вот странно мне, что вы первое письмо потеряли, – раз Юранд захватил тех, которые на вас напали, так ведь письмо должно было быть при них.

– Он их не всех захватил. Человек пять ушли из его рук. Такая уж наша участь.

При этих словах Мацько опять откашлялся, опять плюнул кровью и тихо застонал от боли в груди.

– Здорово они вас подстрелили, – сказал Збышко. – Как же это они? Из засады?

– Из таких густых кустов, что за шаг ничего не было видно. Ехал я без брони, – купцы говорили мне, что там безопасно, да и жарко было.

– Кто же предводительствовал этими разбойниками? Крестоносец?

– Не монах, ну, а все-таки немец, хелминский, из Ленца, он прославился разбоем и грабежами.

– Что же с ним случилось?

– Сидит на цепи у Юранда. Но в подземелье у этого немца тоже сидят два мазурских шляхтича, которых он хочет отдать в обмен за себя.

Снова воцарилось молчание.

– Господи Иисусе, – сказал наконец Збышко, – так и Лихтенштейн будет жив, и этот немец из Ленца, а нам придется погибать неотомщенными. Мне отрубят голову, вы, верно, и зиму не протянете.

– Какое там! И до зимы не дотяну. Если бы хоть тебя как-нибудь спасти...

– Вы кого-нибудь здесь видали?

– Я как узнал, что Лихтенштейн уехал, пошел к краковскому каштеляну, думал, он облегчит твою участь.

– Так Лихтенштейн уехал?

– Сразу же после смерти королевы, в Мальборк. Пошел я к каштеляну, а он мне и говорит: «Не для того отрубят голову вашему племяннику, чтоб угодить Лихтенштейну, а для того, что к казни его приговорили, и тут ли Лихтенштейн, нет ли его – это все едино. Умри крестоносец, и то ничего не переменится, потому говорит, закон свят, это вам не кафтан, его наизнанку не выворотишь. Только король, говорит, может вашего племянника помиловать, а больше никто».

– А где же король?

– После похорон уехал на Русь.

– Ну, значит, ничего не поделаешь.

– Ничего. Каштелян сказал ещё мне: «Жаль его, да и княгиня Анна просит, но не могу, никак не могу».

– А княгиня Анна ещё здесь?

– Спасибо ей! Хорошая женщина. Она ещё здесь, потому что Дануся заболела, а княгиня любит её, как родную дочь.

– Ах ты боже мой! Так и Дануся захворала. Что же с нею такое?

– Да разве я знаю?.. Княгиня говорит, будто сглазили.

– Это, верно, Лихтенштейн! Не кто иной, как пес Лихтенштейн.

– Может, и он. Да ведь что с ним поделаешь? Ничего.

– Так это потому меня все забыли, что она была больна...

Збышко стал широким шагом расхаживать по темнице, затем схватил и поцеловал руку Мацька и сказал:

– Да вознаградит вас Бог за все, что вы сделали, – ведь это вы из-за меня умрете, но уж раз вы до самой Пруссии добрались, так, пока ещё совсем не свалились, сослужите мне ещё одну службу. Сходите к каштеляну и попросите его, чтоб на рыцарское слово отпустил меня, ну хоть на двенадцать недель. Я вернусь,

и тогда пусть уж рубят мне голову, а так ведь нельзя погибать нам, не отомстивши. Знаете... я поеду в Мальборк и тотчас пошлю вызов Лихтенштейну. Иначе никак нельзя. Либо он умрет, либо я!

Мацько потер лоб:

– Сходить-то я схожу, да только позволит ли каштелян?

– Я дам рыцарское слово. На двенадцать недель, больше мне не надо.

– Что там говорить: на двенадцать недель! А если тебя ранят и ты не вернешься, что тогда подумают?..

– Хоть на четвереньках приползу. Не бойтесь! А тем временем, может, король вернется из Руси; тогда можно будет упасть к его ногам и просить о помиловании.

– Это верно, – сказал Мацько.

Однако, помолчав, он прибавил:

– Мне ведь каштелян вот что ещё сказал: «Мы о вашем племяннике из-за смерти королевы забыли, а теперь надо уж кончать с этим делом».

– Да нет, он позволит! – с надеждой сказал Збышко. – Он ведь знает, что шляхтич сдержит слово, а сейчас ли мне голову рубить или после Михайлова дня, это ему все едино.

– Что ж! Еще сегодня схожу.

– Сегодня вы подите к Амылею и немножко отлежитесь. Пусть он вам какого-нибудь снадобья к ране приложит, а завтра ходите к каштеляну.

– Ну, с Богом!

– С Богом!

Они обнялись, и Мацько направился к выходу, однако на пороге он остановился и наморщил лоб, точно что-то вдруг вспомнив:

– Да ведь ты ещё не носишь рыцарского пояса! Лихтенштейн скажет, что с непооясанным драться не станет, – что ты с ним тогда поделаешь?

Збышко смутился, однако только на одно короткое мгновение

– А как же на войне бывает? – спросил он. – Разве опоясанный непременно выбирает опоясанных?

– Война – это война, а поединок – это совсем другое дело.

– Так-то оно так... однако погодите... Надо как-нибудь это дело уладить. Да вот... есть выход! Князь Януш меня опояшет. Если княгиня с Дануськой его попросят, он опояшет. А по дороге я ещё буду драться в Мазовии с сыном Миколая из Длуголяса.

– Это из-за чего же?

– Миколай – вы его знаете, тот придворный княгини, которого зовут Обухом, – обозвал Данусю коротышкой.

Мацько воззрелся на него в изумлении, а Збышко, желая, видно, получше растолковать ему, в чем дело, продолжал:

– Я этого тоже не могу простить, а ведь с Николаем не приходится драться, ему уж, пожалуй, все восемьдесят.

– Послушай, парень! – воскликнул Мацько. – Жаль мне твоей головы, но ума твоего нисколько, потому что глуп ты как пень.

– Да чего же вы сердитесь?

Мацько ничего не ответил и хотел уж уйти, но Збышко подбежал к нему:

– А как Дануська? Выздоровела? Да не сердитесь вы по пустякам. Ведь вас столько времени не было.

И он снова склонился к руке старика; тот пожал плечами, но уже мягче ответил:

– Дануська уже выздоровела, только её ещё не выпускают на улицу. Будь здоров.

Збышко остался один, он словно воспрянул духом. Так приятно было подумать, что впереди ещё добрых три месяца жизни, что он поедет в дальние края, разыщет Лихтенштейна и будет драться с ним не на жизнь, а на смерть. При одной этой мысли радость наполнила грудь Збышка. Хорошо хоть двенадцать недель чувствовать под собой коня, ездить по белу свету, драться и знать, что не погибнешь, не отомстив за себя. А там – будь что будет, ведь у него ещё пропасть времени! Из Руси может вернуться король и даровать ему жизнь, может вспыхнуть война, которую давно уж предсказывали, а нет, так сам каштелян, увидев через три месяца победителя гордого Лихтенштейна, может сказать: «Ну, поезжай теперь с Богом!» Збышко понимал, что, кроме крестоносца, никто не питает к нему вражды и что сам суровый пан краковский не по доброй воле приговорил его к смертной казни.

Збышко не сомневался, что ему дадут эти три месяца, и надежда окрылила его. Он даже думал, что дадут больше, потому что старому пану из Тенчина и в голову не могло прийти, что шляхтич, поклявшись рыцарской честью, может не сдержать своего слова.

И, когда на другой день под вечер в темницу пришел Мацько, Збышко от нетерпения просто не мог усидеть на месте – он тотчас бросился к старику с вопросом:

– Ну как, позволил?

Мацько от слабости не держался уже на ногах, он опустился на постель и с минуту времени тяжело переводил дыхание.

– Вот что сказал каштелян, – ответил он наконец. – «Коли надобно вам разделить землю или имущество, то на одну-две недели, не больше, под рыцарское слово я выпущу вашего племянника».

Збышко от изумления на некоторое время потерял дар речи.

– На две недели? – переспросил он через минуту. – Да ведь я за две недели и до границы не доскачу! Что ж это такое?.. Разве вы не говорили каштеляну, зачем мне надо съездить в Мальборк?

– Не только я просил за тебя, но и княгиня Анна.

– И что же?

– Что? Старик сказал ей, что твоя голова не нужна ему и что ему самому жалко тебя. «Если бы, говорит, найти закон или хоть предлог, к которому можно было придраться, я б его совсем отпустил, а так не могу – и конец! Не будет, говорит, порядка в королевстве, коли люди станут обходить закон да по дружбе поблажки давать; я этого не сделаю даже для родича моего Топорчика, даже для родного брата». Такой тут народ, что не упросишь его, не умолишь. И ещё он сказал: «Нам нет нужды на крестоносцев оглядываться, но позорить себя в их глазах мы не можем. Что бы подумали они и их гости, которые съезжаются к ним со всего света, если б я шляхтича, осужденного на смерть, выпустил на волю для того, чтоб он поехал к ним драться? Да разве они поверили бы, что его все равно постигнет кара и что в нашем государстве есть какая-нибудь справедливость? Лучше мне отрубить одну голову, чем выставлять на посмешище короля и королевство!» Княгиня на это сказала ему, что странная это справедливость, от которой даже родственница короля не может снасти человека, но старик ей ответил: «И сам король может даровать жизнь, но не творить беззаконие». Тут они заспорили, потому что княгиня очень разгневалась. «Тогда, – говорит она, – нечего гноить его в темнице!» – «Ладно, – отвечает ей каштелян, – завтра прикажу ставить на рынке помост». С тем они и расстались. Теперь тебя, беднягу, разве только Христос может снасти...

Воцарилось долгое молчание.

– Как же? – глухо сказал Збышко. – Значит, это уж скоро будет?

– Через два-три дня. Ничего не поделаешь. Я сделал все, что мог. Повалился каштеляну в ноги, просил смиловаться, а он все свое твердит: «Найди закон или хоть предлог какой». А где я его найду? Был я у ксендза Станислава из Скарбимежа, хотел попросить напутствовать тебя, чтоб хоть слава была, что тебя тот же ксендз напутствовал, что и королеву. Да дома я его не застал, он был у княгини Анны.

– Уж не у Дануськи ли?

– Да что ты! Девушке с каждым днем лучше. Поутру ещё схожу к нему. Говорят, будто после его напутствия спасение, почитай, у тебя в кармане.

Збышко сел, оперся локтями на колени и так низко склонил голову, что волосы совсем закрыли ему лицо. Долго-долго смотрел на него старик, потом тихонько окликнул:

– Збышко! Збышко!

Хлопец поднял голову, лицо его выражало не страдание, а скорее раздражение и холодную решимость.

– Что вам?

– Слушай-ка меня хорошенько, сдаётся, я придумал.

С этими словами старик пододвинулся к племяннику и заговорил чуть не шепотом:

– Ты, верно, слышал про князя Витовта, про то, как наш король заключил его когда-то в Креве в темницу, а он вышел оттуда в женском платье? Ни одна женщина тут за тебя не останется, а ты возьми вот мой кафтан, возьми шапку да и уходи – понял? А вдруг и впрямь не заметят. Ведь за дверью темно. В глаза тебе светить не станут. Вчера вон, как я выходил, никто на меня и не глянул. Молчи и слушай: найдут меня завтра – ну и что же? Отрубят мне голову? То-то потешатся, мне ведь через две-три недели все равно помирать. А ты, как выйдешь отсюда, садись на коня и скачи прямо к князю Витовту. Напомни ему о себе, поклонись, он и примет тебя, и будет тебе у него как у Христа за пазухой. Болтает тут народ, будто татары истребили княжеское войско. Кто его знает, может, так оно и есть, потому покойная королева это предсказывала. Коли верно это, так князю и вовсе нужны будут рыцари, и он тебя с радостью встретит. Ты же держись его, потому нет на свете лучше службы, как у него. Другой король проиграет войну, и тут ему конец, а князь Витовт так изворотлив, что проиграет войну и становится ещё могущественней. И щедр он, да и наших очень любит. Расскажи ему все, как было. Скажи, что хотел идти с ним на татар, да не мог, в темнице сидел. Бог даст, одарит он тебя землей, мужиками, и в рыцари посвятит, и перед королем за тебя заступится. Хороший он покровитель – вот увидишь! Ну, так как же?

Збышко слушал в молчании. А Мацько, словно вдохновившись собственными словами, продолжал:

– Не погибать тебе, молодому, а в Богданец надо вернуться. А воротись, сразу женись, чтобы род наш не вымер. И только тогда, когда детей народишь, можешь вызвать Лихтенштейна на смертный бой, а до этого ни на ком не ищи мести, а то подстрелят тебя где-нибудь в Пруссии, как меня подстрелили, и тогда уж ничем не поможешь. Бери же кафтан, бери шапку – и с Богом.

С этими словами Мацько встал и начал было раздеваться, но Збышко тоже поднялся, остановил его и сказал:

– Не сделаю я этого – истинный Бог, не сделаю.

– Это почему же? – спросил в удивлении Мацько.

– Да вот так, не сделаю, и конец.

Мацько даже побледнел от волнения и гнева.

– Лучше б тебе на свет не родиться.

– Вы уж говорили каштеляну, – сказал Збышко, – что отдадите свою голову за мою.

– Откуда ты это знаешь?

– Мне сказал пан из Тачева.

– Ну и что из этого?

– Что из этого? А то, что вам каштелян сказал: позор пал бы тогда на меня и на весь наш род. А разве не зазорней было бы, когда б я бежал отсюда, а вас оставил здесь на расправу?

– На какую расправу? Что они мне сделают, коли я и так помру? Опомнись, на милость божию!

– Тем паче. Да разразит меня господь, коли я вас, старика больного, да оставлю здесь. Тьфу! Позор!..

Воцарилось молчание; слышно было только тяжелое хриплое дыхание Мацька да оклики лучников, стоявших на страже у ворот. На дворе уже спустилась темная ночь...

– Послушай, – произнес наконец Мацько прерывистым голосом, – не зазорно было князю Витовту бежать так из Крева, не зазорно будет и тебе...

– Эх! – с грустью сказал Збышко. – Вы же знаете! Князь Витовт – он ведь великий князь, он корону получил из королевских рук, у него богатство и власть – а я ведь бедный шляхтич, нет у меня ничего, одна только честь...

Через минуту он воскликнул, словно охваченный внезапным гневом:

– А того вы не хотите понять, что я тоже вас люблю и не отдам вашу голову за свою?

Тут Мацько поднялся, пошатываясь протянул руки и, хоть люди в те времена были тверды душой, словно выкованы из железа, крикнул вдруг раздирающим душу голосом:

– Збышко!..

А на другой день судейские служки стали свозить на рынок бревна для помоста, который должны были воздвигнуть против главного входа в ратушу.

Однако княгиня всё ещё советовалась с Войцехом Ястжембцем, Станиславом из Скарбимежа и другими учеными канониками, искушенными как в писаных, так и неписаных законах. Её её побудили к этому слова каштеляна, который заявил, что, если ему найдут «закон или хоть предлог какой», он немедленно освободит Збышка. Совет держали подолгу, стараясь изыскать какое-нибудь средство спасения, и ксендз Станислав, даже напутствовав Збышка и в последний раз причастив его, прямо из подземелья вернулся ещё раз на совет, который затянулся чуть не до рассвета.

Тем временем наступил день казни. С утра толпы народа потекли на рынок, так как поглазеть на отрубленную голову шляхтича было куда любопытнее, нежели на голову простолюдина, да и погода стояла чудесная. А тут ещё среди женщин разнесся слух о молодости и необычайной красоте осужденного, так что вся дорога к замку запестрела, словно цветами, целыми толпами разряженных горожанок; на рынке, в окнах, выходящих на площадь, и на балконах тоже виднелись чепцы, золотые и бархатные повязки или непокрытые головы девушек, украшенные только венками из лилий и роз. Городские советники, хотя все это дело их, собственно говоря, не касалось, вышли для пущей важности все на площадь и стали позади рыцарей, которые, желая выказать свое сочувствие Збышку, толпой стояли у самого помоста. За ними пестрела толпа мелких купцов и ремесленников в одеждах своих цехов. Школяры и ребятишки, которых народ оттеснял назад, как назойливые мухи вертелись

в толпе, пролезая вперед всюду, где только было возможно. Над всей этой массой человеческих голов высился покрытый новым сукном помост, на котором стояло три человека: палач, широкоплечий, страшный немец, в красном кафтане и таком же колпаке, с тяжелым обоюдоострым мечом в руке, и два его помощника с обнаженными руками и веревками за поясом. У ног их стояли плаха и гроб, тоже обитый сукном. На колокольне костёла девы Марии звонили колокола, наполняя город медными звуками и спугивая стаи галок и голубей. Толпа то смотрела на дорогу, ведущую к замку, то на помост и палача с мечом в руке сверкавшим в сиянии солнечных лучей, то, наконец, на рыцарей, на которых горожане всегда глазели с особенным любопытством и почтением. Да и было на что поглазеть в этот раз – самые прославленные рыцари выстроились четырехугольником у помоста. Народ дивился на широкие плечи и осанку Завиши Чарного, на его кудри цвета воронова крыла, разметавшиеся по плечам, дивился на приземистую квадратную фигуру и ноги колесом Зындрема из Машковиц, и на великанский, прямо нечеловеческий рост Пашка Злодзеев из Бискупиц, и на грозное лицо Бартоша из Водзинка, и на красоту Добка из Олесницы, который в Торуне одолел на ристалище двенадцать немецких рыцарей, и на Зигмунта из Бобовой, который точно так же прославился на ристалище с венграми в Кошицах, и на Кшона из Козихглов, и на страшного в рукопашном бою Лиса из Тарговиска, и на Шашка из Харбимовиц, который мог догнать скачущего коня. Общее внимание привлек также Мацько из Богданца; старик был бледен, его поддерживали Флориан из Корытницы и Марцин из Вроцимовиц. Все думали, что это отец осужденного.

Однако самое большое любопытство возбуждал Повала из Тачева, который, стоя в первом ряду, держал на могучих руках Данусю во всем белом, с веночком из зеленой руты на светлых волосах. Народ не понимал, что это значит и зачем этой девочке в белом смотреть на казнь. Одни говорили, что это сестра, другие полагали, что возлюбленная молодого рыцаря, но и они не могли объяснить, почему она в таком наряде и зачем явилась сюда. Сострадание и жалость пробудило у всех её личико, румяное как яблочко, но все залитое слезами. По густой толпе пробежал ропот, народ негодовал на неумолимого каштеляна, на суровый закон; ропот, нарастая, обратился в грозный гул, раздались даже голоса, что надо снести помост и казнь тогда будет отложена.

Толпа оживилась, заволновалась. Народ заговорил о том, что, будь король в Кракове, он, без сомнения, помиловал бы юношу, который, как уверяли, не совершил никакого преступления.

Все стихло, однако, когда далекие клики возвестили о приближении королевских лучников и алебардников, которые вели осужденного. Вскоре шествие показалось на рыночной площади. Его открывало похоронное братство; погребальщики шли в черных, до самой земли плащах, черные наголовники с прорезами для глаз закрывали им все лицо. Народ боялся этих мрачных фигур и смолк при их появлении. За ними выступал отряд лучников из отборных литвинов, одетых в кафтаны из сыромятной лосиной кожи. Это был отряд королевской гвардии. В хвосте шествия виднелись алебарды другого отряда, а посредине, между судебным писцом, который должен был огласить приговор, и ксендзом Станиславом из Скарбимежа, несшим распятие, шел Збышко.

Все взоры обратились теперь на него, женщины высунулись из всех окон, перегнувшись через перила балконов. Збышко шел в своем добытом в бою белом полукафтоне, расшитом золотыми грифами с золотой оторочкой понизу, и в этом великолепном наряде казался принцем или юношей из знатного дома. По росту, по плечам, обтянутым полукафтаном, по сильным ляжкам и широкой груди его можно было принять за зрелого мужа, но голова у него была детская и лицо юное, прекрасное,

с первым пушком на верхней губе, лицо королевского пажа, с золотыми кудрями до плеч, ровно подрезанными над бровями. Он шел ровным, упругим шагом, но лицо его было бледно. Порою словно сквозь сон глядел он на толпу, порою поднимал глаза к колокольне, к стаям галок и колоколам, которые, раскачиваясь, вызванивали ему смертный час, порою же на лице его изображалось как бы изумление: неужели и этот звон, и рыдания женщин, и торжество – все это ради него? На рынке Збышко ещё издали увидел наконец помост и на нем красный силуэт палача. Он вздрогнул и перекрестился, ксендз в ту же минуту дал ему приложиться к кресту. Юноша сделал ещё несколько шагов, и к ногам его упал букетик васильков, брошенный из толпы молодой девушкой. Збышко наклонился и, подняв его, улыбнулся девушке, которая громко заплакала. Но, видно, он решил, что на глазах у толпы, на глазах у женщин, махавших из окон платками, надо мужественно встретить смерть и оставить, по крайней мере, память о себе как о «храбром молодце», – он собрал поэтому все свое мужество, всю силу воли и, внезапным движением откинув кудри назад, ещё выше поднял голову и шел гордо, как победитель после рыцарских ристалищ, когда его ведут за наградой. Однако шествие подвигалось медленно, так как толпа становилась все гуще и неохотно перед ним расступалась. Тщетно литовские лучники, шедшие в первом ряду, кричали: «Еук szalin! Еук szalin!» («Прочь с дороги!»). Люди не желали догадываться, что значат эти слова, и все больше теснились кругом. Хотя в те времена среди краковских горожан две трети составляли немцы, однако вокруг раздавались грозные проклятия крестоносцам: «Позор! Позор! Чтоб они пропали, тевтонские псы, из-за них должны на плахе погибать наши дети! Позор королю и королевству!» Натолкнувшись на сопротивление, литвины сняли с плеч натянутые самострелы и стали исподлобья поглядывать на людей, не осмеливаясь, однако, без приказа стрелять по толпе. Капитан послал тогда вперед алебардников, которым легче было проложить алебардами дорогу, и шествие приблизилось таким образом к рыцарям, которые стояли четырехугольником у помоста.

Рыцари расступились без сопротивления. Первыми на помост взошли алебардники, за ними последовал Збышко с ксендзом и писцом. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Из рядов рыцарей выступил вдруг Повала с Данусей на руках и крикнул: «Стой!» – таким громовым голосом, что все мгновенно стали как вкопанные. Ни капитан, ни солдаты не хотели оказывать сопротивление вельможному пану и опоясанному рыцарю, которого каждый день видели в замке, нередко за доверительной беседой с королем. К тому же и другие, не менее прославленные рыцари тоже стали повелительно кричать: «Стой, стой!» Пан из Тачева приблизился к Збышку и передал ему одетую в белое Данусю.

Думая, что это он должен проститься с Данусей, Збышко схватил её в объятия и прижал к груди; но Дануся, вместо того чтобы прильнуть к нему и обвить ручками его шею, поспешно выдернула из-под рутового венка и сорвала со своих светлых волос белое покрывало, окутала им всю голову Збышка и сквозь слезы изо всей силы выкрикнула детским своим голоском:

– Он мой! Он мой!

– Он её! – подхватили могучие голоса рыцарей. – К каштеляну!

Им ответил громоподобный крик народа: «К каштеляну! К каштеляну!» Исповедник поднял глаза к небу, судебный писец растерялся, капитан и алебардники опустили оружие, ибо все поняли, что произошло.

Искони существовал такой польский, вернее, общеславянский обычай, почитавшийся

крепче закона и известный на Подгалье, в Краковском воеводстве и в других краях: когда юношу вели на казнь, невинная девушка могла набросить на него покрывало в знак того, что хочет выйти за него замуж: тем самым она спасала осужденного от смерти и наказания. Этот обычай знали рыцари, знали крестьяне, знал городской люд; о том, как он крепок, слышали и немцы, с давних времен поселившиеся в польских городах и замках. Мацько, как увидел всю эту картину, даже как-то ослаб от волнения; рыцари, тотчас отстранив лучников, окружили Збышка и Данусю, а взволнованный и обрадованный народ все громче и громче кричал: «К каштеляну! К каштеляну!» Толпа народу, словно могучая морская волна, хлынула вдруг к помосту. Палач и его помощники поспешно сбежали вниз. Началось замешательство. Всем стало ясно, что, если Ясько из Тенчина решит пойти против освященного веками обычая, в городе вспыхнет грозное волнение. Народ лавиной ринулся на помост. В мгновение ока было сорвано и изодрано в клочья сукно, затем под сильными руками и под ударами топоров заходили, затрещали и разлетелись в щепки бревна и доски, и вскоре на рыночной площади от помоста не осталось и следа.

А Збышко, всё ещё держа Данусю на руках, возвращался в замок, но на этот раз как подлинный победитель, как триумфатор. Рядом с ним шли с сияющими лицами первые рыцари королевства, а по обе стороны от них, впереди и позади толпились тысячи женщин, мужчин и детей: они неистово кричали и пели, протягивали к Данусе руки и прославляли мужество и красоту жениха и невесты. В окнах богатые горожанки рукоплескали чете, и глаза у всех были залиты слезами счастья. Венки из лилий и роз, ленты и даже парчовые повязки дождем падали к ногам счастливого юноши, а он, сияя, как солнце, с сердцем, переполненным благодарностью, то и дело поднимал вверх свою белую панну, целовал ей порою в восторге колени; юные горожанки, умилившись при виде этого, бросались в объятия своих возлюбленных и заверяли их, что, случись с ними такая беда, они спасут их так же, как эта девушка спасла своего молодого рыцаря. Збышко и Дануся стали как бы возлюбленными детьми рыцарей, горожан и простого народа. Старый Мацько, которого всё ещё вели под руку Флориан из Корытницы и Марцин из Вроцимовиц, чуть не терял рассудок от радости и вместе с тем диву давался, как это ему не пришло в голову, что можно таким образом спасти племянника. Среди общего шума Повала из Тачева рассказывал рыцарям своим могучим голосом, как Войцех Ястжембец и Станислав из Скарбимежа, знатоки писаных законов и обычаев, додумались до этого способа спасения, вернее, вспомнили о нем на советах, которые держали с княгиней, а рыцари дивились его простоте и толковали между собой, что, верно, потому никто не помнит этого обычая, что в городе, населенном немцами, он давно уже вывелся.

Однако все зависело ещё от каштеляна. Рыцари направились с народом в замок, где в отсутствие короля пребывал пан краковский, и судейский писец, ксендз Станислав из Скарбимежа, Завиша, Фарурей, Зындрам из Машковиц и Повала из Тачева тотчас прошли к каштеляну, чтобы представить ему, сколь крепок обычай, и напомнить его собственные слова, что, если найдется «закон или хоть предлог какой», он тотчас освободит осужденного. А мог ли закон быть лучше исконного обычая, которого никогда никто не преступал? Правда, пан из Тенчина возразил, что обычай этот более приличествует простонародью да подгальским разбойникам, нежели шляхте, но старик был слишком сведущ в законах, чтобы не признать за ним силу. Прикрывая рукой свою серебряную бороду, он при этом улыбался в усы и, видно, тоже был рад. Кончилось тем, что он вышел на невысокое крыльцо в сопровождении княгини Анны Дануты, нескольких духовных лиц и рыцарей.

Увидев его, Збышко снова поднял вверх Данусю, а каштелян положил на её золотые волосы свою дряхлую руку, минутку подержал, а затем добродушно и важно кивнул седой головой.

Все поняли этот знак, и стены замка сотряслись от приветственных кликов. «Помоги ему, боже! Многая лета справедливому пану! Да здравствует и чинит суд и расправу над нами!» – слышалось со всех сторон. Затем раздались новые клики в честь Дануси и Збышка, а через минуту оба они, поднявшись на крыльцо, упали к ногам доброй княгини Анны Дануты, которой Збышко был обязан жизнью, потому что это она придумала с учеными, как спасти его, и научила Данусю, что надо ей делать.

– Да здравствует молодая чета! – воскликнул Повала из Тачева, увидев, что Дануся и Збышко повалились в ноги княгине.

– Да здравствует! – подхватили все остальные.

А седой каштелян обернулся к княгине и сказал:

– Что ж, княгиня, сейчас должно состояться обручение, так велит обычай.

– Обручение состоится сейчас, – сияя, ответила добрая княгиня, – но вести молодых к венцу и в опочивальню без родительского благословения Юранда из Спыхова я не позволю.

VII

Мацько и Збышко держали у купца Амылея совет, что делать дальше. Старый рыцарь ждал скорой смерти; о том, что дни его сочтены, говорил ему и сведущий в ранах францисканец отец Цыбек. и старик хотел вернуться в Богданец, чтобы быть погребенным рядом с прахом отцов на кладбище в Острове[45].

Однако не все его предки покоились в Острове. Обширен был некогда его род. Во время войн предки Мацька призывали друг друга кличем: «Грады!» и, будучи обладателями герба Тупая Подкова, почитали себя выше тех шляхтичей, которые не имели права на герб. В тысяча триста тридцать первом году, в битве под Пловцами, семьдесят четыре воина из Богданца были перестреляны на болоте немецкими лучниками, уцелел один только Войцех, по прозвищу Тур, за которым король Владислав Локоток после разгрома немцев особой грамотой закрепил герб и земли Богданца. Кости всех прочих белели с той поры на пловецких полях, а Войцех вернулся на родное пепелище лишь затем, чтобы увидеть полный упадок своего рода.

Пока мужи из Богданца гибли от немецких стрел, рыцари-разбойники из близлежащей Силезии напали на их родовое гнездо, сожгли его дотла, а жителей истребили или угнали в неволю, чтобы продать в отдаленные немецкие земли. Войцех остался один-одинешенек в уцелевшем от огня старом доме и стал владельцем обширных, но пустых земель, ранее принадлежавших всему его шляхетскому роду. Спустя пять лет он женился и, прижив двоих сыновей, Яська и Мацька, в лесу на охоте был убит туром.

Сыновья росли под опекой матери, Кахны из Спаленицы, которая в двух походах отомстила силезским немцам за старую обиду, а в третьем – сама сложила голову. Ясько, возмужав, женился на Ягенке из Моцажева, которая родила ему Збышка. Мацько остался холостяком и, насколько позволяли военные походы, присматривал за имением и племянником.

Но когда во время междоусобной войны Гжималитов и Наленчей в Богданце снова были сожжены все хаты, а крестьяне разогнаны, Мацько тщетно пытался один восстановить хозяйство. Пробившись попусту много лет, он в конце концов заложил земли своему

родственнику аббату, а сам с маленьким ещё Збышком двинулся на Литву воевать против немцев.

Однако он никогда не терял Богданца из виду. Да и на Литву отправился для того, чтобы захватить добычу и, вернувшись со временем домой, выкупить землю, заселить её невольниками, отстроить городок и поселить в нем Збышка. И сейчас, после счастливого спасения юноши, он об одном этом и думал и об одном этом советовался с ним у купца Амылея.

Землю им было на что выкупить. Военная добыча, выкупы, которые они брали с захваченных в плен рыцарей, и дары Витовта составили немалое богатство. Особенно много принесла им битва не на жизнь, а на смерть с двумя фризскими рыцарями. Одни доспехи, которые они захватили у этих рыцарей, составляли по тем временам целое состояние, а кроме доспехов, им достались ещё повозки, лошади, люди, одежда, деньги и все богатое воинское снаряжение. Многие из этой добычи приобрел теперь у них купец Амылей, в том числе две штуки отменного фландрского сукна, которое возили с собой запасливые и богатые фризы. Мацько продал также свои добытые в бою дорогие доспехи, полагая, что смерть его близка и они ему уже не понадобятся. Бронник, купивший эти доспехи, на следующий день перепродал их Марцину из Вроцимовиц герба Пулкоза и получил большой барыш, так как броня миланских мастеров ценилась в те времена дороже всех прочих.

Збышку страх как жаль было этих доспехов.

– Ну, а Бог даст, поправитесь, – говорил он дяде, – где вы найдете тогда другие такие?

– Там же, где и эти нашел, – отвечал Мацько, – на другом каком-нибудь немце. Но смерти мне уже не миновать. Жало расщепилось у меня между ребрами, и застрял осколок. Я все его нащупывал, хотел захватить ногтями и вытащить, но только ещё больше загнал в середину. Теперь уж с ним ничего не поделаешь.

– Выпить бы вам чугунок-другой медвежьего сала!

– Да! Отец Цыбек тоже говорил, что хорошо было бы, – может, осколок как-нибудь и вылез бы. Да где же здесь сала достанешь? То ли дело в Богданце – взял секиру да присел на ночь под бортью!

– Вот и надо ехать в Богданец. Только вы смотрите в дороге у меня не помрите.

Старый Мацько растроганно посмотрел на племянника.

– Знаю я, куда тебя тянет: коли не ко двору князя Януша, так к Юранду в Спыхов, набеги учинять на хелминских немцев.

– Что ж, отпираться не стану. Я бы с радостью поехал в Варшаву или в Цеханов с двором княгини, лишь бы только подольше побыть с Дануськой. Мне теперь без неё не жизнь, ведь она не только моя госпожа, но и моя любовь. Гляжу не нагляжусь я на неё, а как вздумаю только о ней, сердце занает в истоме. На край света пошел бы за нею, но сейчас я перед вами в долгу. Вы меня не покинули, и я вас не покину. В Богданец так в Богданец.

– Хороший ты хлопец, – сказал Мацько.

– Господь бы меня покарал, коли б я с вами не был хорош. Гляньте, уже запрягают. Я на одну телегу велел положить для вас сена. Дочка Амылея подарила нам отличную перину, только вот жарко вам будет, не знаю, уложите ли вы на ней. Мы поедем не торопясь, вместе с княгиней и её свитой, чтобы было кому присмотреть за вами. Они потом свернут на Мазовию, а мы к себе – и помогай Бог!

– Пожить бы мне ещё немного, чтоб успеть городок отстроить, – сказал Мацько, – я ведь тебя знаю: помру, ты не очень-то будешь думать о Богданце.

– Это почему же?

– В голове у тебя будут драки да любовь.

– А у вас в голове не была война? Я уж обо всем хорошенько подумал, что стану делать: перво-наперво поставим городок из крепкого дуба да велим его рвом обнести.

– Ты тоже так думаешь? – живо спросил Мацько. – Ну, а как поставим городок, что тогда? Говори же!

– Как поставим городок, я тотчас поеду ко двору княгини в Варшаву или в Цеханов.

– После моей смерти?

– Ну, коли вы скоро помрете, так после вашей смерти, но только раньше тризну по вас справлю, а коли, Бог даст, выздоровеете, так вы останетесь в Богданце. Княгиня мне посулила, что князь опояшет меня рыцарским поясом. Иначе Лихтенштейн не захочет драться со мной.

– Так ты потом отправишься в Мальборк?

– В Мальборк ли, на край ли света, лишь бы только добыть Лихтенштейна.

– За это я не стану тебя попрекать. Либо ему, либо тебе на свете не жить!

– Уж я вам перчатку его и пояс привезу в Богданец, – это вы не сомневайтесь.

– Ты только бойся измены. Вероломный это народ.

– Я поклонюсь князю Янушу и попрошу послать меня к великому магистру за охранной грамотой. Нынче у нас мир. Я поеду за охранной грамотой в Мальборк, а там всегда гостит много рыцарей. Ну, вы сами понимаете, – сперва я возьмусь за Лихтенштейна, а там погляжу, у кого павлиньи чубы на шлемах, и стану по очереди тех вызывать. Боже ты мой! Да коли мне Христос поможет одолеть их, так ведь я и обет исполню.

Збышко улыбался при этом своим собственным мыслям, и лицо у него было совсем как у мальчика, который расписывает, какие рыцарские подвиги он совершит, когда вырастет.

– Эх! – сказал Мацько, качая головой. – Да кабы ты троих знатных рыцарей одолел, так не только обет бы исполнил, но и снаряжение у них захватил, да ещё какое снаряжение – боже ты мой!

– Чего там троих! – воскликнул Збышко. – Я ещё в темнице сказал себе, что не пожалею для Дануси немцев. Не троих, а столько, сколько пальцев на обеих руках!

Мацько пожал плечами.

– Хотите верьте, хотите не верьте, – сказал Збышко, – а я из Мальборка поеду прямо к Юранду из Спыхова. Как же мне не явиться к нему на поклон, коли он отец Дануси? Мы с ним станем чинить набег на хелминских немцев. Вы ведь сами говорили, что он – гроза всех немцев, страшней его для них во всей Мазовии нету.

– А коли он не отдаст за тебя Дануську?

– И чего это ему не отдать ее! Он ищет мести за свою обиду, я – за свою. Кого же ему найти лучше меня? Уж раз княгиня разрешила отпраздновать обручение, так и он не станет противиться.

– Я одно только думаю, – сказал Мацько, – заберешь ты с собой всех людей из Богданца, чтоб и у тебя были слуги, как подобает рыцарю, а земля останется без рук. Покуда жив, не дам я тебе людей, ну, а после моей смерти ты, как пить дать, их заберешь.

– Господь Бог пошлет мне слуг, да и Янко из Тульчи – родич наш, значит, не пожалеет.

В это мгновение дверь отворилась, и как бы в доказательство того, что господь Бог печется о Збышке, вошли два человека, чернявые, плотные, в желтых, похожих на еврейские, кафтанах, в красных шапках и необъятных шароварах. Остановившись в дверях, они стали прикладывать пальцы ко лбу, к губам и к груди и кланяться при этом до самой земли.

– Это что за басурманы? – спросил Мацько. – Вы кто такие?

– Мы ваши невольники, – ответили пришельцы на ломаном польском языке.

– Как так? Откуда? Кто вас сюда прислал?

– Нас прислал пан Завита в дар молодому рыцарю, чтобы мы были его невольниками.

– Боже мой! Еще два мужика! – с радостью воскликнул Мацько. – Из каких же вы будете?

– Мы турки.

– Турки? – переспросил Збышко. – У меня слугами будут два турка. Вы видали когданибудь турок?

И, подбежав к невольникам, он стал ощупывать и оглядывать их, как особенных заморских зверей.

– Видать не видал, – ответил Мацько, – но слышал, что у пана из Гарбова есть на службе турки, которых он захватил в неволю, когда воевал на Дунае у римского императора Сигизмунда. Как же быть? Ведь вы, собачьи дети, басурманы?

– Пан велел нам креститься, – сказал один из невольников.

– А выкупа у вас не было?

– Мы издалека, с азиатского берега, из Бруссы.

Збышко, который всегда с жадностью слушал рассказы о войне, особенно о подвигах достославного Завиши из Гарбова, стал расспрашивать турок, как они попали в неволю. Но в рассказе их не было ничего необычайного: три года назад Завиша напал в овраге на турецкий отряд в несколько десятков сабель, часть турок перебил, часть захватил в плен, а потом многих раздарил. Збышко и Мацько страшно обрадовались, получив такой замечательный подарок. С невольниками в те времена было особенно туго, и обладатель их мог почитать себя богатым человеком.

А тем временем пришел и сам Завиша в сопровождении Повалы и Пашка Злодзея из Бискупиц. Все они принимали участие в спасении Збышка и были рады, что все кончилось благополучно, а потому на прощание все они принесли ему на память подарки. Щедрый пан из Тачева принес широкую богатую попону для коня, отороченную спереди золотой бахромой. Пашко подарил венгерский меч ценою в несколько гривен. Потом пришли Лис из Тарговиска, Фарурей и Кшон из Козихглюв с Марцином из Вроцимовиц и, наконец, Зындрам из Машковиц – все с полными руками.

С радостью в сердце приветствовал их Збышко, счастливый и потому, что получил такие подарки, и потому, что самые славные рыцари королевства оказывают ему свое расположение. Они расспрашивали его об отъезде и о здоровье Мацька; как люди опытные, хоть и молодые, советовали всякие чудодейственные снадобья и мази для ран.

Но Мацько только поручал Збышка их попечению, а сам собирался помирать. Трудно жить с осколком железа под ребрами. Старик жаловался, что все время плюет кровью и не может есть. Кварта лущеных орехов, кружок колбасы да миска яичницы – вот и вся его еда за целый день. Отец Цыбек несколько раз пускал ему кровь, полагая, что таким образом оттянет жар от сердца и вернет аппетит, – но и это не помогло.

Однако Мацько так был рад подаркам, которые получил племянник, что в эту минуту почувствовал себя получше, и, когда купец Амылей велел принести бочонок вина, чтобы попотчевать столь славных гостей, старик сел вместе с ними за чару. За столом завели разговор о спасении Збышка и об его обручении с Дануськой. Рыцари не сомневались, что Юранд из Спыхова не станет противиться воле княгини, особенно если Збышко отомстит за мать Дануськи и добудет обещанные павлиньи чубы.

– Вот только не знаем мы, – сказал Завиша, – захочет ли Лихтенштейн драться с тобой, он ведь монах, и к тому же один из магистров ордена. Мало того! Люди из его свиты говорили, будто со временем он может стать великим магистром.

– Откажется драться – честь свою замарает, – заметил Лис из Тарговиска.

– Нет, – возразил Завиша, – он не светский рыцарь, а монахам не дозволяется драться на поединке.

– Да, но они часто это делают.

– Это потому, что в ордене перестали блюсти законы. Дают монахи всякие обеты, а слава идет, что, к вящему соблазну христианского мира, они только и делают, что

нарушают свои обеты. Но драться не на жизнь, а на смерть крестоносец, особенно комтур, может, и не станет.

– Ну, тогда ты его только на войне съешь.

– Так ведь поговаривают, будто войны не будет, – сказал Збышко, – будто крестоносцы страшатся теперь нашего народа.

– Недолго будет этот мир, – возразил Зындрам из Машковиц. – Не может быть мира с волком, который привык жить чужим.

– А тем временем нам, может, придется сразиться с Тимуром Хромым, – сказал Повала. – Едигей разбил князя Витовта, это уж доподлинно известно.

– Доподлинно. И воевода Спытко не вернулся, – подхватил Пашко Злодзей из Бискупиц.

– И много литовских князей полегло в бою.

– Покойная королева предсказывала, что так оно будет, – сказал пан из Тачева.

– Да, придется нам, пожалуй, двинуться на Тимура.

И разговор перешел на литовский поход против татар. Не оставалось уже никакого сомнения, что князь Витовт, полководец не столько опытный, сколько горячий, потерпел страшное поражение на Ворскле, причем пало множество литовских и русских бояр, а с ними горсточка польских рыцарей-охотников и даже крестоносцев. Рыцари, собравшиеся у Амyleя, особенно сокрушались об участии молодого Спытка из Мельштына[46], самого знатного вельможи во всем королевстве, который по доброй воле отправился в поход и после битвы пропал без вести. Его превозносили до небес за подлинно рыцарский поступок: получив от татарского хана охранный колпак, он не захотел надеть его во время битвы, предпочтя славную смерть жизни по милости басурманского владыки. Однако ещё не было точно известно, погиб он или попал в неволю. Из неволи он легко мог выкупиться, так как богатства его были неисчислимы, а король Владислав отдал ему вдобавок в ленное владение всю Подолию.

Но поражение литвинов могло быть чревато опасностью и для всего государства Ягайла, так как никто толком не знал, не бросятся ли татары, воодушевленные победой над Витовтом, на земли и города, принадлежащие великому княжеству. В этом случае в войну было бы вовлечено и королевство. Поэтому такие рыцари, как Завиша, Фарурей, Добко и даже Повала, привыкшие искать приключений и битв при заграничных дворах, умышленно не покидали Краков, не зная, что может принести недалекое будущее. Если бы повелитель двадцати семи государств, Тамерлан, двинул на Запад весь монгольский мир, грозная опасность нависла бы над королевством. Кое-кто предвидел, что это может произойти.

– Надо будет, так и с самим Хромцом сразимся. Не справиться ему так легко с нашим народом, как со всеми теми, кого он истребил и покорил. Да и другие христианские государи придут нам на помощь.

Зындрам из Машковиц, пылавший к ордену особенной ненавистью, с горечью возразил собеседнику:

– Не знаю, как государи, а крестоносцы готовы покумиться с татарами и ударить на нас с другой стороны.

– Вот и быть войне! – воскликнул Збышко. – Я против крестоносцев!

Но другие рыцари стали возражать. Хоть крестоносцы и не знают страха божия и пекутся только о своем добре, но не станут они помогать басурманам против христианского народа. Да и Тимур воюет где-то далеко в Азии, а татарский хан Едигей столько людей потерял в битве, что, кажется, сам испугался своей победы. Князь Витовт предусмотрителен и, наверно, хорошо укрепил свои города, да и то надо сказать, коли потерпели на этот раз литвины неудачу, так ведь не внове им и победы над татарами одерживать.

– Не с татарами, а с немцами придется нам биться не на жизнь, а на смерть, – сказал Зындрам из Машковиц, – не уничтожим мы их, так от их руки сами погибнем.

После этого он обратился к Збышку:

– А прежде всех погибнет Мазовия. Не бойся, для тебя там всегда найдется работа!

– Эх! Кабы дядя был здоров, я бы сейчас же туда двинулся.

– Бог тебе в помощь! – сказал Повала, поднимая кубок.

– За здоровье твое и Дануськи!

– И за смерть немцам! – прибавил Зындрам из Машковиц.

И рыцари стали прощаться со Збышком. Но тут вошел придворный княгини с соколом в руке, поклонился рыцарям и, как-то странно улыбаясь, обратился к Збышку:

– Княгиня велела сказать вам, что эту ночь проведет в Кракове и тронется в путь только завтра утром.

– Вот и хорошо, – сказал Збышко. – Только почему же? Не захворал ли кто?

– Нет. У княгини гость из Мазовии.

– Уж не князь ли приехал?

– Нет, не князь, а Юранд из Спыхова, – ответил придворный.

При этих словах Збышко пришел в крайнее смущение, и сердце затрепетало у него в груди так, как в ту минуту, когда ему читали смертный приговор.

VIII

Княгиня Анна не очень удивилась приезду Юранда из Спыхова – среди постоянных набегов, преследований и битв с соседними немецкими рыцарями им часто овладевала вдруг тоска по Данусе. Тогда он неожиданно появлялся в Варшаве, Цеханове или ином месте, где временно находился двор князя Януша. При виде девочки злая грусть всякий раз начинала терзать его сердце. С годами Дануся все больше становилась похожа на мать, и Юранду казалось всегда, что он видит свою покойницу такой, какой когда-то увидел впервые у княгини Анны в Варшаве. Не раз люди думали, что от злой этой грусти смягчится в конце концов его железное

сердце, исполненное одной только жадой мести. Княгиня тоже часто уговаривала его покинуть свой кровавый Спыхов и остаться при дворе с Данусей. Сам князь, ценя его силу и мужество и желая вместе с тем избавиться от неприятностей, которые доставляли ему постоянные пограничные стычки, даровал Юранду чин мечника. Все было напрасно. Вид Дануси растравлял его старые раны. Через несколько дней Юранд терял аппетит и сон, становился неразговорчив. Гнев начинал kloкотать в его груди, все в нем кипело мстью, и в конце концов он исчезал и возвращался на спыховские болота, чтобы утопить в крови свою тоску и свой гнев. Люди говорили тогда: «Горе немцам! Они вовсе не овцы, но для Юранда они овцы, ибо он для них волк». А по прошествии некоторого времени разносился слух то о захваченных иноземцах, которые по пограничной дороге направлялись к крестоносцам в охотники, то о сожженных городках, то о захваченных в неволю мужиках или о смертельных схватках, из которых грозный Юранд всегда выходил победителем. Повадки у Мазуров и у немецких рыцарей, которым орден давал в аренду земли и городки на границе с Мазовией, были хищнические, поэтому даже во время полного мира между мазовецкими князьями и орденом на границе не прекращались кровавые столкновения. Даже лес рубить или жать хлеб жители выходили вооруженные самострелами или копьями. У людей не было уверенности в завтрашнем дне, они всегда жили, готовые к бою, и сердца их от этого ожесточились. Никто не ограничивался одной обороной и за грабеж платил грабежом, за пожар пожаром, за набег набегом. И случалось, что, когда немцы тихо крались по лесным рубежам, чтобы учинить набег на какой-нибудь городок, угнать мужиков или стада, мазуры в это время совершали такой же набег в другом месте. Не раз враги сшибались в жестокой схватке, но часто только военачальники вызывали друг друга на смертный бой, после которого победитель угонял людей побежденного противника. И когда в Варшаву приходили жалобы на Юранда, князь отвечал жалобами на набеги, учиненные в других местах немецкими рыцарями. Таким образом, обе стороны жаждали справедливости, но ни одна не хотела и не могла соблюсти её, и поэтому все грабежи, пожары и набеги оставались совершенно безнаказанными.

Но Юранд, сидя в своем болотистом, поросшем камышом Спыхове и пылая неутолимой жадой мести, так донял своих зарубежных соседей, что в конце концов, невзирая на всю свою злобу, они в страхе перед ним отступились. Поля, граничившие со Спыховом, лежали невозделанные, леса зарастали диким хмелем и орешником, луга – камышом. Не один немецкий рыцарь, привыкший у себя дома к кулачному праву, пытался осесть по соседству со Спыховом, однако спустя немного времени он предпочитал отказаться от лена, стад и крестьян, чем жить под боком у неумолимого соседа. Часто рыцари сговаривались учинить всем вместе набег на Спыхов, но всякий раз такой набег кончался для них поражением. Они прибегали ко всяким способам. Однажды они привезли с Майна рыцаря, известного своей силой и жестокостью, выходившего победителем из всех боев, с тем чтобы он вызвал Юранда на поединок на утопанной земле. Но когда противники заняли свои места и немец увидел грозного мазура, сердце у него упало, словно от какой-то колдовской силы, и он поворотил коня, чтобы спастись бегством, а Юранд пронзил его копьем не защищенный броней зад и лишил его таким образом чести и жизни. С той поры такой страх объял соседей, что немец, завидев издали спыховские хаты, осенял себя крестным знаменем и начинал творить молитву своему покровителю на небесах, ибо отныне все утвердилось в вере, что Юранд ради мести продал душу дьяволу.

О Спыхове рассказывали всякие страсти. Говорили, будто через топкие болота, посреди дремлющих, заросших ряской и горчаком трясин к Спыхову ведет такая узкая дорожка, что по ней рядом не могут проехать два всадника, будто по обочинам её валяются немецкие кости, а ночью головы утопленных блуждают на паучьих ножках и со стоном и воем увлекают в трясины всадников вместе с лошадьми. Говорили, будто

в самом городке частокोल усажен человеческими черепами. Правдой во всем этом было только то, что из-за решетки подземелья, вырытого под домом в Спыхове, всегда доносился стон нескольких невольников и что имя Юранда было страшнее всех сказок о скелетах и утопленниках.

Узнав о прибытии Юранда, Збышко тотчас поспешил к нему; но это был отец Дануси, и поэтому Збышко шел к нему с тревогой в душе. Никто не мог воспретить ему избрать Дануську госпожой и дать ей обет, но ведь княгиня обручила его с нею. Что скажет на это Юранд? Даст ли он свое согласие на брак и что будет, если он закричит, что как отец никогда этого не допустит? Тревога росла в душе Збышка, ибо Дануся была сейчас для юноши дороже всего на свете. Только мысль о том, что Юранд не в вину, а в заслугу поставит ему нападение на Лихтенштейна, придавала Збышку бодрости; ведь он совершил этот поступок, желая отомстить за мать Дануси, и чуть было сам не поплатился за это головой.

Он стал расспрашивать придворного, посланного за ним к Амылею:

– Куда же вы меня ведете? В замок?

– Ну конечно, в замок. Юранд остановился там вместе с двором княгини.

– Скажите, что это за человек?.. Я должен знать, как надо с ним держаться...

– Как вам сказать? Он совсем непохож на других людей. Говорят, раньше, когда сердце его ещё не ожесточилось, он был человек веселый.

– Умен ли он?

– Хитер, потому что других бьет, а сам не дается. Эх! Один у него глаз, другой немцы стрелой ему выбили, но одним этим глазом он человека видит насквозь. Никто не может с ним сладить... Любит Юранд только нашу княгиню, женился он на её придворной, а сейчас вот его дочка у неё воспитывается.

Збышко вздохнул с облегчением.

– Так вы говорите, он не станет противиться воле княгини?

– Я понимаю, о чем вы хотите дознаться, и сейчас расскажу вам все, что слышал. Княгиня говорила ему о вашем обручении – нехорошо было бы утаить это от него, – но что Юранд ей сказал, не знаю.

Беседуя таким образом, они дошли до ворот. Капитан королевских лучников, тот самый, который недавно вел Збышка на казнь, теперь приветливо кивнул ему головой; миновав стражу, Збышко с посланцем княгини вошел во двор, а затем повернул направо к флигелю, который занимала княгиня.

Столкнувшись в дверях со слугой, придворный спросил:

– Где Юранд из Спыхова?

– В угольчатой комнате, с дочерью.

– Сюда пожалуйста, – сказал придворный, показывая на дверь.

Збышко перекрестился и, приподняв занавес на открытых дверях, с бьющимся сердцем вошел в комнату. Однако он не сразу заметил Юранда и Данусю, потому что комната была не только угольчатая, но и темная. Только через некоторое время он разглядел светлую головку девочки, сидевшей на коленях у отца. Они не слышали, как Збышко вошел, поэтому он остановился у занавеса, кашлянул и наконец произнес:

– Слава Иисусу Христу!

– Во веки веков, – ответил Юранд, вставая.

В эту минуту к молодому рыцарю подбежала Дануся и, схватив его за руку, воскликнула:

– Збышко! Батюшка приехал!

Збышко поцеловал ей руку, затем подошел с нею к Юранду и сказал:

– Я пришел к вам с поклоном; вы знаете, кто я?

И он склонился, сделав руками такое движение, точно хотел обнять ноги Юранда. Но тот схватил его за руку, повернул к свету и в молчании вперил в него взор.

Збышко уже немного оправился и, подняв на Юранда любопытные глаза, увидел богатыря с рыжеватыми волосами и такими же рыжеватыми усами, с рябинами от оспы на лице и одним глазом стального цвета. Юноше казалось, что этот глаз хочет пронзить его насквозь, и он снова смутился и, не зная, что сказать, спросил, лишь бы только прервать тягостное молчание:

– Так вы Юранд из Спыхова, отец Дануси?

Но тот только указал Збышку на скамью рядом с дубовым креслом, на которое уселся он сам, и, не ответив ни слова, по-прежнему пристально смотрел на юношу.

Збышко потерял наконец терпение.

– Знаете, – сказал он, – неловко мне сидеть вот так, как на суде.

Только тогда Юранд спросил:

– Так это ты хотел сразить Лихтенштейна?

– Я! – ответил Збышко.

Удивительным светом зажегся при этом единственный глаз пана из Спыхова, и грозное лицо рыцаря немного прояснилось. Через минуту он бросил взгляд на Данусю и снова спросил:

– И все это ради неё?

– А ради кого же ещё? Дядя, верно, вам рассказал, что я дал ей обет сорвать у немцев павлиньи чубы. Только не три сорву я чуба, а по меньшей мере столько, сколько пальцев на обеих руках. И вам я помогу отомстить немцам – все ведь это месть за мать Дануси.

– Горе им! – воскликнул Юранд.

И снова воцарилось молчание. Однако Збышко сообразил, что, выказывая свою ненависть к немцам, он привлечет к себе сердце Юранда.

– Не прощу я им ни за что, – сказал он, – хоть из-за них мне уже чуть голову не отрубили.

Тут он повернулся к Данусе и прибавил:

– Она вот спасла меня.

– Знаю, – сказал Юранд.

– А вам это, может, не по сердцу?

– Коли дал ты обет, так служи ей – таков рыцарский обычай.

Збышко заколебался, но через минуту заговорил с видимым беспокойством:

– Видите ли... она мне на голову покрывало накинула... Все рыцари слышали, и францисканец, который был при мне с крестом, слышал, как она сказала: «Он мой!» И, видит Бог, ничьим я больше не буду до самой смерти.

При этих словах он снова преклонил колени и, желая показать, что знает рыцарские обычаи, весьма почтительно поцеловал оба башмачка Дануси, сидевшей на подлокотнике кресла, а затем повернулся к Юранду и сказал:

– Видали ль вы другую такую... а?

А Юранд схватился вдруг за голову своими страшными руками, пролившими столько крови, и, закрыв глаза, глухо ответил:

– Видал, только немцы убили её у меня.

– Так вот послушайте, – с жаром сказал Збышко, – одна у нас обида и месть одна. Да и наших из Богданца сколько эти псы перестреляли, когда кони их увязли в трясине. Никого лучше меня вы для вашего дела не сыщете... Не в диковину мне все это! Спросите у дяди. На копьях ли, на секирах ли, на длинных или на коротких мечах – мне все едино! Рассказывал ли вам дядя про фризов? Как баранов, буду резать немцев; что ж до девушки, то на коленях клянусь вам, что за неё с самим сатаной выйду на бой и не променяю её ни на землю, ни на стада, ни на какое оружие, и если мне даже замок со стеклянными окнами будут давать без неё, то и замок покину и пойду за нею на край света.

Некоторое время Юранд сидел, опустив голову на руки, а затем, словно очнувшись ото сна, сказал с сожаленьем и грустью:

– Полюбился ты мне, хлопец, но не отдам я её за тебя, потому что не тебе, бедняга, она судьбою назначена.

Збышко просто дар речи потерял при этих словах и воззрился на Юранда широко раскрытыми глазами, не в силах слово вымолвить.

Однако на помощь ему пришла Дануся. Уж очень мил ей был Збышко, и так приятно было, что её принимают не за «коротышку», а за «невесту». Ей понравились и обручение, и лакомства, которые ей каждый день приносил её рыцарь, поэтому, поняв сейчас, что все это хотят у неё отнять, она мигом соскользнула с подлокотника и, спрятав голову на коленях у отца, закричала:

– Батюшка! Батюшка! Я буду плакать!

Юранд любил её, видно, больше всего на свете: с нежностью положил он руку на голову дочери. На лице его не отразилось ни досады, ни гнева, одна только печаль.

Збышко тем временем оправился и сказал:

– Как же так? Значит, вы хотите воспротивиться воле Божьей?

– Коли будет на то воля Божья, – ответил ему Юранд, Дануся будет твоею, но я на это не могу дать своего согласия. И рад бы дать, да не могу.

С этими словами Юранд поднял Данусю и, взяв её на руки, направился было к двери, но, когда Збышко хотел преградить ему дорогу, он задержался на минуту и сказал:

– Я не буду на тебя в обиде за рыцарскую службу, но больше ни о чем меня не пытай, я ничего не могу тебе сказать.

И вышел вон.

IX

Однако на другой день Юранд не сторонился Збышка и не мешал ему оказывать Данусе в пути всякие услуги, которые тот как рыцарь должен был ей оказывать. Как ни огорчен был Збышко, он все же заметил, что угрюмый пан из Спыхова поглядывает на него с благосклонностью и даже как будто сожалеет о том, что вынужден был дать ему столь жестокий ответ. По дороге молодой шляхтич не раз пытался приблизиться к Юранду и завязать с ним разговор. После выезда из Кракова это легко было сделать, так как оба они сопровождали княгиню верхом. Юранд, который обычно был молчалив, со Збышком беседовал довольно охотно; но как только тот делал попытку узнать, какое же препятствие встало между ним и Данусей, внезапно обрывал разговор и снова становился угрюм. Збышко подумал, не знает ли обо всем этом княгиня, и, улучив удобную минуту, попробовал расспросить её, но и она не много могла ему рассказать.

– Какая-то тайна тут скрыта, – заметила она. – Мне сам Юранд сказал об этом, но просил ни о чем не пытать. Должно быть, он связан какой-то клятвой, это бывает. Бог даст, со временем все разъяснится.

– Мне без неё жить на свете все равно, что псу на привязи или медведю в яме, – сказал ей Збышко. – Ни тебе радости, ни утешения. Одна тоска да печаль. Уж лучше было мне пойти с князем Витовтом к Тавани, пусть бы меня там татары убили. Но ведь мне сперва надо дядю отвезти домой, а потом, как я обещал, павлиньи чубы сорвать у немцев с голов. Может, убьют меня при этом, ну да оно и лучше было бы, чем смотреть, как другой возьмет Дануську.

Княгиня подняла на него свои добрые голубые глаза и спросила с некоторым

удивлением:

– Да неужто ты бы допустил до этого?

– Я-то? Да куда я жив, этому не бывать! Разве рука отсохнет и не сможет держать секиру!

– Вот видишь!

– Да, но как же мне её против воли родительской взять?

Будто про себя княгиня молвила:

– Господи, всяко бывает...

А потом Збышку сказала:

– Да разве воля Божья не выше родительской? А что сказал Юранд? «Коли будет на то воля Божья, – сказал он, – быть ей за Збышком».

– Он и мне это говорил! – воскликнул Збышко. – «Коли будет на то воля Божья, – сказал он, – быть ей за тобою».

– Вот видишь!

– При ваших милостях, вельможная пани, одно это у меня утешение.

– Мною ты не обижен, а Дануська тебе будет верна. Еще вчера я её спрашивала: «Будешь ли, Дануська, Збышку верна?» А она мне отвечает: «Не ему, так никому не достанусь». Молодо-зелено, но ежели даст слово, то сдержит его; шляхтянка она, не какая-нибудь приبلуда. И мать у неё была такая.

– Дай-то Бог! – сказал Збышко.

– Но только помни, и ты сдержи свое слово, а то ваш брат такой: обещается верно любить – смотришь, а уж липнет к другой, да так, что и на привязи его не удержишь. Верно говорю!

– Разрази меня Бог! – с жаром воскликнул Збышко.

– То-то, помни. А как отвезешь дядю домой, приезжай к нам, ко двору. Случай представится, шпоры получишь, а там поглядим, что Бог даст. Дануська за это время подрастет, и сердце скажет ей, по ком оно болит; ведь она тебя крепко любит сейчас, – и говорить нечего, – но только не девичья ещё это любовь. Может, и Юранду ты по сердцу придешься, сдаётся мне, он бы рад всей душой. И в Спыхов поедешь, на немцев с Юрандом двинешься, может статься, так ему угодишь, что совсем привлечешь его сердце.

– Я и сам, милостивейшая княгиня, думал это сделать, но, коли вы мне позволяете, так мне легче будет.

Разговор этот очень ободрил Збышка. Однако на первом же привале старому Мацьку стало так худо, что пришлось задержаться и ждать, пока он хоть немного оправится, чтобы продолжать путь. Добрая княгиня Данута оставила старику все

лекарства и снадобья, какие только были при ней, но сама должна была ехать дальше, так что обоим рыцарям из Богданца пришлось расстаться в мазовецким двором. Повалился Збышко в ноги сперва княгине, а потом Данусе, ещё раз поклялся своей госпоже, что будет верно служить ей, пообещал приехать вскоре в Цеханов или в Варшаву, обнял наконец её сильными своими руками и, подняв вверх стал с волнением повторять:

– Не забудь же ты меня, цветочек мой аленький, не забудь, рыбка моя золотая!

А Дануся, обняв его так, как младшая сестра обнимает дорогого брата, прижалась вздернутым носиком к его щеке и, горько плача, твердила:

– Не хочу в Цеханов без Збышка, не хочу в Цеханов.

Юранд все это видел, но не разгневался. Напротив, сам сердечно простился с юношей, а когда уже сидел на коне, обернулся ещё раз к нему и сказал:

– Счастливо оставаться, а на меня не гневайся!

– Как же мне на вас гневаться, коли вы отец Дануськи! – горячо ответил Збышко.

Он склонился к стремени Юранда, а тот крепко пожал ему руку и сказал:

– Дай Бог тебе счастья во всем!.. Понимаешь?

И уехал прочь. Збышко, однако, понял, какой сердечностью были проникнуты его последние слова, и, вернувшись к телеге, на которой лежал Мацько, обратился к старику со следующими словами:

– Знаете, что я вам скажу: он бы и сам не прочь, да что-то ему мешает. Вы человек сметливый, были в Спыхове – ну-ка, раскиньте умом, что тут за причина.

Но Мацько разнемогся совсем. Жар, который открылся у него утром, к вечеру так увеличился, что старик стал забываться, вместо того чтобы ответить Збышку, он уставился на него и удивленно спросил:

– А где это звонят?

Збышко испугался, ему пришло на ум, что раз больному слышится колокольный звон, видно, у него уже смерть в головах. Подумал он и про то, что старик может умереть без ксендза, без покаяния, и, значит, попасть коли не в самый ад, то на многие века в чистилище. Он заторопился поэтому дальше, чтобы поскорее добраться до какого-нибудь прихода, где Мацько мог бы в последний раз причаститься.

Решено было ехать всю ночь. Збышко сел на телегу с сеном, на которой лежал больной, и бодрствовал до рассвета. Время от времени он давал старику вина, которым снабдил их на дорогу купец Амылей, и Мацько, которого мучила жажда, пил с жадностью, видно, чувствовал от этого облегчение. После второй кварты он даже пришел в себя, а после третьей уснул таким крепким сном, что Збышко время от времени склонялся над ним, чтобы убедиться, что старик не умер.

При одной мысли об этом им овладевала безысходная тоска. До той самой минуты, пока его не бросили в Кракове в темницу, он не представлял себе, как крепко любит своего дядю, который заменил ему отца с матерью. Только сейчас он это

понял и почувствовал вместе с тем, каким круглым сиротой останется он на свете после смерти старика – без родных, кроме разве аббата, который держал в залоге Богданец, без друзей и без помощи. В то же время ему пришло на ум, что если Мацько умрет, так тоже по вине немцев, из-за которых и он сам чуть было не поплатился головой, и погибли все его предки, мать Дануси и много, много невинных людей, которых он знал или о которых слышал от знакомых, – и он просто диву дался. «Да неужто, – говорил он сам себе, – во всем королевстве не найдется человека, который не был бы обижен ими и не жаждал бы мести?» Ему вспомнились немцы, с которыми он дрался под Вильно, и он подумал, что, пожалуй, и татары так жестоко не дерутся и что, пожалуй, на всем свете нет народа жесточе немцев.

Рассвет прервал его размышления. День вставал ясный, но холодный. Мацько чувствовал себя заметно лучше, дышал ровней и спокойней. Он проснулся только тогда, когда солнце уже стало сильно пригревать, открыл глаза и сказал:

– Полегчало мне. Где это мы?

– Подъезжаем к Олькушу[47]. Знаете?.. Где серебро добывают и серебрину отдают в королевскую казну.

– Вот бы нам все недра земные! То-то бы Богданец застроили!

– Видно, вам уже легче стало, – засмеялся Збышко. – Ого-го! И на каменный замок хватило бы! Давайте-ка заедем к ксендзу, там мы и приют найдем, да и вы поисповедаетесь. Все мы под Богом ходим, но лучше, когда у человека совесть чиста.

– Я человек грешный и покаюсь с радостью, – ответил Мацько. – Снилось мне ночью, будто черти стаскивали с меня сапоги и между собой по-немецки болтали. Благодарение создателю, полегче мне стало. А ты соснул ли хоть маленько?

– Как же мне было спать, когда я за вами глядел?

– Так приляг хоть немножко. Как приедем, я тебя разбужу.

– Не до сна мне!

– Что ж тебе спать не дает?

Збышко поглядел на дядю детскими своими глазами:

– Что ж, как не любовь? Да у меня от вздохов уже колики в животе. А не сесть ли мне на коня, авось станет легче.

И Збышко соскочил с телеги и сел на коня, которого ему проворно подвел подаренный Завишей турок. Мацько от боли то и дело хватался за бок, но, видно, думал не о своей болезни, а о чем-то другом, потому что качал головой, причмокивал и наконец сказал:

– Дивлюсь это я, дивлюсь и надивиться не могу, что это ты до девок так охоч, ведь ни отец твой, ни я не были такими.

Но Збышко вместо ответа выпрямился вдруг в седле, подбоченился, поднял голову вверх и залился песней:

Плакал я до зорьки, и роса уж пала.

Где ж, моя голубка, где ты запропала?

Больше не увижу девушки я красной, Выплачу от горя свои очи ясны.

Эй!

Это «эй!» раскатилось по лесу, отдалось от придорожных деревьев и, отозвавшись эхом вдали, замерло в лесной чаще.

А Мацько снова пощупал свой бок, в котором застряло немецкое жало, и сказал, покряхтывая:

– В старину люди поумней были – понял?

Однако задумался на минутку, словно вспоминая давние времена, и прибавил:

– А впрочем, и в старину дураки бывали.

Но тут они выехали из лесу, за которым увидели рудный двор, а за ним зубчатые стены Олькуша, возведенные королем Казимиром, и колокольню костёла, сооруженного Владиславом Локотком.

Х

Гостеприимный приходский каноник, поисповедав Мацька, оставил путников на ночлег, так что они выехали только на следующий день утром. За Олькушем они повернули в сторону Силезии, вдоль границы которой должны были ехать до самой Великой Польши. Дорога большей частью пролегла дремучим лесом, где на закате то и дело раздавался рык туров и зубров, подобный подземному грому, а по ночам в чаще орешника сверкали глаза волков. Но куда большая опасность грозила на этой дороге путникам и купцам от немецких или онемечившихся силезских рыцарей, чьи небольшие замки высились то там, то тут вдоль границы. Правда, во время войны короля Владислава с опольским князем Надерспаном, которому помогали его силезские племянники, поляки разрушили большую часть этих замков; все же здесь всегда надо было быть начеку и, особенно после заката солнца, не выпускать из рук оружия.

Однако наши путники спокойно продвигались вперед, так что Збышко уже наскучила дорога, и только однажды ночью на расстоянии одного дня езды до Богданца они услышали позади конский топот и фыркание.

– Кто-то едет за нами, – сказал Збышко.

Мацько, который в эту минуту не спал, поглядел на звезды и, как человек опытный, заметил:

– Скоро рассвет. На исходе ночи разбойники не стали бы нападать, им, как начинает светать, пора по домам.

Збышко все-таки остановил телегу, построил своих людей поперек дороги, лицом к приближающимся незнакомцам, а сам выехал вперед и стал ждать.

Спустя некоторое время он увидел в сумраке ночи десятка полтора всадников. Один из них ехал впереди, в нескольких шагах от прочих, но, видно, не имел намерения укрыться и громко распевал песню. Збышко не мог разобрать слов, но до слуха его явственно долетало веселое «Гоп! Гоп!», которым незнакомец заканчивал каждый

куплет своей песни.

«Наши!» – сказал он про себя.

Однако через минуту крикнул:

– Стой!

– А ты сядь! – ответил шутливый голос.

– Вы кто такие?

– А вы кто такие-сякие?

– Вы что за нами гонитесь?

– А ты что дорогу загородил?

– Отвечай, а то тетива натянута.

– А наша перетянута – стреляй!

– Отвечай по-людски, ты что, в беде не бывал, нужды не видал?

На эти слова Збышко ответили веселой песней:

Нужда с нуждой повстречались,

На развилке в пляс пускались...

Гоп! Гоп! Гоп!

Что ж так лихо расплясались?

Верно, век уж не встречались...

Гоп! Гоп! Гоп!

Збышко поразился, услышав такой ответ, а тем временем песня смолкла, и тот же голос спросил:

– А как здоровье Мацька? Скрипит ещё старина?

Мацько приподнялся на телеге и сказал:

– Боже мой, да ведь это наши!

Збышко тронул коня.

– Кто спрашивает про Мацька?

– Да это я, сосед, Зых из Згожелиц. Чуть не целую неделю еду за вами и расспрашиваю про вас по дороге.

– Господи! Дядя! Да ведь это Зых из Згожелиц! – крикнул Збышко.

И все весело стали здороваться. Зых и в самом деле был их соседом и к тому же человеком добрым, которого все любили за веселый нрав.

– Ну, как вы там поживаете? – спрашивал он, тряся руку Мацька. – Еще скачете или

уж не скачете?

– Эх, кончилось уж мое скаканье! – ответил Мацько. – До чего же я рад вас видеть. Боже ты мой, будто я уж в Богданце!

– А что с вами? Я слышал, вас немцы подстрелили.

– Подстрелили, собачьи дети! Жало застряло у меня между ребрами...

– Боже ты мой! Как же вы теперь? А медвежьего сала попить не пробовали?

– Вот видите, – сказал Збышко, – все советуют пить медвежье сало. Нам бы только доехать до Богданца! Сейчас же пойду на ночь с секирой под борть.

– Может, у Ягенки есть, а нет, так я у соседей спрошу.

– У какой Ягенки? Разве вашу не Малгохной звали? – спросил Мацько.

– Эх! Какая там Малгохна! Третья осень с Михайла пойдет, как Малгохна в могиле. Задорная была баба, царство ей небесное! Но Ягенка в мать уродилась, только что ещё молода...

...Вон уж видно горку нашу,
Дочка вышла вся в мамашу...
Гоп! Гоп!

...Говорил я Малгохне: не лезь на сосну, коль тебе пятьдесят годов. Какое там! Влезла. А сук под ней возьми и подломись, она и грянулась наземь! Скажу я вам, ямку выбила в земле, да через три дня Богу душу и отдала.

– Упокой, господи, её душу! – сказал Мацько. – Помню, помню... подбоченится, бывало, да начнет браниться, так слуги на сеновал прятались. Но хозяйка была замечательная! Значит, с сосны свалилась?.. Скажи пожалуйста!

– Свалилась, как шишка на зиму... Ох, и горевал я! После похорон так напился, что, верите, три дня не могли меня добудиться. Думали уж, что и я ноги протянул. А сколько я потом слез пролил – море! Но и Ягенка у меня хорошая хозяйка. Все сейчас у неё на руках.

– Я что-то плохо её помню. От горшка два вершка была, когда я уезжал. Под конем могла пройти, не достав до брюха. Эх, давно уж это было, сейчас она, верно, выросла.

– На святую Агнешку пятнадцать ей стукнуло; но я её тоже чуть не целый год не видал.

– Где же вы были? Откуда возвращаетесь?

– С войны. Какая мне нужда дома сидеть, коли у меня Ягенка?

Хоть Мацько и был болен, но, услышав о войне, насторожился и с любопытством спросил:

– Вы, может, были с князем Витовтом на Ворскле?

– Был! – весело ответил Зых из Згожелиц. – Только не дал ему Бог удачи: страшное поражение нанес нам Едигей. Сперва татары перестреляли нам коней. Татарин, он не пойдет врукопашную, как христианский рыцарь, а стреляет издали из лука. Нажмешь на него, а он убежит и опять из лука целится. Ну, что ты станешь с ним делать! А у нас, слышь, в войске рыцари всё силой своей похвалялись: «Мы, дескать, ни копий не склоним, ни мечей из ножен не выхватим, копытами эту нечисть растопчем!» Похвалялись это они, похвалялись, а тут как засвистят стрелы, инда все кругом потемнело! Кончилась битва, и что же? Из десяти едва один жив остался. Верите? Больше половины войска, семьдесят литовских и русских князей, осталось на поле боя, а уж бояр да всяких дворян, как они там зовутся, отроков[48], что ли, так и за две недели не счел бы.

– Слышал я про это, – прервал его Мацько. – И наших рыцарей, которые к князю пошли на подмогу, тоже тьма полегло.

– Да и крестоносцев девять человек, которые тоже служили у Витовта. А уж наших – пропасть; мы ведь народ такой – где другой прежде назад оглянется, мы оглядываться не станем. Великий князь больше всего полагался на наших рыцарей и в битве никого, кроме поляков, не хотел брать в свою охрану. Ха-ха! Все поле около него усеялось трупами, а ему хоть бы что! Погиб пан Спытко из Мельштына, и мечник Бернат, и стольник Миколай, и Прокоп, и Пшецлав, и Доброгост, и Ясько из Лязевиц, и Пилик Мазур, и Варш из Михова, и воевода Соха, и Ясько из Домбровы, и Петрко из Милославья, и Щепецкий, и Одерский, и Томко Лагода. Да разве их всех перечтешь! А некоторых татары просто утыкали стрелами, так что они стали похожи на ежей, – смех, да и только!

Он и впрямь рассмеялся, будто рассказывал веселенькую историю, и вдруг затянул песню:

Басурмана знай натуру,
Всю тебе исколет шкуру!

– Ну, а что же потом? – спросил Збышко.

– Потом великий князь бежал, а сейчас, как всегда, опять воспрянул духом. Он такой: чем больше его пригнешь к земле, тем сильнее распрямится, как ореховый прут. Бросились мы тогда к Таванскому броду защищать переправу. Подоспела к нам и новая горсточка рыцарей из Польши. Ну, ладно! Подошел на другой день Едигей, и татар с ним тьма-тьмущая, но уж ничего не мог поделаться. Ну и потеха была! Сунется он к броду, а мы его в рыло. Никак не мог прорваться. Мы их и перебили, и в плен захватили немало. Я сам поймал пятерых, вот везу их с собой в Згожелицы. Днем поглядите, что это за рожки.

– В Кракове толковали, будто война может перекинуться и в королевство.

– Ну, Едигей не такой дурак. Он отлично знал, какие у нас рыцари, знал и то, что самые славные остались дома, потому что королева была недовольна, что Витовт на свой страх затеял войну. Ух, и хитер же старый Едигей! Он у Тавани тотчас сообразил, что силы князя растут, и ушел себе прочь, за тридевять земель!..

– А вы вернулись?

– Я вернулся. Там больше нечего делать. А в Кракове я узнал, что вы выехали чуть пораньше меня.

– Так вы знали, что это мы едем?

– Знал, я ведь на привалах всюду про вас спрашивал.

Тут он обратился к Збышку:

– Господи боже мой, да ведь я тебя в последний раз мальчишкой видал, а сейчас хоть и темно, а можно догадаться, что молодец из тебя вышел, как тур. Ишь, сразу из самострела хотел стрелять!.. Побывал уж, видно, на войне.

– Я на войне сызмальства. Пусть дядя скажет, какой из меня воин.

– Незачем дяде говорить мне об этом. Я в Кракове видал пана из Тачева, он мне про тебя рассказывал... Сдается, этот мазур не хочет отдать за тебя свою дочку, ну, а я бы не стал так кобениться, потому ты мне по нраву пришелся... Позабудешь ты свою девушку, как увидишь мою Ягенку. Девка – что репа!..

– А вот и неправда! Не позабуду, хоть и десяток увижу таких, как ваша Ягенка.

– Я дам за ней Мочидолы с мельницей. Да на лугах, когда я уезжал, паслось десять добрых кобылиц с жеребятами... Небось не один ещё мне в ноги поклонится, чтоб я отдал за него Ягну!

Збышко хотел было сказать: «Только не я!» – но Зых из Згожелиц снова стал напевать:

Я вам в ножки поклонюся,
В жены дайте мне Ягнюсю!
Эх, чтоб вас!

– У вас все смешки да песни на уме, – заметил Мацько.

– Да, но скажите мне, что делают на небесах блаженные души?

– Поют.

– Ну, вот видите. А отверженные плачут. Я предпочитаю попасть не к плачущим, а к поющим. Апостол Петр тоже скажет: «Надо пустить его в рай, а то он, подлец, и в пекле запоет, а это никуда не годится». Гляньте – уж светает.

Действительно, уже вставал день. Через минуту все выехали на широкую поляну, где уже было совсем светло. На озерце, занимавшем большую часть поляны, рыбаки ловили рыбу; при виде вооруженных людей они бросили невод, выскочили из воды и, поспешно схватившись за дреколья, замерли с воинственным видом, готовые к бою.

– Они приняли нас за разбойников, – засмеялся Зых. – Эй, рыбаки, чьи вы будете?

Те ещё некоторое время стояли в молчании, недоверчиво поглядывая на путников, пока наконец старший рыбак не признал в незнакомцах рыцарей и не ответил:

– Да мы ксендза аббата из Тульчи.

– Это наш родич, – сказал Мацько, – у него в залоге Богданец. Верно, и леса его, только аббат, должно быть, недавно их купил.

– Как бы не так! – возразил Зых. – Он за эти леса воевал с Вильком из Бжозовой и, видно, отвоевал их. Еще год назад они за всю эту сторону должны были драться конные на копьях и на длинных мечах; уехал я и не знаю, чем это кончилось.

– Ну, мы с ним свояки, – заметил Мацько, – с нами он драться не станет, может быть, и выкупа поменьше возьмет.

– Может быть. Если с ним по-хорошему, так он и свое готов отдать. Не аббат, а рыцарь, шлем надевать ему не в диковину. И при всем том набожен и уж так-то хорошо служит. Да вы, верно, сами помните... Как рявкнет на обедне, так ласточки под крышей из гнезд вылетают. Ну, и люди ещё больше господу славят.

– Как не помнить! Бывало, как дохнет, так в десяти шагах свечи гаснут. Приезжал он хоть разок в Богданец?

– А как же! Приезжал. Пятерых новых мужиков с женами поселил на рощисти. И к нам, в Эгожелицы, тоже наезжал, – вы знаете, он у меня Ягенку крестил, старик её очень любит и называет доченькой.

– Дай-то Бог, чтобы он мне мужиков оставил, – сказал Мацько.

– Подумаешь! Что для такого богача пятеро мужиков! Да если Ягенка его попросит, он оставит.

Разговор на некоторое время оборвался, потому что из-за темного бора и из-за румяной зари поднялось ясное солнце и залило все кругом своим светом. Рыцари приветствовали восходящее солнце обычным «Слава Иисусу Христу!», а затем, перекрестившись, стали творить утреннюю молитву.

Зых кончил первым и, ударив себя несколько раз в грудь, обратился к товарищам:

– Ну, а теперь дайте я на вас погляжу хорошенько. Ну, и изменились же вы оба!.. Вам, Мацько, перво-наперво надо поправиться. Придется Ягенке этим заняться, а то в вашем доме бабы днем с огнем не сыщешь... Видно, видно, что осколок застрял у вас между ребрами... Плохо дело...

Затем он повернулся к Збышку:

– Ну-ка, покажись и ты... Боже милостивый! Да я помню, как ты маленький, бывало, уцепишься жеребенку за хвост и взберешься к нему на спину, а теперь, погляди-ка, какой из тебя вышел рыцарь!.. Лицом красная девица, а в плечах ничего, широк... Этаким и с медведем мог бы схватиться...

– Что ему медведь! – ответил на это Мацько. – Помоложе был, когда фризу пятерней все усы вырвал, тот, видишь ли, голоусым его назвал, ну, а ему это не понравилось.

– Знаю, – прервал Зых старика. – И то, что вы после дрались с фризами и захватили всех их слуг. Все это мне рассказывал пан из Тачева:

Немец здорово нажился,
Лёг в могилу в чем родился.

Гоп! Гоп!

И он стал весело подмигивать Збышку, а тот тоже воззрился с любопытством на его

длинную, как жердь, фигуру, на худое лицо с огромным носом и круглые смеющиеся глаза.

– О! – воскликнул Збышко. – Да если только дядя, Бог даст, выздоровеет, то с таким соседом не соскучишься.

– Лучше иметь веселого соседа, – ответил Зых, – потому что с ним не поссоришься. А теперь послушайте-ка, что я вам по-хорошему, по-христиански скажу. Давно вы не были дома, там у вас, в Богданце, мерзость запустения. Я не про хозяйство говорю, нет, аббат хорошо хозяйничал... и леса делянку выкорчевал, и на росчисти новых мужиков поселил... Но сам-то он только наезжает в Богданец, значит, в кладовой у вас пусто, да и в доме хорошо если найдется лавка да охапка гороховой соломы для спанья, а ведь больному нужны удобства. Знаете что: давайте поедем со мной в Згожелицы. Погостите у меня месячишко-другой, я очень буду рад вам, а Ягенка тем временем о Богданце подумает. Вы уж только во всем на неё положитесь, ни о чем не думайте... Збышко будет наезжать в Богданец, чтобы присмотреть за хозяйством, и ксендза аббата я привезу вам в Згожелицы, так что вы мигом тут с ним разочтетесь... А за вами, Мацько, дочка как за родным отцом будет ходить – ну, а вы знаете, больному человеку нет ничего лучше, когда баба за ним поухаживает. Ну же! Голубчики! Соглашайтесь!

– Все знают, что вы хороший человек и всегда были таким, – ответил растроганный Мацько, – но коли суждено мне помереть от проклятой занозы, что сидит у меня между ребрами, так уж лучше на своем пепелище. К тому же дома, коли ты и болен, все равно и порасспросишь кой о чем, и приглядишь, и порядок кое в чем наведешь. Коли зовет тебя господь на тот свет, что ж, ты тут не властен! Лучше ли, хуже ли будут глядеть за тобой, все равно не отвертись. А к походной жизни мы привычны. Кто несколько лет спал на голой земле, для того и охапка гороховой соломы хороша. Но спасибо вам за ваше доброе сердце, и ежели я не смогу вас за это отблагодарить, так Збышко, даст Бог, в долгу не останется.

Зых из Згожелиц, который и в самом деле славился своей добротой и отзывчивостью, продолжал настаивать на своем и упрашивать соседей; но Мацько уперся: помирать, так в своем углу! Целые годы снился ему Богданец во сне, и сейчас, когда родное гнездо чуть не рядом, ни за что на свете он не бросит его, хоть бы последнюю ночь пришлось ему там ночевать. Бог и так милостив, что дал ему силы дотащиться сюда.

Тут старик утер слезы, которые навернулись ему на глаза, огляделся кругом и сказал:

– Коли это леса Вилька из Бжозовой, то после полудня мы будем дома.

– Не Вилька из Бжозовой, а уже аббата, – заметил Зых.

Больной Мацько улыбнулся и немного погодя ответил:

– Коли аббата, так, может, когда-нибудь будут нашими.

– Смотрите-ка, только что говорил о смерти, – весело воскликнул Зых, – а сейчас уж хочет пережить аббата.

– Да это не я, а Збышко его переживет.

Дальнейший разговор прервали донесшиеся издали звуки рогов в лесу. Зых тотчас придержал коня и стал прислушиваться.

– Должно быть, кто-то охотится, – сказал он. – Погодите.

– Может, аббат. Вот бы хорошо было, если бы мы сейчас с ним встретились.

– Тише!

И Зых повернулся к людям:

– Стой!

Все остановились. Рога затрубили ближе, а через минуту раздался собачий лай.

– Стой! – повторил Зых. – Сюда идут!

Збышко соскочил с коня и крикнул:

– Дайте самострел! Может, зверь выбежит на нас! Скорей! Скорей!

И, вырвав самострел из рук слуги, он упер его в землю, прижал животом, наклонился, выгнув спину, как лук, и, схватив тетиву обеими руками, в мгновение ока натянул её на железный запор, вложил стрелу и бросился в лес.

– Натянул! Без рукояти натянул! – прошептал Зых, изумленный такой необыкновенной силой.

– Он у меня молодчина! – прошептал с гордостью Мацько.

Тем временем звуки рогов и собачий лай слышались ещё ближе, и вдруг справа в лесу раздался тяжелый топот, треск кустов и ветвей, и на дорогу из чащи вынесся стрелой старый бородатый зубр с огромной, низко опущенной головой, с налитыми кровью глазами и высунутым языком, задыхающийся, страшный. Подбежав к придорожному рву, он одним махом перескочил через него, упал с разбега на передние ноги, но тотчас поднялся и, казалось, готов был уже скрыться в лесной чаще по другую сторону дороги, когда вдруг зловеще зажужжала тетива самострела, послышался свист стрелы, и зверь встал на дыбы, завертелся на месте, взревел и, как громом сраженный, повалился наземь.

Збышко выглянул из-за дерева, опять натянул тетиву и, готовясь пустить новую стрелу, подкрался к поверженному быку, который ещё рыл задними ногами землю.

Однако, взглянув на зверя, он спокойно повернулся к своим и крикнул им издали:

– Так метко попал, что он даже под себя пустил!

– А чтоб тебя! – сказал, подъезжая, Зых. – Одной стрелой уложил!

– Да ведь близко, а стрела бьет со страшной силой. Посмотрите: не только жало, вся ушла под лопатку.

– Охотники уже недалеко, они, наверно, заберут его.

– Не дам! – отрезал Збышко. – Я его на дороге убил, а дорога ничья.

– А если это аббат охотится?

– Если аббат, так пускай забирает.

Тем временем из лесу вырвалось десятка полтора собак. Завидев зверя, они с пронзительным визгом кинулись на него, сбились в кучу и стали грызться между собой.

– Сейчас и охотники подоспеют, – сказал Зых. – Смотри, вон они, только выехали из лесу повыше нас и ещё не видят зверя. Эй! Эй! Сюда! Сюда! Вот он лежит! Вот!..

Внезапно Зых смолк, прикрыл рукой глаза и через минуту произнес:

– Господи боже! Что это? Ослеп я, или мне мерещится?..

– Один на вороном коне впереди едет, – сказал Збышко.

Но Зых вдруг крикнул:

– Иисусе Христе! Да это, сдаётся, Ягенка!

И неожиданно заорал:

– Ягна! Ягна!..

И тут же погнал вперед своего меринка; но не успел он пустить его рысью, как Збышко увидел самое удивительное зрелище на свете. Сидя по-мужски на горячем вороном коне, к ним во весь опор скакала девушка с самострелом в руке и с рогатиной за плечами. От стремительной скачки волосы у неё распустились, к ним пристали шишки хмеля; лицо её было румяно, как заря, рубашка на груди распахнута, а поверх рубашки накинут сердак овчиной наружу. Подскакав к путникам, девушка осадил коня; с минуту на лице её изображались то сомнение, то изумление, то радость, пока наконец она не уверилась окончательно, что все это не сон, а явь, и не крикнула тонким, ещё детским голосом:

– Папуся! Миленький папуся!

В мгновение ока она соскользнула со своего вороного и, когда Зых тоже соскочил с коня, чтобы поздороваться с дочкой, бросилась отцу на шею. Долгое время Збышко слышал только звуки поцелуев и два слова: «Папуся! Ягуся! Папуся! Ягуся!» – которые отец с дочерью в восторге повторяли без конца.

К ним уже подъехали люди, подъехал и Мацько на телеге, а они всё ещё повторяли: «Папуся! Ягуся!» – и всё ещё обнимали друг друга. Когда они наконец нацеловались и наобнимались, Ягенка забросала отца вопросами:

– С войны возвращаетесь? Здоровы?

– С войны. С чего это мне не быть здоровым? А как ты? А младшие братишки? Надеюсь, здоровы, а? Иначе ты бы не скакала по лесам. Но что это ты здесь делаешь, дочка?

– Да вот, как видите, охочусь, – смеясь, ответила Ягенка.

– В чужих лесах?

– Аббат позволил. И псарей прислал мне с собаками.

Тут она повернулась к своей челяди:

– Ну-ка, отгоните собак, а то изорвут шкуру!

А затем опять обратилась к Зыху:

– Ах, как я рада, как я рада, что вы приехали!.. У нас все благополучно.

– А ты думаешь, я не рад? – сказал Зых. – Дай-ка, дочка, я ещё разок тебя чмокну!

И они снова стали целоваться, а когда кончили, Ягна сказала:

– Далеколько мы от дому отбились... Ишь куда заскакали, покуда травили этого зверину. Пожалуй, две мили гнали, кони и то притомились. Но какой могучий зубр, видали?.. Верных три стрелы я в него всадила, а последней, должно быть, и кончила.

– Всадить-то всадила, да не кончила: его вон тот молодой рыцарь подстрелил.

Ягенка откинула рукой прядь волос, спустившуюся на глаза, и бросила на Збышка быстрый и не особенно доброжелательный взгляд.

– Знаешь, кто это? – спросил Зых.

– Нет, не знаю.

– И не диво, что ты его не признала, вон как он вырос. Ну, а может, признаешь старого Мацька из Богданца?

– Боже мой! Так это Мацько из Богданца! – воскликнула Ягенка.

И, подойдя к телеге, она поцеловала Мацьку руку.

– Вы ли это?

– Я самый. Только вот на телеге, потому немцы меня подстрелили.

– Какие немцы? Война была с татарами. Уж это-то я знаю, – сколько я батюшку молила взять меня с собой.

– Война-то была с татарами, да мы на ней не были, мы со Збышком воевали тогда на Литве.

– А где же Збышко?

– Неужто ты его не признала? – засмеялся Мацько.

– Так это Збышко? – воскликнула девушка, снова бросив взгляд на юношу.

– Конечно!

– Ну, подставляй ему губы, вы ведь знакомы! – весело крикнул Зых.

Ягенка с живостью повернулась к Збышку, но вдруг попятилась и, закрывшись рукой, сказала:

– Мне стыдно...

– Мы ведь с малых лет знакомы! – заметил Збышко.

– Да! Хорошо знакомы. Я помню вас, хорошо помню. Лет восемь назад вы приехали как-то к нам с Мацьком, и покойница матушка принесла нам орехов с медом. Не успели старшие выйти из горницы, как вы ткнули мне кулаком в нос да сами орехи и съели!

– Сейчас он бы этого не сделал! – сказал Мацько. – Он и у князя Витовта бывал, и в краковском замке, так что знает придворный обычай.

Но тут Ягенка вспомнила совсем про другое и, обратившись к Збышку, спросила:

– Так это вы убили зубра?

– Я.

– Давайте поглядим, где у него торчит стрела.

– Да её не увидишь, она вся ушла под лопатку.

– Брось, не спорь, – сказал Зых. – Все мы видели, как он подстрелил зубра, да то ли ещё: ты знаешь, он вмиг натянул самострел без рукояти.

Ягенка в третий раз поглядела на Збышка, на этот раз с удивлением.

– Вы без рукояти самострел натянули? – спросила она.

Уловив в её голосе недоверие, Збышко упер в землю самострел со спущенной тетивой, вмиг натянул его так, что заскрипела железная дуга, и, желая показать, что знает придворный обычай, преклонил колено и протянул самострел Ягенке.

Вместо того чтобы взять у него из рук самострел, девушка неожиданно покраснела, сама не зная почему, и стала торопливо завязывать под горлом домотканую сорочку, раскрывшуюся от быстрой езды по лесу.

XI

На другой день после приезда в Богданец Мацько и Збышко принялись за осмотр своих старых владений и вскоре убедились, что Зых из Згожелиц был прав, когда говорил, что на первых порах им дома придется туго.

С хозяйством дела шли не так уж плохо. Поля кое-где были возделаны прежними их мужиками или новыми поселенцами аббата. Когда-то в Богданце было гораздо больше

земельных угодий; но в битве под Пловцами род Градов почти совсем погиб, стало не хватать работников, а после набега учиненного силезскими немцами, и войны Гжималитов с Наленчами некогда плодородные нивы Богданца почти сплошь поросли лесом. Одному Мацьку поднять хозяйство было не под силу. Лет пятнадцать назад он тщетно пытался привлечь вольных крестьян из Кшесни, отдав им землю исполу, но они предпочли оставаться на собственных клочках, чем возделывать чужую землю. Правда, ему удалось прельстить кое-кого из бродяжьего люда, захватить в войнах десятка полтора невольников, переженить и расселить всех их по хатам – и деревня таким образом стала подниматься. Но уж очень все это было трудно, и, как только представился случай, Мацько поспешил отдать Богданец в залог, справедливо полагая, что богатому аббату легче будет освоить землю, а он со Збышком добудут тем временем на войне невольников и денег. Аббат оказался дельным хозяином. Он увеличил на пять крестьянских семей рабочую силу, приумножил стадо скота и табун лошадей, построил амбар, плетёный коровник и такую же конюшню. Но в Богданце он постоянно не жил и о доме не заботился, так что Мацько, который иногда мечтал найти после возвращения усадьбу, обнесенную рвом и острогом, застал все в прежнем виде, с той лишь разницей, что углы у дома покосились и весь он так осел и врос в землю, что показался старику ещё приземистей, чем раньше.

Дом состоял из обширных сеней, двух больших горниц с боковушами и кухни. Окна в горницах были затянуты пузырем, посредине в глинобитном полу был сложен очаг; топили по-черному, и дым выходил в щели в потолке. Этот совершенно почерневший потолок в лучшие времена служил коптильней, – на вбитых в балки кольешках подвешивали тогда свиньи, кабаньи, медвежьи и лосиные окорока, олени и серновые огузки, воловьи хребты и целые кольца колбас. Однако сейчас крючья в Богданце были так же пусты, как и полки вдоль стен, где в других шляхетских домах стояли оловянные и глиняные миски. Только под полками стены не казались такими голыми. Збышко велел слугам развесить там панцири, шлемы, короткие и длинные мечи, рогатины, вилы, самострелы, рыцарские копья и, наконец, щиты, секиры да конские чепраки. Оружие и броня чернели от дыма, и их приходилось часто чистить, зато все было под рукой, да и шашель не точил древки копий, ложа самострелов и рукояти секир. Дорогие одежды предусмотрительный Мацько велел перенести в боковушу, которая служила ему спальней.

В передних горницах, под затянутыми пузырем окнами, стояли столы, сколоченные из сосновых досок, и такие же скамьи; хозяева за стол садились вместе с челядью. Не много было нужно людям, за годы войны отвыкшим от удобств; но в Богданце не хватало хлеба, муки и прочих припасов, особенно же утвари. Мужики принесли своим хозяевам все что могли; но Мацько возлагал надежды главным образом на соседей, рассчитывая, что они, как всегда бывает в таких случаях, придут соседу на помощь; что до Зыха из Згожелиц, то он и в самом деле не обманулся в своих ожиданиях.

На другой день после приезда старик посиживал себе на бревне перед домом, наслаждаясь прекрасной осенней погодой, когда во двор на том же вороном коне въехала Ягенка. Слуга, который колот у плетня дрова, хотел помочь ей спешиться, но она вмиг сама спрыгнула на землю и подошла к Мацьку, запыхавшаяся от быстрой езды и румяная, как яблочко.

– Слава Иисусу Христу! Я приехала передать вам поклон от батюшки и справиться о вашем здоровье.

– Да не хуже, чем было в пути, – ответил Мацько. – Я хоть отоспался на своей постели.

– Очень уж у вас, должно быть, неудобно, а вы человек больной, вам уход нужен.

– Мы народ крепкий. Оно попервоначалу хоть и нет удобств, да и голода нету. Велели мы вола зарезать да пару овец, вот мяса у нас и вдосталь. Бабы мучицы да яиц принесли, маловато, правда, ну, а все-таки хуже всего у нас с утварью.

– Я велела нагрузить для вас две телеги. На одной везут две постели и утварь, а на другой – всякий припас. Лепешки, муку, сало, сушеные грибы, бочонок пива да бочонок меду – всего понемножку, что только нашлось в доме.

Мацько, который всегда был рад любому прибытку, погладил Ягенку по голове и сказал:

– Спасибо и тебе, и твоему батюшке. Как разживемся, все отдадим.

– Что вы! Да разве мы немцы, чтоб дареное отбирать назад!

– Ну, тогда вдвойне спасибо. Говорил твой батюшка, что очень ты у него хозяйка хорошая. Так это ты цельный год одна заправляла всем в Згожелицах?

– Да пришлось!.. Коли вам ещё что понадобится, так вы кого-нибудь из слуг пришлите, да потолковей, чтоб знал, чего надобно, – а то приедет ещё такой дурень, что и знать толком не будет, зачем его послали.

Тут Ягенка стала украдкой поглядывать по сторонам; заметив это, Мацько заулыбался.

– Кого это ты ищешь? – спросил он.

– Да нет, никого!

– Я Збышка пришлю поблагодарить тебя с батюшкой за подарок. Ну как, пришелся тебе Збышко по вкусу?

– Да я не присматривалась!

– А ты присмотришь, вот он и сам идет.

От водопоя в самом деле шел Збышко; увидев Ягенку, он ускорил шаг. На нем был лосиный кафтан и круглая поярковая шапочка, какие надевают под шлем, волосы, ровно подстриженные над бровями, не были убраны под сетку и золотыми кудрями рассыпались по плечам; Збышко шел скорым шагом, рослый, пригожий, прямо оруженосец из знатного дома.

Ягенка совсем от него отвернулась, желая показать, что она приехала к одному только Мацьку; но Збышко весело поздоровался с нею и, взяв её руку, поднес к губам, несмотря на сопротивление девушки.

– С чего это ты мне руку целуешь? – спросила она. – Разве я ксендз?

– Не противьтесь! Это такой обычай.

– Да коли б он тебе и другую руку поцеловал за то, что ты привезла, – вмешался

Мацько, – и то не было б много.

– Что привезла? – спросил Збышко, озираясь и ничего не видя, кроме вороного коня, стоявшего на приколе.

– Телеги ещё не приехали, скоро будут, – ответила Ягенка.

Мацько стал перечислять все, что девушка привезла, ничего при этом не пропуская; когда он вспомнил про две постели, Збышко сказал:

– Да я бы и на шкуре зубра поспал, но спасибо вам за то, что и про меня не забыли.

– Это не я, а батюшка, – краснея, ответила девушка. – Коли вам на шкуре лучше, что ж, никто не неволит...

– Я привык на чём придется. На поле боя случалось спать с убитым крестоносцем в головах.

– Неужто вам случилось убить крестоносца? Да нет, вряд ли!

Збышко вместо ответа рассмеялся.

– Побойся ты, девушка, Бога! – воскликнул Мацько. – Ты его совсем не знаешь! Ничего он другого не делал, только немцев бил, так что стон стоял. Он готов драться на копьях, на секирах, как угодно, а уж коли завидит издали немца, нет ему удержу, так и рвется в бой. В Кракове он даже хотел напасть на посла Лихтенштейна и за это чуть не поплатился головой. Вот он какой молодец! Я тебе и про двух фризов расскажу, у которых мы захватили и людей, и такую богатую добычу, что половины её хватило бы на выкуп Богданца.

И Мацько стал рассказывать о поединке с фризскими рыцарями, а затем и о других приключениях, которые с ними случались, и о других подвигах, которые им пришлось совершить. Из-за стен и в открытом поле бились они с самыми славными рыцарями, какие только живут в чужих краях. Бились с немцами, бились с французами, бились с англичанами и бургундцами. Случалось бывать им в таких жестоких битвах, когда кони, люди, оружие, немцы и перья – все мешалось в кучу. А чего только они при этом не навидались! Видали они и замки крестоносцев из красного кирпича, и литовские деревянные городки и храмы, каких здесь не встретишь во всей окрестности, и города, и дремучие леса, где по ночам жалобно стонали изгнанные из капищ литовские божки, и всякие иные чудеса, и, когда дело доходило до драки, Збышко всегда был впереди, так что самые славные рыцари не могли на него надивиться.

Ягенка присела на бревно рядом с Мацьком и, раскрыв рот, слушала рассказ старика и так вертела головкой то в сторону Мацька, то в сторону Збышка, точно она была у неё на шарнирах; при этом глаза девушки все с большим восхищением останавливались на молодом рыцаре. Когда Мацько наконец кончил, она вздохнула и сказала:

– И какое это счастье уродиться хлопцем!

Но Збышко, который, слушая рассказ Мацька, тоже все приглядывался к Ягенке, думал, видно, о другом, потому что неожиданно сказал:

– Какая же вы красавица!

То ли с досадой, то ли с грустью Ягенка ответила:

– Уж будто вы краше не видывали.

Збышко, положив руку на сердце, мог сказать ей, что не много случалось ему видеть таких красавиц: она просто кипела здоровьем, силой и молодостью. Старый аббат не зря говорил, что Ягенка схожа и на сосенку, и на калину. Все в ней было красиво: и стройный стан, и широкие плечи, и точеная грудь, и алые губы, и быстрые голубые глаза. И оделась она в этот раз получше, чем в лесу на охоте. На шее у неё были красные бусы, шубка, крытая зеленым сукном, была раскрыта на груди, юбка домотканая в полоску, сапожки новые. Даже старый Мацько обратил внимание на красивый наряд девушки и, с минуту поглядев на неё, спросил:

– Что это ты разрядилась, как на престольный праздник?

Но она вместо ответа крикнула:

– Едут, едут!..

Когда телеги въехали во двор, она побежала навстречу, а за нею последовал Збышко. К большому удовольствию Мацька, телеги разгружали до самого заката; каждую вещь старик рассматривал по отдельности и при этом знай похваливал Ягенку. Уже совсем смерклось, когда девушка стала собираться домой. Когда она хотела сесть на коня, Збышко неожиданно подхватил её, и не успела она слово вымолвить, как он поднял её вверх и усадил в седло. Ягенка зарумянилась, как алая зорька, и, повернувшись к нему лицом, сказала вполголоса:

– Какой же вы богатырь!..

Не заметив в темноте ни румянца её, ни смущения, Збышко рассмеялся и спросил:

– А зверей вы не боитесь?.. Ведь уж ночь!

– На телеге лежит рогатина... подайте мне её.

Збышко пошел к телеге, достал рогатину и подал её Ягенке.

– Будьте здоровы! – попрощался он с девушкой.

– Будьте здоровы!

– Спасибо вам за все! Завтра, а нет, так послезавтра, я приеду спасибо сказать и вам, и вашему батюшке за ваше доброе сердце.

– Приезжайте! Мы будем вам рады. Ну, трогай!

И, тронув коня, она через минуту скрылась в придорожных кустах.

Збышко вернулся к дяде.

– Вам домой пора.

Но Мацько, не поднимаясь с бревна, сказал:

– Эх! Что за девушка! Все кругом от неё будто стало светлей!

– Это верно!

На минуту воцарилось молчание. Глядя, как в небе зажигаются звезды, Мацько, казалось, о чем-то раздумывал, затем снова сказал будто про себя:

– И ласкова-то, и хозяйка хорошая, а ведь ей всего пятнадцать лет...

– Да, – сказал Збышко, – старый Зых бережет её как зеницу ока.

– Он говорил, что даст за ней Мочидолы, а там на лугах пасется табунок кобылиц с жеребятами.

– Не в мочидольских ли лесах страшные болота?..

– Зато там бобровьи гоны.

И снова воцарилось молчание. Некоторое время Мацько искоса поглядывал на Збышка, а затем спросил:

– Что это ты так призадумался? Что пригорюнился?

– Да так... знаете... поглядел на Ягенку, и так мне Дануська вспомнилась, даже сердце защемило.

– Пойдем-ка домой, – сказал на это старик. – Поздно уж.

Он с трудом поднялся и, опершись на Збышка, прошел с ним в боковушу.

Мацько так торопил Збышка, что тот на другой же день поехал в Згожелицы. Старик настоял, чтобы племянник для пущей торжественности взял с собою двоих слуг и оделся понарядней, принеся тем самым дань уважения Зыху и выказав ему свою признательность. Збышко уступил старику и уехал, разрядившись, как на свадьбу, все в тот же добытый в бою полукафтан из белого атласа, расшитый золотыми грифами, с золотой оторочкой по низу. Зых принял его с распростертыми объятиями, песни пел и веселился, а Ягенка, переступив порог горницы и увидев молодого рыцаря, остановилась как вкопанная и чуть не уронила баклажку с вином, – ей почудилось, что это к ним явился сам королевич. Девушка так заробела, что за столом сидела в молчании, только то и дело глаза протирала, словно хотела очнуться ото сна. Неискушенный Збышко решил, что она, по неизвестной ему причине, не рада его приезду, и беседовал только с Зыхом, превознося щедрость соседа и расхваливая его владения, которые и в самом деле вовсе не были похожи на Богданец.

Во всем были видны достаток и богатство. Окна в горницах были из рога, остроганного и отшлифованного так тонко, что он был прозрачен почти как стекло. Вместо очага посреди горницы, по углам стояли большие печи с шатрами. Пол из лиственничных досок был чисто вымыт, на стенах – оружие и множество мисок, сверкавших, как солнце, да красивых резных ложечниц с рядами ложек, из которых две были серебряные. Кое-где висели парчовые узорчатые ковры, добытые на войне или приобретенные у коробейников. Под столами лежали огромные рыжие туры шкуры

да шкуры зубров и кабанов. Зых с удовольствием показывал Збышку свои богатства, то и дело приговаривая, что все это дело рук Ягенки. Он повел Збышка и в боковушу, где все пропахло живицей и мятой, а под потолком висели целые связки волчьих, лисьих, куньих и бобровых шкур. Он показал Збышку сушильню для сыра, кладовые с воском и медом, бочки с мукой, кладовые с сухарями, пенькой и сушеными грибами. Затем он повел его в амбары, коровники, конюшни и хлева, в сараи, где стояли телеги и хранились охотничьи принадлежности и сети, и так ослепил его своим богатством, что Збышко, вернувшись к ужину, не мог скрыть своего изумления.

– Жить не нажиться в ваших Згожелицах, – сказал он хозяину.

– И в Мочидолах у нас почти что такие порядки, – заметил Зых. – Ты помнишь Мочидолы? Это по дороге на Богданец. В старину наши отцы о меже спорили и вызовы посылали друг дружке на поединок, ну, а я уж ссориться не стану.

Он поднял кубок меду и, чокнувшись со Збышком, спросил:

– А попеть тебе неохота?

– Нет, – ответил Збышко, – мне вас любопытно послушать.

– Згожелицы, слышь ты, медвежатам достанутся. Только бы они потом не передрались из-за них...

– Каким медвежатам?

– Да сынишкам моим, братишкам Ягенки.

– Да, им зимой лапу сосать не понадобится.

– Что правда, то правда. Ну, и Ягенке в Мочидолах найдется кусочек сальца.

– Да уж наверно!

– Что это ты не ешь, не пьешь? Налей-ка нам, Ягенка!

– Да нет, я и ем, и пью вволю.

– Тяжело станет, так ты распусти пояс. Хорош у тебя пояс! Вы на Литве, верно, тоже взяли богатую добычу?

– Грех жаловаться, – ответил Збышко, пользуясь случаем, чтобы показать, что шляхтичи из Богданца тоже не какая-нибудь мелкая сошка. – Часть добычи мы продали в Кракове и выручили сорок гривен серебром...

– Что ты говоришь! Да за такие деньги можно целую деревню купить!

– У нас была миланская броня, так дядя её продал, думал, смерть уж у него за плечами, а вы знаете, миланской броне...

– Знаю. Цены нет. Выходит, на Литву стоит идти. А я хотел когда-то, да побоялся.

– Кого? Крестоносцев?

– Э, чего бы я стал их бояться? Покуда тебя не убили, страшиться нечего, ну, а убили, так какие уж тут страхи. Я ихних божков боялся, нечисти всякой. Там в лесах они так и кишат.

– Куда же им деваться, коли капища их пожгли?.. Когда-то они жили богато, а теперь одними грибами да муравьями кормятся.

– А ты видал их?

– Я не видал, да слышал, что другие видали... Высунет такой божок из-за дерева косматую лапищу и показывает тебе: дескать, подай...

– И Мацько про это рассказывал, – вмешалась Ягенка.

– Да! Он по дороге и мне про это говорил, – прибавил Зых. – Да и не диво! Взять хоть бы и нас, живем мы как будто в христианской стороне, а порой и у нас на болоте кто-то смеется, да и дома, хоть и бранятся ксендзы, а все лучше оставлять этой нечисти на ночь миску с едой, иначе так станет в стену скрестись, что глаз не сомкнешь... Ягенка, доченька... поставь-ка миску у порога!

Ягенка взяла глиняную миску, в которой было полно клецок с сыром, и поставила её у порога.

– Ксендзы бранятся, – заметил Зых, – поносят нас. Да ведь Христа от клецок не убудет, а нечисть, коли она сыта и довольна, убережет дом и от огня и от вора.

Тут он снова повторил Збышку:

– Ты бы распустил пояс да песенку спел.

– Уж лучше вы спойте, я вижу, вам давно хочется, а то, может, панна Ягенка что-нибудь споет?

– Давайте петь по очереди, – воскликнул обрадованный Зых. – Есть у меня тут слуга, он на дудке будет нам вторить. Позвать слугу!

Позвали слугу, тот уселся на скамеечке, сунул в рот свою «пищалку» и, расположив на ней пальцы, уставился на присутствующих в ожидании, кому же ему придется вторить.

Все стали спорить, никто не хотел быть первым. Наконец Зых велел начать Ягенке, и хотя девушка очень стеснялась Збышка, однако поднялась со скамьи, спрятала руки под фартук и затянула песню:

Ах, когда б я пташкой
Да летать умела,
Я бы в Силезию
К Ясю улетела!..

Широко раскрыв глаза, Збышко вскочил с места и крикнул громовым голосом:

– А вы откуда знаете эту песню?

Ягенка воззрилась на него в изумлении:

– Да ведь её все поют... Что вы?

Зых решил, что Збышко хватил лишнего, и, повернувшись к нему, весело сказал:

– Распусти пояс! Сразу легче станет!

Но Збышко ещё с минуту времени стоял с изменившимся лицом, а затем, совладав с собою, сказал Ягенке:

– Простите. Вспомнилось мне вдруг одно дело. Пойте же.

– А может, вам невесело слушать?

– Что вы? – ответил он дрогнувшим голосом. – Да я б эту песню всю ночь напролет слушал.

Он сел и, прикрыв рукою глаза, умолк, словечка больше не уронил.

Ягенка спела другой куплет, но, кончив, заметила, что у Збышка по пальцам катится большая слеза.

Она с живостью подвинулась к молодому рыцарю, села рядом и, легонько толкнув его локтем, спросила:

– Что с вами? Я не хочу, чтобы вы плакали. Да скажите же, что с вами?

– Ничего, ничего, – ответил Збышко со вздохом. – Долго рассказывать... Что было, то прошло. Вот я и развеселился...

– А может, вы бы выпили сладкого вина?

– Обходительная девка! Да что же это вы выкаете друг дружке? – воскликнул Зых. – Говори ему: «ты, Збышко», а ты ей: «ты, Ягенка». Ведь вы с малых лет знакомы...

Затем он обратился к дочери:

– А что он когда-то отколотил тебя, это пустое!.. Сейчас он этого не сделает.

– Не сделаю! – весело подхватил Збышко. – Пускай теперь она меня отколотит, коли есть охота.

Желая совсем развеселить Збышка, Ягенка сжала кулачок и, смеясь, стала в шутку бить его.

– Вот тебе за мой разбитый нос! Вот тебе! Вот тебе!

– Вина! – крикнул, разгулявшись, хозяин Эгожелиц.

Ягенка сбегала в кладовую и через минуту принесла ковш вина, два красивых кубка с вытисненными на них серебряными цветами, работы вроцлавских золотых дел мастеров, и две головки сыра, от которых ещё издали шел сырный дух.

Когда взору Зыха, у которого уже шумело в голове, представилось это зрелище, он

окончательно расчувствовался, придвинул к себе ковш, прижал его к груди и, решив, видно, что это Ягенка, заговорил:

– Моя ты доченька! Моя сироточка! Что я, бедный, стану делать в Згожелицах, как тебя возьмут у меня, что я стану делать!..

– А придется вам вскорости отдавать её! – воскликнул Збышко.

Но расчувствовавшийся было Зых уже смеялся:

– Ха-ха! Девке пятнадцать лет, а она уже к парням льнет!.. Как завидит издалека, так ногами и засучит.

– Батюшка, я уйду! – сказала Ягенка.

– Не уходи! Мне хорошо с тобой...

Затем он стал таинственно подмигивать Збышку:

– Двое их повадились к ней: молодой Вильк, сын старого Вилька из Бжозовой, и Чтан[49] из Рогова. Да если б они тебя здесь застали, тотчас бы взъелись и стали грызться с тобой, как грызутся друг с дружкой.

– Эва! – воскликнул Збышко.

Затем, обратившись к Ягенке на «ты», как велел Зых, он спросил у неё:

– А который тебе люб?

– Да ни тот, ни другой.

– Вильк сердитый парень! – заметил Зых.

– Пускай на других воеет![50]

– А Чтан?

Ягенка рассмеялась.

– У Чтана, – сказала она Збышку, – кудлы на голове все равно как у козла, глаз даже не видно, а сала на нем как на медведе.

Тут Збышко хлопнул себя по голове, словно что-то внезапно вспомнив, и сказал:

– Ах, да! Уж коли вы так добры к нам, так нельзя ли попросить у вас медвежьего сала – может, найдется в доме, дяде полечиться нужно, а в Богданце я не нашел.

– Было, – ответила Ягенка, – да слуги вынесли во двор луки смазывать, а собаки все выжрали... Экая жалость!

– Совсем ничего не осталось?

– Все дочиста вылизали!

- Что ж, ничего не поделаешь, придется завтра поискать в лесу.
- Вы облаву устройте, медведи в лесу встречаются, а коли вам охотничье снаряжение нужно, так мы дадим.
- Где мне ждать! Пойду на ночь под борти.
- Возьмите с собой человек пять охотников. Между ними есть дельные парни.
- Не пойду я с кучей народу, только зверя мне спугнут.
- Как же вы пойдете? С самострелом?
- Что в лесу в потемках делать с самострелом? Месяц ещё не народился. Возьму зазубренные вилы да хороший топор и завтра пойду один.

Ягенка на минуту умолкла, на лице её изобразилось беспокойство.

– В прошлом году, – сказала она, – пошел вот так наш охотник Бездух, и медведь задрал его. Опасное это дело: ночью медведь как увидит человека, особенно около бортей, тотчас становится на задние лапы.

– Ну, если б он стал убежать, так его тогда и не убить бы, – возразил Збышко.

Тем временем Зых, который успел уже маленько вздремнуть, неожиданно проснулся и запел:

Тебя, Куба, ждет работа,
А мне, Мацьку, неохота.
В поле ты пахать пустое,
С Касей в жито я густое!
Гоп! Гоп!
Затем он обратился к Збышку:

– Слышь ты, двое их у неё: Вильк из Бжозовой да Чтан из Рогова... а ты...

Но Ягенка, опасаясь, как бы Зых не сказал чего лишнего, торопливо подошла к Збышку и спросила:

– Так когда ты пойдешь? Завтра?

– Завтра после захода солнца.

– А к каким бортям?

– К нашим, к богданецким, неподалеку от вашей межи, у Радзиковского болота. Мне говорили, будто там легко встретить мишку.

XII

Збышко как задумал, так на другой день и отправился на медведя, потому что Мацьку становилось все хуже. Сперва от радости старик было ожил и занялся даже домашними делами, но на третий день у него снова открылся жар и начались такие боли в боку, что он вынужден был слечь в постель. В лес Збышко ходил сперва днем, он осмотрел борти, заметил поблизости огромный след на болоте и поговорил

с бортником Вавреком, который летом ночевал неподалеку в шалаше с парой свирепых подгальских псов, но с наступлением осенних холодов уже должен был перебраться в деревню.

Оба они со Збышком разбросали шалаш, прихватили с собою собак, а по дороге там и тут смазали медом стволы деревьев, чтобы приманить запахом зверя; затем Збышко вернулся домой и стал готовиться к охоте. Для тепла он надел лосиную безрукавку, а на голову, чтобы медведь не содрал ему кожу, натянул сетку из железной проволоки; с собою он прихватил крепко окованные двузубые вилы с зазубринами и широкую стальную секиру на дубовой рукояти подлиннее, чем у плотников. К вечернему удою он уже был у цели и, выбрав местечко поудобней, перекрестился, засел в засаду и стал ждать.

В просветах между ветвями ельника сквозили красные лучи заходящего солнца. В вершинах сосен, каркая и хлопая крыльями, летали вороны; кое-где пробегали к воде зайцы, и под лапками их шуршали пожолклые кустики ягод и опавшая листва, порой по молодому буку скользила юркая куница. В чаще ещё слышался постепенно умолкавший птичий гомон.

Солнце уж совсем закатывалось за горизонт, а бор всё ещё не стихал. Вскоре мимо Збышка со страшным шумом и хрюканьем прошло поодаль стадо диких кабанов, затем, положив друг дружке головы на круп, длинной вереницей пронеслись лоси. Сухие ветви трещали у них под копытами, и лес стонал, а они, отливая на солнце рыжей шерстью, скакали к болоту, где ночью им было спокойнее и безопасней. Наконец в небе зажглась заря, верхушки сосен словно запылали в огне, и кругом все медленно стало затихать. Лес погружался в сон. Снизу, от земли, поднималась тьма и устремлялась ввысь к пылающей заре, которая тоже стала таять, хмуриться, меркнуть и гаснуть.

«Сейчас, – подумал Збышко, – покуда не завоят волки, все будет тихо».

Однако он пожалел, что не взял с собою самострела, которым легко мог уложить дикого кабана или лося. Меж тем от болота некоторое время доносились ещё какие-то приглушенные звуки, как будто тяжелые вздохи и посвист. Збышко с опаской поглядывал в сторону этого болота, где жил когда-то в землянке мужик Радзик, который бесследно пропал вместе с семьей, словно сквозь землю провалился. Одни говорили, будто его угнали с семьей разбойники, но другие замечали потом около землянки какие-то странные, не то человеческие, не то звериные следы и с сомнением покачивали головой, подумывая даже о том, не позвать ли ксендза из Кшесни освятить землянку. До этого дело не дошло, так как в землянке никто не захотел поселиться и халупу эту, вернее, глину на хворостяных стенах, размыли со временем дожди; однако само место пользовалось дурной славой. Правда, бортник Ваврек, который летом ночевал здесь в шалаше, не обращал на это внимания, но о самом Вавреке люди тоже разное болтали. Вооруженный топором и вилами, Збышко не боялся диких зверей, но он с беспокойством думал о нечистой силе и обрадовался, когда все звуки на болоте затихли.

Догорели последние отблески заката, и спустилась глубокая ночь. Ветер умолк, не слышно стало и обычного шума в верхушках сосен. Порой то там, то тут падала шишка, рождая в немом безмолвии сильный и гулкий отзвук, но потом снова воцарялась такая тишина, что Збышко слышал собственное дыхание.

Он долго сидел так, раздумывая сперва о медведе, который вот-вот мог прийти

сюда, а потом о Данусе, о том, как уезжала она в дальний край с мазовецким двором. Он вспомнил, как поднял её на руки в минуту расставанья с нею и с княгиней и как у него по щеке катились со слезы, вспомнил её ясное личико, её непокрытую голову, её венки из васильков, её песни, её красные с длинными носками башмачки, которые он целовал, прощаясь; вспомнил все, что произошло с той минуты, как они познакомились, и так жалко стало ему, что нет её рядом, такая овладела тоска по ней, что, предавшись печали, он совсем позабыл, что сидит в лесу и подстерегает зверя в засаде, и стал говорить про себя:

«Я поеду к тебе, потому что нет мне жизни без тебя».

Он чувствовал, что это правда, что он должен охотиться в Мазовию, иначе зачахнет в Богданце. Ему вспомнился Юранд и странное его упорство, он подумал, что тем более надо ехать, чтобы узнать, какая за этим кроется тайна, какие преграды стоят на его пути и нельзя ли убрать их, вызвав кого-нибудь на смертный бой. Наконец, ему привиделось, что Дануся протягивает к нему руки, зовет его: «Ко мне, Збышко, ко мне!» Как же не ехать к ней!

Он не спал, однако так явственно видел её, будто она явилась ему или приснилась во сне. Едет сейчас Дануся, сидя рядом с княгиней, наигрывает ей на своей маленькой лютне и напевает, а сама думает о нем. Думает о том, что увидит его вскорости, а может, озирается, не мчится ли он вскачь следом за ними, — а он тут вот, в темном бору.

Тут Збышко очнулся, и не только потому, что вспомнил про темный бор, но и по той причине, что позади него в отдалении послышался какой-то шорох.

Он крепче сжал вилы в руках и, насторожась, стал прислушиваться.

Шорох слышался все ближе, скоро он стал совершенно явственным. Под чьей-то осторожной ногой трещали сухие ветки, шуршали кустики ягод и опавшая листва... Кто-то шел.

По временам шорох замирал, будто зверь останавливался под деревом, и тогда наступала такая тишина, что у Збышка начинало звенеть в ушах, затем снова раздавались медленные, осторожные шаги. Кто-то приближался с такими предосторожностями, что Збышко просто пришел в изумление.

«Косолапый, надо думать, боится собак, которые жили здесь у шалаша, — сказал он про себя, — но, может, это волк меня учуял».

Меж тем шаги затихли. Однако Збышко явственно слышал, что кто-то остановился шагах в двадцати — тридцати от него и как будто присел. Он оглянулся раз, другой, но, хотя деревья рисовались во мраке, ничего не мог разглядеть. Ему оставалось лишь ждать.

Ждать пришлось так долго, что Збышко опять растерялся.

«Медведь не пришел бы сюда, под борть, спать, а волк давно бы меня учуял и тоже не стал бы ждать до утра».

И вдруг холод ужаса пробежал у него по телу.

А что, если это вылезла из болота какая-нибудь нечисть и подбирается сзади к

нему? А что, если его схватят вдруг ослизлые руки утопленника или заглянут в лицо зеленые глаза упыря; что, если за спиной у него раздастся чей-то страшный хохот или из-за сосны покажется синяя голова на паучьих ножках?

Он почувствовал, что под железным колпаком волосы у него поднимаются дыбом.

Но через минуту шорох раздался уже впереди, на этот раз ещё более явственный. Збышко вздохнул с облегчением. Правда, он подумал, что «нечисть» обошла его и теперь приближается спереди. Но это было лучше. Он половчей ухватил вилы, тихо поднялся и стал ждать.

Вдруг он услышал над головой шум сосен, ощутил на лице сильное дуновение ветра со стороны болота и тотчас уловил запах медведя.

Сомнений не было: это шел косолапый!

Страх мгновенно пропал; нагнув голову, Збышко напряг зрение и слух. Шаги приближались, тяжелые, отчетливые, запах становился все резче; вскоре слышались сопение и ворчание.

«Только бы не двое!» – подумал Збышко.

В то же мгновение он увидел перед собой огромный темный силуэт зверя: идя по ветру на запах меда, медведь до последней минуты не учуял человека.

– Сюда, косолапый! – крикнул Збышко, выступив из-за сосны.

Словно пораженный этим неожиданным явлением, медведь издал короткий рык; однако он подошел уже слишком близко, чтобы спастись бегством. Тогда он мгновенно поднялся на задние лапы, расставив передние так, словно хотел заключить Збышка в объятия. Збышко только этого и ждал – он молниеносно бросился вперед и, напрягши мышцы своих могучих рук и навалившись всей тяжестью тела на вилы, вонзил их в грудь зверю.

Весь бор содрогнулся теперь от дикого рева. Медведь схватился лапами за вилы, стараясь вырвать их, но зубрины на острых концах впились ему в грудь, он почувствовал боль и взревел пуще прежнего. Тогда он попытался облапить Збышка, но нажал на вилы, и они ещё глубже воткнулись ему в грудь. Збышко не знал, достаточно ли глубоко вонзилось острие, и не отпускал рукояти. Человек и зверь стали дергать друг друга и бросаться из стороны в сторону. Бор сотрясался от рева, в котором звучали ярость и отчаяние.

Збышко хотел схватиться за секиру, но для этого надо было сперва воткнуть в землю другой острый конец вил, а меж тем медведь, точно поняв, в чем дело, ухватился лапами за рукоять и, несмотря на боль, которую причиняло ему каждое движение, дергал её вместе со Збышком и не давал таким образом «пригвоздить» себя к земле. Страшный бой затягивался, и Збышко понял, что ему в конце концов изменят силы. Кроме того, он мог упасть, а это грозило ему неминуемой гибелью; тогда, собрав все свои силы и напрягши мышцы рук, он расставил ноги и, изогнув спину дугой, чтобы не упасть навзничь, стал повторять сквозь стиснутые зубы:

– Не тебе смерть, так мне!..

И такой гнев овладел вдруг им, такая ярость, что в эту минуту он и впрямь

предпочел бы погибнуть сам, чем выпустить зверя живым. Но тут он зацепился ногой за корень сосны, пошатнулся и, наверное, упал бы, если бы в то же мгновение перед ним не выросла темная фигура, и другие вилы не «пригвоздили» зверя к земле, и чей-то голос не крикнул вдруг над самым его ухом:

– Руби его!..

Збышко был настолько поглощен схваткой с медведем, что ни одно мгновение не задумался над тем, откуда же пришла эта неожиданная помощь; схватив секиру, он нанес зверю страшной силы удар. Под тяжестью туши треснули вилы, и, корчась в последних содроганиях, медведь, словно сраженный громом, повалился наземь и захрипел. Однако он тотчас затих. Воцарилась такая тишина, что слышно было только тяжелое дыхание Збышка; ноги у юноши подкосились, и он прислонился к сосне, чтобы не упасть. Только через минуту он поднял голову, покосился на стоявшую рядом фигуру и испугался, подумав, что это, может быть, не человек.

– Кто ты? – спросил он в тревоге.

– Ягенка! – ответил тонкий женский голос.

Збышко онемел от изумления, он глазам своим не поверил. Однако сомнений не могло быть – он снова услышал голос Ягенки:

– Я высеку огонь...

Раздался удар огнива о камень, посыпались искры, и при их неверном свете Збышко увидел белый лоб, темные брови и выпяченные губы девушки, которая дула на тлеющий трут. Только теперь он подумал, что Ягенка пришла в лес, чтобы помочь ему, что без её вил дело для него могло бы кончиться плохо, и в приливе благодарности, не долго думая, обнял её и поцеловал в обе щеки.

Трут и огниво выпали у неё из рук.

– Оставь! Что ты? – сказала она приглушенным голосом, однако не отодвинулась и даже как будто случайно коснулась губами губ Збышка.

Он выпустил её из объятий и сказал:

– Спасибо тебе. Не знаю, что было бы со мной без тебя.

А Ягенка, присев в темноте на корточки, чтобы найти огниво и трут, стала объяснять ему:

– Я боялась за тебя, потому что Бездух тоже пошел с вилами и секирой и медведь задрал его. Случись какая-нибудь беда, Мацько страх как горевал бы, а он и так на ладан дышит... Ну, вот я взяла вилы и пошла...

– Так это ты пряталась там, за соснами?

– Я.

– А я думал, нечистый.

– Да и я очень боялась, тут ведь около Радзиковского болота ночью без огня

страшно.

– Почему же ты не окликнула меня?

– Боялась, что ты меня прогонишь.

И она снова начала высекать огонь, затем положила на трут пук сухой конопляной костры, которая тотчас вспыхнула ярким огнем.

– У меня две щепки, – сказала она, – а ты набери поскорей валежника, разожем костер.

Через минуту у них запылал веселый костер, и в отблесках пламени из мрака выступила огромная рыжая туша медведя, лежавшего в луже крови.

– Каков зверина! – не без хвастовства сказал Збышко.

– Голова совсем разрублена! Господи!

Ягенка нагнулась и запустила руку в медвежью шерсть, чтобы проверить, жирен ли зверь, затем она поднялась с веселым лицом.

– Сала хватит на добрых два года!

– А вилы сломаны, погляди!

– То-то и оно, что я скажу дома?

– А разве что?

– Да ведь отец ни за что не пустил бы меня в лес, вот я и должна была ждать, покуда все улягутся спать.

Через минуту она прибавила:

– Не рассказывай, что я тут была, а то надо мной станут смеяться.

– Я провожу тебя до дому, а то ещё волки нападут, вил-то у тебя нету.

– Ладно.

Так беседовали они некоторое время, сидя при веселом огне костра над убитым медведем, оба подобные юным лесным духам.

Збышко поглядел на красивое лицо Ягенки, освещенное отблеском пламени, и сказал с невольным восхищением:

– Другой такой девушки, как ты, верно, на всем свете не сыщешь. Тебе бы на войну идти!

Она на мгновение остановила на нем свой взор, а затем ответила с грустью:

– Знаю... только ты не смейся надо мной.

XIII

Ягенка сама натопила большой горшок медвежьего сала, и Мацько с удовольствием выпил первую кварту, потому что оно было свежее, не пригорело и пахло дягилем, которого девушка, знавшая толк в снадобьях, прибавила в горшок сколько требовалось. Мацько воспрянул духом и стал надеяться на выздоровление.

– Этого-то мне и не хватало, – говорил он. – Как весь заплывешь жиром, так, может, и этот чертов осколок из тебя вылезет.

Другие кварталы уже не показались ему такими вкусными, однако для здоровья он продолжал пить сало. Ягенка тоже его подбодряла:

– Будете здоровы. Билюду из Острога глубоко в затылок загнали звенья кольчуги, а от сала они вышли наружу. Как только рана откроется, надо смазать её бобровой струей.

– А есть у тебя бобровая струя?

– Есть. А свежая понадобится, так мы пойдём со Збышком на бобровые гоны. Бобра добыть нетрудно. Однако не мешало бы вам дать обет какому-нибудь святому, целителю ран.

– Я уж думал об этом, да толком не знаю какому. Георгий Победоносец – покровитель рыцарей, он хранит воина от опасности, а в нужде придаст ему и храбрости; толкуют, будто он часто сам становится на сторону правых и помогает им бить неугодных Богу. Но тот, кто сам до драки охоч, вряд ли захочет раны лечить, для этого есть, верно, другой святой, которому Георгий Победоносец поперек дороги не станет. У каждого святого на небесах свое место и свое хозяйство – это дело известное! И никто в чужие дела носа не сует, потому от этого между ними может быть раздор, а святым на небесах не пристало ссориться да драться... Вот Косьма и Дамиан тоже великие святые, им лекари молятся о том, чтоб на свете болезни не вывелись, а то им есть нечего будет. А вот святая Аполлония, та от зубов помогает, а святой Либерий исцеляет от камней, – но это все не то! Приедет аббат, я у него спрошу, к кому мне толкнуться, – он постиг небесные таинства, это тебе не какой-нибудь завалыщий ксендз, который мало что понимает, хоть макушка у него и выбрита.

– А не дать ли вам обет самому Иисусу Христу?

– Что говорить, он выше всех. Но ведь это все едино, что поехать мне в Краков к самому королю и пожаловаться, что твой, к примеру, отец избил моего мужика. Что бы мне сказал король? «Я, – сказал бы он, – владыка всего королевства, а ты лезешь ко мне со своим мужиком! Нет у тебя на него управы? Не можешь войти в суд к моему каштеляну и помощнику?» Иисус Христос владыка всего света – понимаешь? – а для маловажных дел у него есть святые.

– Вот что я вам скажу, – сказал Збышко, который подошел к собеседникам в конце разговора, – дайте обет нашей покойнице королеве сходить, коли она поможет, на поклонение в Краков, к её гробнице. Разве мало чудес совершила она на наших глазах? Зачем искать чужих святых, когда есть своя куда лучше их.

– Да, кабы знать, что она целительница ран!

– А хоть бы и нет! Ни один святой не посмеет косо на неё поглядеть, а посмеет,

так ещё от господина Бога получит на орехи – это ведь не какая-нибудь простушка, а польская королева...

– Она к тому же целую языческую страну крестила, – подхватил Мацько.

– Это ты умно сказал. Уж, верно, она председатель в совете праведных, куда там с нею тягаться какому-нибудь простецу. Так я и сделаю, как ты советуешь, ей-ей!

Этот совет понравился и Ягенке, которая не могла надивиться уму Збышка, и в тот же вечер Мацько дал торжественный обет; с этой поры он с ещё большей надеждой стал пить медвежье сало, ожидая со дня на день непременно выздоровления. Однако прошла неделя, и он стал терять надежду. Он говорил, что от сала у него урчит в животе, а под нижним ребром растёт шишка. Прошло десять дней, и старику стало ещё хуже: шишка вздулась и покраснела, а сам Мацько очень ослабел и, когда у него опять поднялся жар, стал готовиться к смерти.

Однажды ночью он неожиданно разбудил Збышка.

– Засвети-ка поскорее лучину, – сказал старик, – что-то со мной творится, не знаю только, хорошее ли иль худое.

Збышко вскочил с постели и, не высекая огня, раздул в смежной с боковушей горнице огонь, зажег от него смолистую лучинку и вернулся к Мацьку.

– Что с вами?

– Что со мной? Шишка у меня прорвалась, верно, осколок лезет! Ухватил я его, а вытащить никак не могу! Слышу только, под ногтями скрипит и звякает...

– Ну конечно, осколок! Ухватите его покрепче и тащите.

Мацько извивался и стонал от боли, но засовывал пальцы все глубже в рану, пока не ухватил крепко какой-то твердый предмет; наконец он рванул его и вытащил из раны.

– О господи!

– Вытащили? – спросил Збышко.

– Да. Прямо холодный пот прошиб. Ну, а все-таки вытащил, погляди-ка!

И он показал Збышку продолговатый острый обломок, отколовшийся от плохо окованного жала стрелы и несколько месяцев сидевший у старика в теле.

– Хвала Богу и королеве Ядвиге! Теперь будете здоровы.

– Может, и полегче мне, но только страх как болит, – сказал Мацько, выдавливая нарыв, из которого обильно потекла кровь с гноем. – Коли станет во мне меньше этой пакости, так и боль отпустит. Ягенка говорила, что теперь надо смазать рану бобровой струей.

– Завтра же пойдем за бобром.

Утром Мацьку стало гораздо лучше. Он спал допоздна, а проснувшись, велел, чтобы

ему подали поестъ. На медвежье сало старик уже смотреть не мог, зато ему разбили на сковороде два десятка яиц – больше Ягенка не дала из осторожности. Мацько с жадностью съел яичницу и полкаравая хлеба, запил жбаном пива, развеселился и велел звать Зыха.

Збышко послал за соседом одного из своих турок, подаренных Завишей; Зых вскочил на коня и примчался после полудня, когда Збышко с Ягенкой собирались к Одстаянному озерцу за бобрами. Сперва старики за чарой меда смеялись, шутили и пели песни, а там заговорили о детях и давай расхваливать каждый своего.

– Ну, и молодец же у меня Збышко! – говорил Мацько. – Другого такого на всем свете не сыщешь. И храбр, и быстр, как рысь, и ловок. Да вы знаете, когда его вели в Кракове на казнь, так девушки в окнах вопили, точно кто их сзади шилом колол, да какие девушки – дочки рыцарей да каштелянов, а о всяких там красавицах горожанках и говорить нечего.

– Хоть они и каштелянские дочки и красавицы, а не лучше моей Ягенки! – отрезал Зых из Згожелиц.

– А разве я говорю, что лучше? Милей Ягенки, пожалуй, и не сыщешь.

– Я про Збышка тоже ничего худого сказать не могу: самострел натягивает без рукояти!..

– И медведя один пригвоздит к земле. Видали, как он его рубанул? Отхватил всю голову с лапой.

– Голову отхватил, а вот к земле не одни пригвоздил. Ягенка ему помогла.

– Ягенка?.. Он мне об этом ничего не говорил.

– Он Ягенке обещал не говорить... Срам ведь девке ночью одной по лесу ходить. Ну, а мне она тотчас рассказала, как все было. Другие рады соврать, а она от меня не таится. Сказать по правде, и я не обрадовался, кто ж их там знает... Хотел прикрикнуть на неё, а она мне вот что сказала: «Коли я сама девичьей чести не уберегу, так и вам, батюшка, её не убережь, да вы не бойтесь, Збышко тоже знает, какова она, рыцарская честь».

– Это верно. Ведь и сегодня они одни пошли.

– Но домой-то вернутся к вечеру. А лукавый ночью больше всего искушает, да и девке стыдиться нечего, потому темно.

Мацько на минуту задумался, а потом сказал как будто про себя:

– И все-таки льнут они друг к дружке...

– Эх! Кабы он другой не обещался.

– Да ведь вы знаете, это только рыцарский обычай такой... Коли нет у молодого рыцаря госпожи, так его считают простачком... Посулил ей Збышко павлиньи чубы, поклялся в том рыцарской честью, ну, и должен содрать их у немцев с голов. Да и Лихтенштейна ему надо одолеть, а от прочих обетов аббат может его освободить.

– Аббат не нынче-завтра приедет...

– Вы думаете? – спросил Мацько, а потом продолжал: – Какая цена всем этим обетам, коли Юранд напрямик ему сказал, что не отдаст за него девку! То ли он другому её обещал, то ли Богу обрек, я того не знаю, но только напрямик сказал, что не отдаст...

– Я вам говорил, что аббат любит Ягенку, как родную. Последний раз он сказал ей: «Родня у меня только по женскому колону, но помру я, так полны колени добра не у неё, а у тебя будут».

Мацько поглядел на него тревожно, даже подозрительно, и, помолчав с минуту времени, сказал:

– Нас-то не обидьте...

– За Ягенкой я дам Мочидолы, – ответил Зых.

– Теперь же?

– Теперь же. Другой я бы не дал, а ей отдам.

– Половина Богданца и так Збышка, а коли даст Бог здоровья, я наведу тут порядок, подниму хозяйство. Вот по сердцу ли вам Збышко?

Зых заморгал глазами и сказал:

– Хуже всего то, что Ягенка, как кто помянет его, так к стенке и отвернется.

– А когда вы других поминаете?

– Как других поминаю, она только прыскает и говорит: «Ещё чего выдумали?»

– Вот видите. Бог даст, с такой девушкой Збышко забудет другую. Я уж старик, и то забыл бы... Меду выпьете?

– Выпью.

– Аббат, он умница! Аббаты, слышь, часто люди совсем мирские, ну, а он, хоть и не живет с монахами, все-таки ксендз, а ксендз всегда даст дельный совет, не то что простой человек, потому он и грамотен, и со святым духом знается. А что вы теперь же дадите за девушкой Мочидолы, это правильно. Я тоже, коли, даст Бог, выздоровею, сманю у Вилька из Бжозовой мужиков побольше. Дам каждому по клочку хорошей земли, земли-то в Богданце хватает. На рождество пускай сходят к Вильку на поклон – и айда ко мне. Что, разве нельзя? А там и городок в Богданце построю, хорошенькую крепостцу из дуба, и рвом её обнесу... Пускай Збышко с Ягенкой ходят себе сейчас вдвоем на охоту... Скоро уж, верно, и снег выпадет... Привыкнут они друг к дружке, и забудет хлопец другую. Пускай себе ходят. Что тут долго толковать! Отдадите за него Ягенку или нет?

– Отдам. Давно уж мы задумали поженить их, чтоб Мочидолы и Богданец достались нашим внукам.

– Грады! – с радостью воскликнул Мацько. – Бог даст, внуки посыплются градом.

Аббат их нам будет крестить...

– Пусть только поспекает! – весело воскликнул Зых. – А давно уж не видал я вас таким веселым.

– Сердце у меня прыгает от радости... Осколок-то вышел, ну, а что до Збышка, так вы за него не бойтесь. Садится это вчера Ягенка на коня, а день-то ветреный... Я и спрашиваю у Збышка: «Видал»? – а на него такая истома напала. Да и то я смекнул, что на первых порах они мало друг с дружкой разговаривали, а сейчас как пойдут вместе гулять, так всё друг к дружке повертываются и всё говорят, говорят!.. Выпьем!

– Выпьем!

– За здоровье Збышка и Ягенки!

XIV

Старый Мацько не ошибался, когда говорил, что Збышко и Ягенка с удовольствием встречаются и друг без дружки даже скучают. Под предлогом посещения больного Мацька Ягенка часто приезжала в Богданец, с отцом или одна, признательный Збышко тоже то и дело наведывался в Згожелицы, так что с течением времени он свел с Ягенкой дружбу. Полюбившись друг другу, Збышко и Ягенка охотно стали «советоваться», то есть попросту болтать обо всем, что было им интересно. К дружбе у обоих примешивалось и восхищение: молодой и красивый Збышко, который и на войне уже успел прославиться, и в ристалищах принимал участие, и при королевском дворе бывал, по сравнению с каким-нибудь Чтаном из Рогова или Вильком из Бжозовой казался девушке настоящим придворным рыцарем, чуть не королевичем, а Збышка порой просто изумляла красота девушки. В мыслях он оставался верен своей Данусе, однако не раз, в лесу ли, дома ли, взглянув вдруг на Ягенку, он невольно говорил себе: «Вот это лань!» Когда же, обняв стан девушки, он сажал её на коня и чувствовал под рукой упругое, точеное тело, то приходил в смятение, «истома», по словам Мацька, нападала на него, кровь начинала играть в жилах и точно смаживал сон.

Ягенка, девушка по натуре гордая, насмешница и задира, с ним становилась сущей смиренницей, словно служанкой, которая только смотрит в глаза господину, как бы ему услужить, как бы ему угодить. Збышко понимал, как расположена она к нему, был благодарен за это ей и все больше искал с нею встреч. С тех пор как Мацько стал пить медвежье сало, они видались уже чуть не каждый день, а когда у старика вышел осколок и для затягивания раны понадобилась свежая бобровая струя, они собрались вдвоем на бобровые гоны.

Прихватив самострел, они сели на коней и поехали на те самые Мочидолы, которые должны были пойти в приданое Ягенке, а затем свернули к лесу; оставив под лесом коней на попечении конюха, они пошли дальше пешком, так как через заросли и болота трудно было проехать верхом. По дороге Ягенка показала Збышку за широким, поросшим осокою лугом синюю полосу леса и сказала:

– Это лес Чтана из Рогова.

– Того, который хочет взять тебя в жены?

Она засмеялась:

– Взят бы, кабы далась!

– Тебе легко оборониться, возьми только Вилька на подмогу, он, я слышал, зубы на Чтана точит. Диво, что ещё не вызвали друг дружку на смертный бой.

– Едучи на войну, батюшка им так сказал: «Передеретесь, так на глаза мне не показывайтесь». Что было им делать? В Згожелицах они друг на дружку рычат, а потом в Кшесне пьют вместе в корчме, покуда под лавку не свалятся.

– Дураки!

– Почему же?

– Да покуда Зыха не было дома, надо было не тому, так другому дураку напасть на Згожелицы, да и взять тебя силком. Ну, что бы Зых мог поделывать, кабы, воротившись с войны, да нашел тебя с младенцем на руках?

Голубые глаза Ягенки так и засверкали:

– Думаешь, я бы далась? Да что, в Згожелицах людей нету, а я не могу схватиться за рогатину или самострел? Пускай бы сунулись! Я любого прогнала бы домой, да ещё набег учинила на Рогов или Бжозовую. Батюшка знал, что может спокойно идти на войну.

При этих словах Ягенка так нахмурила свои красивые брови и стала так грозно потрясать самострелом, что Збышко рассмеялся и сказал:

– Тебе не девушкой быть, а рыцарем.

Успокоившись, она ответила:

– Чтан берег меня от Вилька, а Вильк от Чтана. Да и аббат меня охранял, ну, а с аббатом лучше никому не ссориться...

– Эва! – ответил Збышко. – Все тут у вас боятся аббата! А я вот, по чести тебе скажу, не побоялся бы ни аббата, ни Зыха, ни згожелицких мужиков, ни тебя, клянусь Георгием Победоносцем, не побоялся бы, взял бы силком – и конец...

Ягенка стала как вкопанная и, подняв на Збышка глаза, спросила каким-то странным голосом, протяжно и мягко:

– Взят бы?..

Губы у неё раскрылись, и, зардевшись, словно зорька, она ждала ответа.

Но он, видно, думал только про то, что сделал бы на месте Чтана или Вилька, и через минуту, потряхнув золотыми кудрями, продолжал:

– И чего девке с хлопцами воевать, коли ей надобно замуж? Третий жених не случится, так придется из них выбирать, что ж поделаешь?

– Не говори мне этого, – печально сказала девушка.

– А что? Давно я тут не бывал, не знаю, есть ли кто в округе, кто мог бы

прийтись тебе по нраву?..

– Ах! – уронила Ягенка. – Перестань!

В молчании пошли они дальше, продираясь сквозь заросли, особенно густые здесь оттого, что кусты и деревья были сплошь увиты диким хмелем. Збышко шел впереди, разрывая зеленые плети хмеля, ломая местами ветви, а Ягенка, как некая богиня охоты, следовала за ним с самострелом за плечами.

– За этой чащей, – сказала она, – будет глубокая речка, но я знаю брод.

– У меня сапоги выше колен, небось пройдем, ног не замочим, – ответил Збышко.

Вскоре они вышли к речке. Ягенка, которая хорошо знала мочидольские леса, легко нашла брод; однако оказалось, что вода от дождей поднялась и речушка стала довольно глубокой. Збышко, не спрашиваясь, взял девушку на руки.

– Да я бы и так перешла, – возразила Ягенка.

– Держись за шею! – велел Збышко.

И медленно стал переходить разлившуюся речку, пробуя всякий раз ногой грунт, чтобы не попасть на глубокое место, а девушка, как и велел ей юноша, все прижималась к нему; когда уже было недалеко до берега, она сказала:

– Збышко?

– Что тебе?

– Не пойду я ни за Чтана, ни за Вилька...

Он вынес её на берег, осторожно опустил на прибрежную гальку и сказал с лёгким волнением:

– Дай Бог тебе жениха самого что ни на есть лучшего! Обижаться ему не придется.

До Одстаянного озерца было уже недалеко. Впереди шла теперь Ягенка; изредка оборачиваясь, она прижимала пальцы к губам, приказывая Збышку хранить молчание. Они шли по мокрой низине, пробираясь сквозь заросли лоз и сивого тальника. Справа до них долетал птичий гомон, что очень удивило Збышка, так как уже наступила пора отлета.

– Там болото не замерзает, – прошептала Ягенка, – вот утки на нем и зимуют, да и в озерце вода замерзает только в сильные морозы, и то у самого берега. Глянь, как оно дымится...

Збышко поглядел сквозь кусты лозняка и увидел густой туман: это и было Одстаянное озерцо.

Ягенка опять прижала палец к губам, и через минуту они были у цели. Девушка первая крадучись взобралась на толстую старую иву, низко склонившуюся над водой. Збышко последовал за нею; некоторое время они, ничего не видя в тумане, тихо лежали, слушая лишь жалобный крик чибисов и чаек над головами. Но вот потянул ветерок, зашелестел в лозах и желтеющей листве ив, и глазам охотников открылась

в низине гладь озера, которую рябил ветер.

– Не видно? – прошептал Збышко.

– Не видно. Тише!..

Через минуту ветер умолк, и воцарилась глубокая тишина. Но вот на зеркале озера затемнела одна голова, другая, затем поближе к охотникам спустился к реке крупный бобр со свежесорванной веткой в пасти и поплыл между цветами калужницы и ряской, поднимая вверх морду и толкая ветку вперед. Збышко, который лежал на дереве пониже Ягенки, увидел вдруг, как осторожно шевельнулись у девушки локти и наклонилась вперед голова, – Ягенка, видно, целилась в зверя, который, не подозревая о грозящей ему опасности, плыл к чистой глади озера на расстоянии не больше половины полета стрелы.

Но вот зажуужала тетива самострела и одновременно раздался голос Ягенки:

– Готово! Готово!..

Збышко в один миг взобрался повыше и сквозь ветви поглядел на гладь озера: бобр то погружался в воду, то всплывал на поверхность, перекувыркиваясь при этом и показывая более светлое, чем спинка, брюшко.

– Здорово попала! Сейчас ему конец! – сказала Ягенка.

Она отгадала, движения бобра становились все слабей, ещё немного – и он всплыл на поверхность кверху брюхом.

– Я пойду за ним, – сказал Збышко.

– Не ходи. Тут у берега трясина бездонная. Коли не знаешь, как пробираться, наверняка засосет.

– Как же мы его добудем?

– Да ты про то не думай – к вечеру он уж будет в Богданце, а нам пора домой..

– Ловко ты его подстрелила!

– Э, мне не впервой!..

– Другие девушки и глянуть на самострел боятся, а с тобой хоть целый век по лесу ходи!..

Услышав эту похвалу, Ягенка улыбнулась от радости, но ничего не сказала, и они пошли назад по старой дороге через лозняк. Збышко стал расспрашивать о бобровых гонах, Ягенка рассказала ему, сколько бобров на мочидольских и згожелицких болотах и как они на озерах и речушках строят свои мазанки и плотины.

Вдруг она хлопнула себя по боку.

– Ах ты господи! – воскликнула она. – Забыла на иве стрелы. Подожди меня!

Не успел он сказать, что сам сходит за ними, как она, словно серна, помчалась

назад и через минуту исчезла из виду. Збышко ждал, ждал и уж стал удивляться, что это её так долго нет.

– Верно, растеряла стрелы и ищет их, – сказал он сам себе, – а все-таки надо пойти поглядеть, не случилось ли чего с нею...

Однако не успел он сделать и двух шагов, как перед ним появилась Ягенка с самострелом в руке, смеющаяся, румяная и с бобром за плечами.

– Господи! – воскликнул Збышко. – Да как же ты его добыла?

– Как? Влезла в воду – вот и вся недолга! Мне не впервой, а тебя я не хотела пустить, ты ведь не знаешь, куда надо плыть, так тебя трясина и засосала бы.

– А я ждал тебя тут, как дурак! Хитрая ты девчонка.

– Что же мне было делать? Раздеваться, что ли, при тебе?

– Так ты и стрелы не забыла?

– Нет, это я только хотела, чтобы ты отошел от берега.

– Так, так! Ну, а пойдешь следом за тобой, то-то бы диво увидал. Было бы на что поглядеть!

– Замолчи!..

– Ей-ей, я уже шел к тебе.

– Замолчи!..

Через минуту, желая, видно, переменить разговор, она сказала:

– Выжми мне косу, а то вся спина от неё мокрая.

Збышко одной рукой взялся за косу поближе к голове, а другой стал выжимать её.

– Лучше было бы расплести её, – говорил он при этом, – ветер тотчас и высушил бы.

Но Ягенка не хотела расплести косу, потому что им снова приходилось продирается сквозь заросли. Збышко закинул теперь за спину бобра, а Ягенка пошла впереди.

– Теперь Мацько скоро выздоровеет, – сказала она, – потому для ран нет ничего лучше, как пить медвежье сало, а рану смазывать бобровой струей. Недельки через две сможет сесть на коня.

– Дай-то Бог! – сказал Збышко. – Жду не дожусь, когда он выздоровеет, – больного бросить нельзя, а сидеть мне здесь не вмоготу.

– Невмоготу? – переспросила Ягенка. – Отчего же?

– Разве Зых ничего не говорил тебе про Данусю?

– Да нет, говорил... Я знаю, знаю... она тебя покрывалом накрыла... Он говорил ещё мне, что всякий рыцарь дает обет... служить своей госпоже... Но он говорил, что это пустое... все эти обеты... и женатые дают обет служить какой-нибудь госпоже. А эта Дануся, Збышко, кто она, скажи мне?.. Кто она, эта Дануся?

И, подойдя ближе к Збышку, она в страшной тревоге устремила на него глаза, он же, не обратив на это никакого внимания, ответил:

– Она и моя госпожа, и возлюбленная моя. Никому я про это не говорил, а тебе, как сестре родной, скажу, потому что мы с малых лет знаем друг дружку. За тридевять земель, в тридешатое царство пошел бы я за нею, хоть к немцам, хоть к татарам, потому другой такой нет на всем белом свете. Пускай дядя остается в Богданце, а я к ней поеду... Что мне без неё Богданец, что достатки, что стада, что богатства аббата! Сяду я на коня и уеду зимой и, клянусь Богом, исполню все, что обещал ей, разве только раньше сам сложу голову.

– Я не знала об этом... – глухо сказала Ягенка.

Збышко тогда стал ей рассказывать о том, как встретил в Тынце Данусю и как тотчас дал ей обет, о том, что случилось после, – как сидел он в темнице, как спасла его Дануся, как Юранд ему отказал, и как прощались они, и как тоскует он без неё, и как радуется, что после выздоровления Мацька уедет к своей возлюбленной, чтобы исполнить все, что ей обещал. Он оборвал свой рассказ, завидев слугу с лошадьми, который поджидал их на лесной опушке.

Ягенка вскочила на коня и сразу стала прощаться со Збышком.

– Пускай конюх едет следом за тобою с бобром, а я возвращаюсь в Згожелицы.

– Ты не поедешь в Богданец? Да ведь Зых у нас.

– Нет. Батюшка сказал мне, что вернется домой.

– Ну, тогда спасибо тебе за бобра.

– Прощай...

И через минуту Ягенка осталась одна. Она ехала домой через заросли вереска и первое время все оглядывалась на Збышка, а когда он скрылся наконец за деревьями, закрыла рукою глаза, словно прячась от солнца.

Но скоро крупные слезы покатались из-под руки по её щекам и закапали на седло и на гриву коня.

XV

После разговора со Збышком Ягенка три дня не показывалась в Богданце и только на четвертый день прискакала с вестью, что в Згожелицы приехал аббат. Мацько встревожился. Правда, у него было на что выкупить Богданец, старик даже подсчитал, что останутся деньги на то, чтобы поселить в деревне новых мужиков и развести скот, да и на другие хозяйственные нужды хватит; однако многое в этом деле зависело от богатого родственника, который мог, например, забрать поселенных им мужиков, но мог и оставить их Мацьку и тем самым увеличить цену его владений.

Поэтому Мацько стал выпрашивать у Ягенки, в каком расположении духа приехал аббат – веселый или хмурый, что говорил про них и когда заедет в Богданец. Девушка толково отвечала на вопросы старика, стараясь ободрить его и успокоить.

Она сказала Мацьку, что аббат приехал здоровый и веселый, с большой свитой, в которой, кроме вооруженных слуг, было несколько странствующих причетников и песенников, что сейчас он распевает с Зыхом и с удовольствием слушает не только духовные, но и светские песни. Она заметила, что аббат с искренним участием расспрашивал про Мацька и жадно слушал рассказы Зыха о приключениях Збышка в Кракове.

– Вы сами лучше знаете, что делать, – заключила свой рассказ умная девушка. – Но только я думаю, что Збышку следует тотчас поехать на поклон к старшему родичу, а не ждать, покуда он приедет в Богданец.

Мацько послушался доброго совета, велел позвать Збышка и сказал ему:

– Оденься-ка получше и поезжай на поклон к аббату, окажи ему эту честь – может, он тебя и полюбит.

Затем старик обратился к Ягенке:

– Не диво было бы, когда бы ты была глупа, на то ты и баба, а ведь ты умна, вот это-то мне и удивительно. Скажи, как принять нам аббата и чем его потчевать, когда приедет?

– Аббат сам скажет, чего ему хочется, он любит хорошо покушать; только было бы побольше шафрана, так не станет привередничать.

Услышав об этом, Мацько за голову схватился.

– Да откуда же мне взять шафрана?..

– Я привезла, – сказала Ягенка.

– А чтоб такие девки и на камне родились! – обрадовался Мацько. – И лицом-то пригожа, и хозяйка, и расторопна, и сердце доброе! Эх! Будь я помоложе, женился бы на тебе не задумываясь!..

Ягенка украдкой взглянула на Збышка и с тихим вздохом продолжала:

– Привезла я кости, кубок и сукно; аббат, как покушает, любит поиграть в кости.

– У него и прежде был такой обычай, а уж горячился за игрой, ну просто страх как!

– Он и сейчас горячится; как хватит иной раз кубком оземь, да прямо в поле и выскочит. Ну, а воротится – сам же первый над собой смеется... Да вы его знаете... Ему только перечить не надо, тогда нет лучше человека на свете.

– Кто же станет ему перечить, коли он умнее всех?

Они вели такой разговор, а Збышко тем временем переодевался в боковуше. Он вышел оттуда такой красивый, что просто ослепил Ягенку, совсем как тогда, когда в

первый раз приехал в своем белом полукафтани в Згожелицы. Но на этот раз грудь у неё защемило от жалости, как подумала она, что не для неё эта краса и что другая прилась ему по сердцу.

А Мацько подумал, что Збышко, наверно, понравится аббату и тот не станет утеснять их, когда дело дойдет до уговора. Старик так обрадовался, что тут же решил ехать со Збышком в Згожелицы.

– Вели положить для меня охапку сенца на телегу, – сказал он Збышку.

– Коли я из Кракова в Богданец доехал с жалом стрелы под ребром, так без жала-то как-нибудь уж доберусь до Згожелиц.

– Как бы вам худо не стало, – заметила Ягенка.

– Э, ничего мне не сделается, я уже окреп. А и станет худо, так аббат узнает по крайности, как я к нему торопился, щедрей будет.

– Мне ваше здоровье дороже его щедрот, – возразил Збышко.

Но Мацько уперся и настоял на своем. По дороге он все покряхтывал, однако не переставал поучать Збышка, как следует вести себя в Згожелицах, при этом особенно наказывал быть смиренным и покорным, так как богатый родич никогда не терпел противоречий.

Когда они приехали в Згожелицы, аббат с Зыхом сидели на крылечке и, попивая вино, наслаждались красотой мира Божьего. Позади них у стены сидело шесть человек из свиты аббата, в том числе два песенника и один пилигрим, которого тотчас можно было признать по кривому посоху, баклажке у пояса и ракушкам, нашитым на темный плащ. Прочие были как будто причетники, с выбритыми макушками, однако одежда на них была светская, пояса – из воловьей кожи и на боку мечи.

Увидев Мацька, который приехал на телеге, Зых бросился встречать его, аббат же, соблюдая, должно быть, свое достоинство, остался сидеть; он только сказал что-то своим причетникам, которые выбежали из отворенной двери дома. Збышко и Зых под руки подвели больного Мацька к крылечку.

– Всё ещё неможется, – сказал Мацько, целуя аббату руку, – а всё-таки приехал поклониться вам, благодетель, спасибо сказать вам за то, что в Богданце хорошо хозяйствовали, и испросить вашего благословения, а это нам, грешным, всего нужнее.

– Я слышал, вам стало получше, – сказал аббат, обнимая его голову, – и вы дали обет сходить на поклонение ко гробу нашей покойницы королевы.

– Не знал я, какому святому мне помолиться, вот ей и помолился.

– И хорошо сделали! – с жаром воскликнул аббат. – Она лучше прочих святых, и пусть только кто из них осмелится ей позавидовать!

Лицо аббата мгновенно вспыхнуло от гнева, щеки побагровели, глаза засверкали.

Все знали, как он горяч, и Зых крикнул со смехом:

– Бей, кто в Бога верует!

Аббат, отдуваясь, обвел глазами присутствующих, засмеялся так же неожиданно, как и вскипел гневом, и, посмотрев на Збышка, спросил:

– Это ваш племянник, родич мой?

Збышко нагнулся и поцеловал аббату руку.

– Я его маленьким видел и теперь не признал бы! – сказал аббат. – Ну-ка, покажись!

Быстрыми глазами он оглядел Збышка и сказал:

– Уж больно красив, не рыцарь, а панна!

Но Мацько возразил:

– Звали эту панну немцы танцевать, да все, кто только пускался с ней в пляс, свалились, да так, что больше уж не встали.

– Он и самострел без рукояти натягивает! – воскликнула вдруг Ягенка.

– А ты чего суешься? – повернулся к ней аббат.

Ягенка вся так и вспыхнула, даже шея и уши у неё покраснели, и ответила в крайнем смущении:

– Я сама видела...

– Берегись, как бы он не подстрелил тебя, а то девять месяцев лечиться придется...

При этих словах песенники, пилигрим и причетники так и покатались со смеху, а Ягенка совсем потерялась, так что уж аббат сжалился над нею и, подняв руку, показал ей на широченный рукав своего одеяния.

– Спрячься, девушка, – сказал он, – а то сгоришь со стыда.

Тем временем Зых усадил Мацька на лавку и велел Ягенке принести вина.

– Пошутили, хватит! – продолжал аббат, обратив на Збышка глаза. – Я сравнил тебя с девушкой не для того, чтоб над тобой поглумиться, любо-дорого смотреть на твою красу, не одна девушка ей позавидовала бы. Нет, я знаю, ты удалец! Слышал я и про твои подвиги в Вильно, и про фризоз, и про Краков. Зых обо всем мне рассказал – понял?..

Тут он пронзительно поглядел Збышку в глаза и, помолчав с минуту времени, продолжал:

– Пообещал три павлиньих чуба – ищи их! Преследовать врагов нашего племени – это дело похвальное и угодное Богу... Ну, а коли ты ещё что-нибудь обещал, так знай, что я тотчас могу разрешить тебя от этих обетов, ибо дана мне такая власть.

– Эх! – воскликнул Збышко. – Уж если человек в душе пообещал что-нибудь Богу, то

какой же властью можно разрешить его от этого обета?

Услышав такие речи, Мацько со страхом поглядел на аббата, но тот, видно, был в самом хорошем расположении духа и потому не разгневался, а только весело погрозил Збышку пальцем и сказал:

– Ишь ты, умник какой нашелся! Смотри, брат, как бы с тобой не приключилось то же, что с немцем Бейгардом.

– Что же с ним такое приключилось? – спросил Зых.

– На костре его сожгли.

– За что?

– За то, что болтал, будто мирянин может так же постигнуть небесные таинства, как и лицо духовного звания.

– Сурово его покарали!

– Но справедливо! – взревел аббат. – Ведь это кощунство против духа святого! А вы как думаете? Может ли мирянин постигнуть небесные таинства?

– Никак не может, – дружным хором ответили причетники.

– Вы, шуты, тоже смиренно сидите, вы ведь вовсе не ксендзы, хоть макушки у вас и бритые.

– А мы уже не шуты и не скоморохи, а слуги вашей милости, – ответил один из них, заглядывая в большой жбан, от которого так и несло солодом и хмелем.

– Нет, вы только посмотрите!.. Голос – как из бочки! – воскликнул аббат. – Эй ты, лохмач! Ты что в жбан-то заглядываешь? Латыни там на дне не найдешь!

– А я и не ищу латыни, я пива ищу, да никак не найду.

Аббат повернулся к Збышку, который в изумлении смотрел на этих придворных, и сказал:

– Это все *clerici scholares*[51], хоть каждый из них предпочел бы швырнуть книгу, схватить лютню и таскаться с нею по свету. Приютил я их и кормлю, что поделаешь? Бездельники они, последние бродяги, да петь умеют и службу отправлять, так, из пятого в десятое, – вот мне от них в костёле и польза, а при случае и защита, есть между ними горячие парни! Пилигрим говорит, будто побывал в святой земле, только зря бы ты стал у него спрашивать про моря да чужие страны, он даже не знает, как зовут византийского императора[52] и в каком городе он живет.

– Знал я, – хриплым голосом возразил пилигрим, – да как стала меня на Дунае лихоманка трясти, так все из головы и вытрясла.

– Больше всего удивляют меня мечи, – сказал Збышко, – у причетников я никогда их не видывал.

– Им можно, – сказал аббат, – они ведь непосвященные, а что я ношу меч на боку,

это тоже не удивительно. Год назад вызвал я на бой на утопанной земле Вилька из Бжозовой из-за тех лесов, через которые вы проезжали в Богданец. Не принял Вильк вызова...

– Как же он мог принять вызов от духовного лица? – прервал Зых аббата.

Аббат вскипел и, ударив кулаком по столу, крикнул:

– Когда я с оружием, я не ксендз, а шляхтич!.. А он потому не принял вызова, что хотел напасть на меня со слугами ночью в Тульче. Вот почему я ношу саблю на боку!.. *Omnes leges, omniague iura vim vi repellere cunctisque sese defensare permittunt!*[53] Вот почему я вооружил их мечами.

Услышав латынь, Зых, Мацько и Збышко умолкли и склонили головы перед мудростью аббата, хотя никто из них не понял ни единого слова; аббат всё ещё поводил гневными очами и наконец сказал:

– Как знать, не нападет ли он ещё тут на меня?

– Эва! Пусть только сунется! – воскликнули причетники, хватаясь за мечи.

– Пусть суется! И мне уж скучно без драки.

– Он этого не сделает, – возразил Зых, – скорее с миром на поклон приедет. От лесов он уже отказался, про сына он думает... Да вы знаете... Только не бывать этому!..

Меж тем аббат успокоился и сказал:

– Я видел, как в корчме в Кшесне молодой Вильк пил с Чтаном из Рогова. Они нас не признали – темно было – и всё толковали про Ягенку.

Тут он повернулся к Збышку:

– И про тебя.

– А что им от меня нужно?

– От тебя им ничего не нужно, только не по вкусу им, что неподалеку от Згожелиц завелся третий хлопец. Вот и говорит Чтан Вильку: «Небось спущу с него шкуру, не будет таким красавчиком». А Вильк ему: «Может, говорит, нас побоятся, а нет, так я ему живо ребра пересчитаю!» А потом они все твердили друг дружке, что ты непременно будешь их бояться.

Тут Мацько поглядел на Зыха, Зых на Мацька, и лица у обоих стали хитрыми и веселыми. Никто из них не был уверен в том, что аббат действительно слышал такой разговор, а не выдумал его для того, чтобы подзадорить Збышка; но зато оба они, особенно Мацько, который хорошо знал Збышка, отлично поняли, что не было лучшего способа свести его с Ягенкой.

А тут аббат будто невзначай обронил:

– Сказать по правде, храбрые парни!..

Збышко и виду не подал, что это его задело, только спросил у Зыха каким-то чужим голосом:

– Завтра воскресенье?

– Воскресенье.

– Вы к обедне поедете?

– А как же!..

– Куда? В Кшесню?

– Туда ближе всего. Куда ж ещё ехать-то?

– Ладно!

XVI

Догнав Зыха и Ягенку, которые с аббатом и его причетниками направлялись в Кшесню к обедне, Збышко присоединился к ним и поехал дальше вместе со всей компанией – ему непременно хотелось показать аббату, что он не боится ни Вилька из Бжозовой, ни Чтана из Рогова и не собирается прятаться от них. В первую минуту юношу снова поразила красота Ягенки; и в Згожелицах, и в Богданце он часто видел её разодетую для гостей, но никогда наряд её не был так пышен, как сейчас, когда она собралась в костёл. Девушка была в шубке алого сукна, подбитой горностаем, рукавички у неё тоже были алые, из-под горностаевой шитой золотом шапочки спускались на плечи две косы. На коне она сидела не верхом, по-мужски, а в высоком седле с подлокотниками и скамеечкой для ног, кончики которых едва виднелись из-под длинной, в прямые складки юбки. Зых, который дома позволял дочери ходить в кожаных сапогах, желал, чтобы в костёле все видели, что к обедне приехала не дочка какой-нибудь мелкой сошки, захудалого шляхтича, а панна из богатого рыцарского дома. Коня её вели под уздцы два подростка в наряде вверху пышном, а внизу в обтяжку, какой носили обычно пажи. Позади ехало четверо слуг, а уж за ними следовали причетники аббата с мечами и лютьями у пояса. Весь этот поезд привел Збышка в восхищение, особенно Ягенка, которая была хороша удивительно – не девушка, а картина, и аббат, который в своем пурпурном одеянии с широченными рукавами смотрел прямо путешествующим князем. Скромнее всех был одет сам Зых – он позаботился о пышности прочих, а себе оставил только песни да веселье.

Аббат, Ягенка, Збышко и Зых, поравнявшись, поехали рядом. Сперва аббат велел своим песенникам петь божественные песни; потом эти песни ему, видно, прискучили, и он завел разговор со Збышком, который с улыбкой поглядывал на его огромный меч длиной никак не меньше двуручных немецких мечей.

– Я вижу, – важно сказал аббат, – тебе удивительно, что при мне этот меч, так знай же, что синоды дозволяют духовным особам иметь при себе в дороге не токо мечи, но даже баллисты и катапульты, а мы ведь сейчас с тобой в пути. Когда святой отец возбранял духовным особам носить мечи и пурпурные одежды, он, наверно, думал о людях низшего сословия, ибо шляхтича Бог сотворил для оружия, и тот, кто пожелал бы разоружить его, восстал бы против велений предвечного.

– Я видал мазовецкого князя Генрика, который выходил на единоборство, – ответил Збышко.

– Не то зазорно, что он выходил на единоборство, – возразил аббат, поднимая вверх палец, – а то, что женился, да к тому же неудачно, *mulierem*[54] взял *fornicariam* и *bibulam*[55], которая, как говорят, с молодых лет *Vaschum adorabat*[56], да к тому же была *adultera*[57], а от этого тоже ничего хорошего нельзя было ждать.

Тут он остановил коня и с ещё большей важностью стал поучать Збышка:

– Коль задумал кто жениться, то есть избрать себе *uxorem*[58], должен смотреть, чтобы она была богобоязненна, благонравна и опрятна, чтобы хозяйка была хорошая; так учат не токмо отцы церкви, но и языческий мудрец по имени Сенека. А как же ты распознаешь, что избрал достойную, коль неведомо тебе будет родовое гнездо, из коего берешь себе подругу жизни?

Другой святой мудрец говорит: *Pomus non cadit absque arbore*[59]. Тош вол – тоща и шкура, мать глупа – и дочка дура. Вот и возьми это в толк, недостойный, да не ищи себе жены далеко, а ищи поближе, не то достанется тебе злая да своенравная, и наплачешься ты с нею, как наплакался философ, когда сварливая жена в гневе вылила ему на голову *aquam sordidam*[60].

– *In saecula saeculorum, amen!*[61] – грянули хором причетники, которые всегда вершили амином слова аббата, не очень-то задумываясь над тем, впопад иль невпопад возглашают они свой аминь.

Все внимали аббату, дивясь его красноречию и познаниям в священном писании, а он говорил не столько Збышку, сколько Зыху и Ягенке, будто их особенно хотел наставить на ум. Ягенка, видно, смекнула, куда аббат клонит, она пристально поглядывала на Збышка из-под длинных ресниц, а тот и брови насупил, и голову опустил, словно раздумавшись о том, что довелось ему услышать.

Через минуту поезд двинулся дальше; но все уже хранили молчание, и только когда вдали завиднулась Кшесня, аббат ощупал свой пояс, сдвинул его наперед, чтобы легко было схватиться за рукоять меча, и сказал:

– Старый Вильк из Бжозовой, пожалуй, с целой ватагой приедет.

– Пожалуй, – подтвердил Зых, – только вот слуги болтали, будто он захворал.

– А один мой причетник сказал, будто он хочет напасть на нас после обедни перед корчмой.

– Не стал бы он этого делать без вызова, да ещё после обедни.

– Да вразумит его господь Бог. Я ни с кем не ищу войны и терпеливо сношу все обиды.

Тут он оглянулся на своих песенников и сказал:

– Смотрите мне, мечей не вынимать и помнить, что вы служители церкви, ну, а ежели те первыми вынут, тогда айда на них!

Меж тем Збышко, подвигаясь вперед рядом с Ягенкой, расспрашивал её о делах, которые его больше всего занимали.

– В Кшесне мы непременно застанем Чтана и молодого Вилька, – сказал он. – Покажешь мне их издали, чтобы я знал их в лицо.

– Ладно, Збышко, – ответила Ягенка.

– Они, верно, встречают тебя и перед обедней, и после обедни. Что они тогда делают?

– Служат мне, как умеют.

– Сегодня они тебе служить не будут – понятно?

Она снова послушно ответила:

– Ладно, Збышко.

Дальнейший разговор был прерван стуком деревянных бил, которые в Кшесне заменяли ещё тогда колокола. Вскоре весь поезд был уже на месте. Из толпы народа, ожидавшего перед костёлом начала обедни, тотчас вышли молодой Вильк и Чтан из Рогова; однако Збышко предупредил их: не успели они подбежать к Ягенке, как он соскочил с коня и, обхватив стан девушки, ссадил её с седла, взял за руку и, вызываясь глядя на хлопцев, повел её в костёл.

В притворе Вилька и Чтана ждало новое разочарование. Оба они бросились к кропильнице и, омочив руки, протянули их девушке. Однако то же самое сделал Збышко, Ягенка коснулась его пальцев, перекрестилась и вместе с ним вошла в костёл. Тут не только молодой Вильк, но даже Чтан из Рогова, парень недалекий, догадались, что все это сделано было с умыслом, и оба так вознегодовали, что у них волосы встали дыбом под сетками. Однако, опасаясь кары господней, они кое-как совладали с собой и в костёл в таком озлоблении войти не посмели; Вильк выбежал из притвора и как сумасшедший помчался по погосту между деревьями куда глаза глядят. Вслед за ним ринулся и Чтан, тоже не зная, зачем он это делает.

Они остановились в углу ограды, где были свалены огромные камни, приготовленные для фундамента колокольни, которую должны были строить в Кшесне. Чтобы хоть на чём-нибудь сорвать злость, которая так и душила их, Вильк ухватился за один камень и стал изо всех сил ворочать его; вслед за ним ухватился за камень и Чтан, и через минуту они в ярости покатали его через весь погост к самым воротам.

Народ смотрел на них в изумлении, думая, что это они обет дали такой, что это они хотят таким образом помочь соорудить колокольню. От усталости у хлопцев отошло от сердца, они опомнились, только побледнели от натуги и отдувались, неуверенно поглядывая друг на друга.

Первым прервал молчание Чтан из Рогова.

– Как же быть?

– А что? – спросил Вильк.

– Сейчас нападём на него?

– Как же ты нападёшь на него в костёле?

– Не в костёле, а после обедни.

– Он ведь с Зыхом и с аббатом. Или ты забыл, что Зых посулился, коли случится драка, нас обоих выгнать из Згожелиц. Не будь этого, я бы уж давно переломал тебе все ребра.

– Либо я тебе! – отрезал Чтан, сжимая могучие кулаки.

И глаза у них зловеще засверкали; однако хлопцы тотчас сообразили, что теперь им, больше чем когда бы то ни было, надо держаться вместе. Они не раз уже дрались, однако после драки всякий раз мирились, – жить они не могли друг без друга и всегда скучали врозь, хоть и разделяла их любовь к Ягенке. Теперь же у них был общий враг, и оба они чувствовали, что соперник этот для них очень опасен.

Помолчав с минуту времени, Чтан спросил:

– Что делать? Не послать ли ему вызов в Богданец?

Хотя Вильк был умнее своего товарища, однако на этот раз и он не знал, как быть. К счастью, на помощь им пришли била, которые застучали вновь, возвестив начало обедни.

– Что делать? – переспросил Вильк. – Идти к обедне, а там пусть будет, что Бог даст.

Этот разумный ответ успокоил Чтана из Рогова.

– Может, господь Бог наставит нас, – заметил он.

– И благословит, – прибавил Вильк.

– По справедливости.

Войдя в костёл, Вильк и Чтан с благоговением отслушали обедню и приободрились. Они не потеряли присутствия духа даже тогда, когда после обедни Ягенка в притворе снова приняла святую воду из рук Збышка. У ворот они в ноги поклонились Зыху, Ягенке и даже аббату, хоть он был врагом старого Вилька из Бжозовой. Правда, на Збышка они глядели исподлобья, но не выдали себя ни единым звуком, хотя сердце у них щемило от муки, гнева и зависти и Ягенка никогда не казалась им такой красавицей, сущей королевной. Лишь когда поезд тронулся в обратный путь и до них издали долетела веселая песня причетников, Чтан, отфыркиваясь, как лошадь, отер пот со своего заросшего лица, а Вильк, скрежеща зубами, проговорил:

– В корчму! В корчму! Горе мне!..

Тут они вспомнили, отчего им в прошлый раз стало легче, ухватились опять за камень и в ярости покатали его на прежнее место.

Меж тем Збышко ехал рядом с Ягенкой, слушая песни причетников аббата, однако, когда поезд проехал с версту, он осадил вдруг коня и сказал:

– Ба! Совсем позабыл! Я ведь хотел заказать службу о здравии дяди. Придется вернуться.

– Не возвращайся! – воскликнула Ягенка. – Пошлем человека из Згожелиц.

– Нет, я ворочусь, а вы меня не ждите. С Богом!

– С Богом! – сказал аббат. – Езжай!

И лицо у него повеселело, а когда Збышко скрылся из виду, он неприметно подтолкнул Зыха и сказал:

– Поняли?

– Что?

– В Кшесне он, как Бог свят, будет драться с Вильком и Чтаном, а я только этого и хотел и к этому клонил все дело.

– Они парни храбрые! Еще ранят его, что тогда?

– Как что? Коли он будет драться за Ягенку, как же ему потом думать про дочку Юранда? Не она, а Ягенка станет тогда его госпожой, а я только этого и хочу, – он мой родич и пришелся мне по сердцу.

– А как же с обетом?

– Да я тотчас его разрешу! Разве вы не слышали, что я сам посулил ему это?

– Ума палата, всегда-то вы найдетесь! – ответил Зых.

Аббат, польщенный похвалой, подъехал поближе к Ягенке и спросил:

– Ты что нос повесила?

Она склонилась в седле и, схватив руку аббата, прижала её к губам.

– Крёстный, вы бы послали песенников в Кшесню.

– Зачем? Перепьются они в корчме – и только.

– А может, помешают ссоре.

Аббат бросил на неё быстрый взгляд и вдруг резко сказал:

– Да хоть бы его там и убили!

– Тогда пусть и меня убьют! – воскликнула Ягенка.

И все горе, все сожаления, которые накопились в её груди со времени разговора со Збышком, излились вдруг в потоках слез. Увидев, что Ягенка плачет, аббат обнял девушку рукою так, что укрыл её чуть не всю широченным своим рукавом, и заговорил:

– Не бойся, доченька, ничего не бойся. Они могут там поссориться, но ведь и Вильк с Чтаном – шляхтичи, не станут они нападать на него все вдруг, на поединок вызовут, как рыцарский обычай велит, ну, а уж он-то с ними справится, хоть бы и с двумя сразу драться пришлось. Что ж до дочки Юранда, то одно скажу тебе: ни в одном лесу не растет дерево для их ложа.

– Коль она ему милее, так и я его не хочу! – сквозь слезы сказала Ягенка.

– Чего же ты тогда хнычешь?

– Боюсь за него.

– Вот уж подлинно бабий ум! – со смехом воскликнул аббат.

Тут он нагнулся к уху Ягенки и сказал ей:

– А ты, девушка, про то подумай, что, и женится он на тебе, все равно ему не раз драться придется, – он ведь шляхтич.

Нагнувшись ещё ниже, он прибавил:

– А женится он на тебе, как Бог свят, женится, и в самом скором времени!

– Где уж там! – возразила Ягенка.

А сама тотчас заулыбалась сквозь слезы и глянула на аббата так, будто хотела спросить, откуда же он это знает.

Меж тем Збышко, вернувшись в Кшесню, проехал прямо к ксендзу, так как в самом деле хотел заказать службу о здравии Мацька; уговорившись с ксендзом, он направился прямо в корчму, где надеялся застать молодого Вилька из Бжозовой и Чтана из Рогова.

Он и впрямь застал там обоих. Народу в корчме было полным-полно, пила тут и шляхта, знатная и мелкая, и мужики, и даже несколько захожих штукарей показывали всякие немецкие штуки. Однако в первую минуту Збышко ничего не мог разглядеть, так как окна в корчме, затянутые воловьими пузырями, пропускали мало света; только когда слуга подбросил в печку сосновых щепок, Збышко увидел в углу за братами пива волосатую рожу Чтана и суровое, гневное лицо Вилька из Бжозовой.

Тогда он медленно двинулся к ним, расталкивая по дороге толпу, и, подойдя вплотную, с такой силой ударил кулаком по столу, что грохот пошел по всей корчме.

Вильк и Чтан вскочили с мест и, сдвинув наперед кожаные пояса, хотели уже схватиться за мечи, но не успели они это сделать, как Збышко бросил на стол перчатку и, говоря в нос, как было в обычае у рыцарей при вызове на бой, произнес следующие, совершенно неожиданные, слова:

– Коли кто из вас или других рыцарей, присутствующих здесь, станет оспаривать, что панна Данута, дочь Юранда из Спыхова, – самая прекрасная и самая добродетельная девица на свете, то я вызову его на поединок, конного или пешего, до первого коленопреклонения или до последнего вздора.

Вильк и Чтан были просто поражены, как поразился бы и аббат, если б услышал что-либо подобное, и с минуту времени слова не могли вымолвить. Что это за панна? Они вовсе не о ней помышляют, а об Ягенке... А ежели этому шалому парню не нужна Ягенка, тогда чего он к ним лезет? Зачем рассердил их перед костёлом? Зачем пришел сюда и ищет с ними ссоры? Все перемешалось у них в головах, они даже рты разинули, а Чтан так вытаращился на Збышка, точно не человека увидел, а какое-то немецкое диво.

Но Вильк был побойчее, знал немного рыцарские обычаи и слышал, что рыцари часто дают обет служить одним дамам, а женятся вовсе на других, вот он и подумал, что и тут может такое случиться, и уж если подвертывается оказия подраться за Ягенку, то надо ею немедля воспользоваться.

Он вылез из-за стола, подошел к Збышку с видом, который не сулил ничего хорошего, и спросил:

– Так по-твоему, собачий ты сын, не Ягенка, дочка Зыха, прекраснее всех на свете?

Вслед за ним вылез из-за стола Чтан, и около них сразу стал собираться народ, потому что все уже поняли, что добром это дело не кончится.

XVII

Вернувшись домой, Ягенка тотчас послала слугу в Кшесню узнать, не подрался ли кто в корчме или не вызвал кого-нибудь на поединок. Однако слуга, получив на дороге скоец, засел в корчме пить со слугами ксендза и не помышлял о возвращении домой. Другой слуга, посланный в Богданец предупредить Мацька о прибытии аббата, вернулся, выполнив поручение, и сказал, что видел, как Збышко играл со старым шляхтичем в кости.

Ягенка немного успокоилась, она знала, как ловок и искусен в бою Збышко, и опасалась не столько того, что его могут вызвать на бой, сколько того, что в корчме может неожиданно стрястись какая-нибудь беда. Ей хотелось съездить с аббатом в Богданец, но тот решительно воспротивился, так как хотел поговорить с Мацьком о залоге и об одном ещё более важном деле, а такой свидетель, как Ягенка, был бы при этом лишним.

К тому же аббат собирался заночевать в Богданце. Узнав о благополучном возвращении Збышка, он пришел в отличное расположение духа и велел своим причетникам горланить песни так, что стон стоял в лесу, а в самом Богданце мужики выглядывали из халуп, чтобы узнать, не пожар ли это случился или, может, враг наступает. Но пилигрим, ехавший впереди с кривым посохом в руке, успокаивал их, что это едет высокая духовная особа, и мужики кланялись и даже осеняли себя крестным знамением; видя, какие ему воздают почести, аббат возвеселился и возгордился и ехал вперед, радуясь на мир божий, преисполненный благоволения к людям.

Услышав крики и песни, Мацько и Збышко к самым воротам вышли встречать аббата. Некоторые причетники уже бывали с аббатом в Богданце, но те из них, которые недавно присоединились к его свите, никогда Богданца не видали. Они приуныли, когда взорам их открылся убогий домишко, который и сравнить нельзя было с обширным домом в Згожелицах. Однако, заметив, что сквозь соломенную стреху домишка пробивается дым, они воспрянули духом и совсем оживились, когда вошли в дом и услышали запах шафрана и всяких яств и увидели два стола, уставленные

оловянными мисками, правда ещё пустыми, но такими огромными, что один вид их радовал глаз. На столе поменьше сверкала приготовленная для аббата миска чистого серебра и такой же, украшенный богатой резьбой, кубок, добытые вместе с другими богатствами у фризов.

Мацько и Збышко тотчас стали звать гостей к столу, но аббат, который, уезжая из Згожелиц, плотно поел, отказался, тем более что его занимало совсем другое. По приезде в Богданец он сразу стал пытливо и вместе с тем беспокойно всматриваться в Збышка, словно хотел найти на нем следы драки; при виде спокойного лица юноши его охватило такое нетерпение, что он уже не мог сдержать свое любопытство.

– Пойдем-ка в боковушу, – сказал он, – поговорим насчет залога. Не прекословить, не то рассержусь!

Затем он повернулся к причетникам и рявкнул:

– А вы потише там да под дверью мне не подслушивать!

Он отворил дверь и с трудом протиснулся в боковушу, за ним вошли Збышко и Мацько. Когда они расселись на сундуках, аббат повернулся к молодому рыцарю.

– В Кшесне был? – спросил он.

– Был.

– Ну и что же?

– Службу заказал о здравии дяди, вот и все.

Аббат нетерпеливо заерзал на сундуке.

«Ишь! – подумал он. – Не встретился ни с Чтаном, ни с Вильком; может, их не было, а может, он и не искал их. Дал я маху!»

Аббат страшно был зол, что ошибся и обманулся в своих расчетах. Кровь мгновенно прилила у него к лицу, он запыхтел и стал отдуваться.

– Поговорим о залоге! – сказал он, помолчав с минуту времени. – Деньги есть?.. Нет, так Богданец мой!..

Мацько, который знал, как с аббатом нужно держаться, молча поднялся, открыл сундук, на котором сидел, достал, видно заранее приготовленный, мешок гривен и сказал:

– Люди мы бедные, но не без денег, и что с нас причитается, все платим сполна, как написано в закладной, которую я сам засвидетельствовал, сам крест святой на ней поставил. Ежели за порядок и за прибыль в хозяйстве доплату желаете получить, спорить не станем, заплатим, сколько велите, и в ноги вам поклонимся, благодетелю нашему.

С этими словами он поклонился в ноги аббату, а вслед за ним то же самое сделал Збышко. Аббат, который думал, что с ним станут спорить и торговаться, был совсем озадачен и даже огорчен, так как ему хотелось выставить при торге свои условия, а меж тем случай был упущен.

Отдавая закладную с крестом, поставленным неграмотным Мацьком, аббат сказал:

– Что вы мне про доплату толкуете?

– Не хочу я даровщины, – ответил хитрый Мацько, который знал, что чем больше он тут будет спорить, тем больше выиграет.

Аббат мгновенно вспыхнул:

– Видали! Даровщины не хочет от родичей! Кусок наш ему поперек горла стал! Не пустое место я брал в залог, не пустое и отдаю, а захочу наземь швырнуть этот мешок, так и швырну!

– Этого вы не сделаете! – воскликнул Мацько.

– Не сделаю? Вот ваш залог, вот ваши гривны! Даю вам из милости, а захочу, на дороге брошу, и нет вам до этого никакого дела. Говорите, не сделаю!

С этими словами он ухватил мешок за затяжку и грохнул его об пол так, что лопнуло полотно и посыпались деньги.

– Спасибо! Спасибо вам, отец и благодетель! – воскликнул Мацько, который только этого и ждал. – От другого я бы не взял, а от родича, да ещё духовного, – возьму!..

Аббат некоторое время грозно взирал то на него, то на Збышка и наконец сказал:

– И в гневе я знаю, что делаю. Владейте, это ваше добро, но знайте, больше не видать вам ни единого скойца.

– Да мы и на это не надеялись.

– Так и знайте, все, что после меня останется, получит Ягенка.

– И землю? – наивно спросил Мацько.

– И землю! – рявкнул аббат.

Лицо у Мацька вытянулось, но он овладел собою и сказал:

– Э, что там думать о смерти! Дай вам Бог сто лет здравствовать, а сперва дай вам Бог богатую епископию.

– А хоть бы и так!.. Хуже я других, что ли! – отрезал аббат.

– Не хуже, а лучше.

Эти слова успокоили аббата, да он и не мог долго сердиться.

– Ну, – сказал он, – вы мои родичи, а она только крестница, но давно уж люблю я её и Зыха. Нет на свете человека лучше Зыха, и девушки нет лучше Ягенки! Кто может сказать про них дурное?

И он вызывающе повел глазами: но Мацько и не думал возражать, напротив, он поспешил подтвердить, что более достойного соседа не сыскать во всем королевстве.

– Что ж до девушки, так я бы родной дочке так не любил, как её люблю. Она меня поставила на ноги, по гроб я этого не забуду.

– Будете ввергнуты в геенну огненную, коли про это забудете, – сказал аббат, – я первый проклянущу вас за это. Не хочу я вас обижать, вы мои родичи, потому и придумал я, как сделать, чтобы все мое наследство досталось и Ягенке, и вам, – поняли?

– Дай-то Бог, чтоб так оно было! – ответил Мацько. – Господи Иисусе, да я бы пешком пошел в Краков ко гробу королевы и на Лысую гору поклониться древу животворящего креста господня.

Аббат обрадовался, услышав, с каким жаром говорит Мацько, и сказал с улыбкой:

– Девушка имеет право женихов разбирать – и собой хороша, и приданое богатое, да и рода знатного! Что ей Чтан или Вильк, для неё и воеводич не велика честь. Но ежели бы, к примеру, я кого-нибудь ей посватал, она б за того пошла, любит она меня и знает, что худого я ей не присоветую.

– Хорошо тому будет, кого вы ей посватаете, – сказал Мацько.

Но аббат обратился к Збышку:

– А ты что скажешь?

– А что дядя думает, то и я...

Лицо аббата ещё больше посветлело, он хлопнул Збышка по спине так, что эхо отдалось в боковуше, и сказал:

– Чего это ты около костёла не допустил к Ягенке ни Чтана, ни Вилька, а?..

– Чтоб они не думали, будто я их боюсь, да и вы чтоб этого не подумали.

– Да ведь ты и святую воду ей подавал.

– Подавал.

Аббат опять хлопнул его по спине.

– Так ты... так ты женись на ней!

– Женись! – воскликнул и Мацько.

Збышко заправил волосы под сетку и спокойно возразил:

– Как же мне на ней жениться, коли я в Тынце перед алтарем дал обет Данусе?

– Ты ей павлиньи чубы обещал, ну и ищи их, а на Ягенке сейчас же женись!

– Нет, – возразил Збышко, – когда Дануся покрывало набросила на меня, я обещал жениться на ней.

Лицо аббата стало наливаясь кровью, уши побагровели, глаза, казалось, вот-вот выйдут из орбит; он шагнул к Збышку и сказал глухим от гнева голосом:

– Обеты твои – плевел, а я ветер – понял! Вот!

И он с такой силой дунул на Збышка, что у того сетка слетела с головы и волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Збышко нахмурился и, глядя аббату прямо в глаза, произнес:

– Обеты мои – это честь моя, а её я сам блюду!

Услышав эти слова, не привыкший к противоречию аббат совсем задохнулся, даже язык на какое-то время у него отнялся.

Воцарилось зловещее молчание.

– Збышко! – прервал наконец Мацько молчание. – Опомнись! Что с тобой?

Подняв руку и показывая на юношу, аббат крикнул:

– Что с ним? Знаю я, что с ним: это душа у него не рыцарская и не шляхетская, а заячья. Он Чтана и Вилька боится, вот что с ним!

А Збышко, который ни на минуту не потерял самообладания, небрежно пожал плечами и возразил:

– Эва! Да я им головы разбил в Кшесне.

– Побойся ты Бога! – воскликнул Мацько.

Аббат глаза вытаращил на Збышка. Гнев боролся в нем с изумлением, однако одаренный от природы быстрым умом старик тотчас сообразил, что эту драку с Вильком и Чтаном он может использовать для своих замыслов.

Поостыв, он прикрикнул на Збышка:

– Что же ты не сказал об этом?

– Мне было стыдно. Я думал, они, как подобает рыцарям, вызовут меня на поединок и мы будем драться конные или пешие; но они не рыцари, а разбойники. Вильк первый отодрал от стола доску, Чтан отодрал другую – и ко мне! Что мне было делать? Схватил я лавку, да как... ну, вы сами понимаете!..

– Живы ли они? – спросил Мацько.

– Живы, только лежали без памяти, но ещё при мне очнулись.

Аббат слушал, потирая лоб, и вдруг как вскочит с сундука, на который присел было, чтобы обмозговать все хорошенько.

– Погоди!.. – воскликнул он. – Вот что я теперь скажу тебе!

– Что же вы мне скажете? – спросил Збышко.

– А вот что: коли ты за Ягенку дрался и парням из-за неё головы проломил, так ты и впрямь не кто иной, как её рыцарь, и должен на ней жениться.

Тут он подбоченился и с победоносным видом уставился на Збышка; однако тот улыбнулся только и сказал:

– Эх, знал я отлично, зачем вы хотите натравить меня на них, да только ошиблись вы.

– Как так ошибся?.. Говори!

– Да ведь я велел им подтвердить, что Дануська самая прекрасная и самая добродетельная девица на свете, и не я, а они за Ягенку вступились, вот из-за этого-то мы и подрались.

Аббат на минуту просто окаменел, так что только по движению глаз можно было догадаться, что он ещё жив. Вдруг он круто повернулся, вышиб ногой дверь боковуши, выбежал в горницу, выхватил у пилигрима из рук кривой его посох и, рыча, как раненый тур, принялся лупить своих песенников.

– По коням, скоморохи! По коням, собачьи дети! Ноги моей в этом доме не будет! По коням, кто в Бога верует! По коням!

И, вышибив другую дверь, выбежал во двор; за ним последовали изумленные странствующие причетники. Двинувшись толпою к конюшне, они миглом оседлали коней. Тщетно Мацько бегал за аббатом, тщетно просил и молил его, клялся, что ни в чем не повинен, – все было напрасно! Аббат ругался на чём свет стоит, проклинал и дом, и поля, и людей, а когда ему подвели коня, вскочил на него без стремян и помчался во весь опор с развевающимися на ветру рукавами, подобный огромной красной птице. причетники в тревоге скакали за ним, как стадо за своим вожаком.

Мацько некоторое время смотрел им вслед, а когда они скрылись в лесу, медленно вернулся в дом и, уныло качая головой, сказал Збышку:

– Что же это ты натворил!..

– Ничего бы этого не было, когда бы я раньше уехал отсюда, а не уехал я из-за вас.

– Как так из-за меня?

– Не хотел больного вас бросить.

– А как же теперь?

– А теперь уеду.

– Куда?

– В Мазовию, к Дануське... и павлиньи чубы у немцев искать.

Мацько помолчал с минуту времени, а затем сказал:

– Закладную он нам отдал, но залог-то остался и записан в судебную книгу. Не простит нам теперь аббат ни единого скойца.

– Ну что ж, пускай не прощает. Деньги у вас есть, а мне на дорогу ничего не надо. Меня везде примут и коней покормят; а коль панцирь на мне и меч при мне, так и тужить-то мне не о чем.

Пораздумался Мацько обо всем, что случилось. Не по его все вышло. Сам-то он всей душой желал, чтобы Збышко женился на Ягенке, да понял теперь, что не испечь из этой муки хлеба, ну а коли аббат и Зых с Ягенкой гnevаются да припуталась ещё эта драка с Чтаном и Вильком, так уж лучше Збышку уехать, чем и дальше быть причиной раздоров и споров.

– Эх! – сказал он. – Ничего не поделаешь, все едино придется тебе искать немецкие головы, так уж лучше езжай. Пусть будет, как Богу угодно... А мне сейчас надо ехать в Згожелицы; может, как-нибудь удастся уломать Зыха и аббата... Зыха мне особенно жаль.

Тут старик заглянул Збышку в глаза и спросил вдруг:

– А тебе не жаль Ягенки?

– Дай Бог ей здоровья и счастья! – ответил Збышко.

XVIII

Мацько терпеливо выждал несколько дней в надежде, что до него дойдет какая-нибудь весть из Згожелиц или сам аббат переложит гнев на милость; но в конце концов ему наскучили неопределенность и ожидание, и он решил сам съездить к Зыху. Не по его вине все это случилось, а все же старику хотелось знать, не обиделся ли Зых и на него; что до аббата, то он был уверен, что отныне он со Збышком впал у родича в немилость.

Однако Мацько хотел сделать все, что было в его силах, чтобы смягчить гнев аббата, и по дороге все раздумывал да прикидывал, что да как сказать в Згожелицах, чтобы загладить вину и сохранить прежние добрососедские отношения. Но старик никак не мог собраться с мыслями и обрадовался, застав дома одну Ягенку, которая приняла его по-старому, и поклонилась, и руку поцеловала, словом, встретила приветливо, хотя и была немного грустна.

– Отец дома? – спросил старик.

– На охоту уехал с аббатом. Они скоро должны вернуться...

Ягенка ввела гостя в дом, и они долго сидели в молчании, пока девушка наконец не спросила первая:

– Скучно вам одному в Богданце?

– Скучно, – ответил Мацько – А ты уже знаешь, что Збышко уехал?

Ягенка тихо вздохнула.

– Знаю. Я в тот же день узнала; думала, заедет доброе слово сказать на прощанье, а он и не заехал.

– Как же ему было заезжать-то, ведь аббат пополам бы его разорвал, да и твой отец не захотел бы его видеть.

Она тряхнула головой и ответила:

– Эх! Никому не дала б я его в обиду.

Твердое сердце было у Мацька, но эти слова растрогали старика, он привлек к себе девушку и сказал:

– Бог с тобой, мое дитячко! Ты невесела, да ведь и мне невесело, потому, скажу я тебе, ни отец родной, ни аббат не любят тебя больше, чем я. Лучше было мне от той раны погибнуть, что ты меня вылечила, только б женился он не на другой, а на тебе.

Такая печаль и тоска нашла вдруг на Ягенку в эту минуту, что не могла она больше таиться.

– Не видать уж мне его больше, – сказала она, – а увидеть с дочкой Юранда, так лучше мне прежде очи выплакать.

И концом передника она прикрыла глаза, на которые набежали слезы.

– Ну, полно! – воскликнул Мацько. – Уехать-то он уехал, но, даст Бог, с дочкой Юранда не воротится!

– Отчего ж ему с нею не воротиться? – промолвила Ягенка из-под передника.

– Да ведь не хочет Юранд отдать за него Дануську.

Ягенка вдруг открыла лицо и, повернувшись к Мацьку, живо спросила:

– Он и мне говорил, да только правда ли это?

– Правда, истинная правда.

– Отчего же не хочет-то?

– Да кто его знает. Обет, что ли, он дал, а против обета разве пойдешь. По душе ему Збышко пришелся, и немцам помочь отомстить обещался, да и это не помогло. Зря его и княгиня Анна сватала. Не хотел Юранд слушать ни просьб, ни приказов, ни увещаний. Сказал, что не может. Ну, видно, есть у него причина такая, что и впрямь не может; человек он твердый, коль сказал, слову своему не изменит. Ты, девушка, не падай духом, приободришься. По правде сказать, должен был он уехать, ведь в костёле дал клятву добыть павлиньи гребни. Да и девушка покрывалом его накрыла в знак того, что хочет выйти за него замуж, потому и голову ему не отрубили; в долгу он у неё, что говорить! Даст Бог, не будет она женой ему, но по закону он её суженый. Зых на него сердит, аббат, верно, бранится на чём свет стоит, я на него тоже гневаюсь; но ты сама посуди, что ему было делать? Раз он в долгу перед той, надо было ехать. Он ведь шляхтич. Одно только скажу: не побьют его где-нибудь немцы, вернется он не только ко мне, старику, не только в

Богданец, но и к тебе: уж очень ты была ему по сердцу.

– Где уж там! – сказала Ягенка.

Но придвинулась к Мацьку и, тихонько толкнув его локтем, спросила:

– Откуда вы знаете? А? Ведь неправда все это?..

– Откуда я знаю? – переспросил Мацько. – Да видел, как тяжело ему было уезжать. И уж когда решили мы, что уедет он, спросил я у него: «А не жаль тебе Ягенки?» А он сказал: «Дай Бог ей здоровья и счастья». Да так развздохался, будто кузнечный мех был у него в середине...

– Да нет, неправда!.. – повторила потише Ягенка. – Но только вы рассказывайте...

– Ей-ей, правда!.. Уж после тебя та ему не больно придется по вкусу – сама знаешь, ядреней и красивей девки, чем ты, на всем свете не сыщешь. Небось чуяло его сердце, что ты его суженая, и любил-то он, может, тебя больше, чем ты его.

– Вот уж нет! – воскликнула Ягенка.

И, сообразив, что выдала себя, закрыла рукавом румяное, как наливное яблочко, лицо, а Мацько улыбнулся, погладил усы и сказал:

– Эх, вот бы молодость! Но ты не падай духом, я уж вижу, как дело обернется: поедет он, получит при мазовецком дворе шпоры, – там граница близко, на крестоносца легко наткнуться... Знаю я, и немцы бывают могучими рыцарями и железо может проткнуть его шкуру, но только думаю, что не всякий с ним справится, ловкий из него, дьявола, вояка. Подумай только, как он в один миг разделался с Чтаном из Рогова и Вильком из Бжозовой, а ведь они, говорят, молодцы и крепкие парни, сущие медведи. Привезет он свои чубы, но дочка Юранда не привезет, я ведь сам говорил с Юрандом и знаю, как обстоит дело. Ну, а что потом? Потом сюда воротится, больше ему воротиться некуда.

– Когда ещё он там воротится?

– Ну, коли ты не выдержишь, так уж не пеняй. А пока передай аббату и Зыху все, что я тебе рассказал. Может, меньше станут гневаться на Збышка.

– Как же мне передать им? Батюшка не очень гневается, больше печалится, а при аббате и вспомнить нельзя про Збышка. Досталось от него и мне, и батюшке за слугу, которого я послала Збышку.

– Какого слугу?

– Да вы его знаете. Чех у нас был, которого батюшка взял в полон под Болеславцем, хороший слуга, верный. Звать его Главой. Батюшка приставил его служить мне, потому что он сказал, что дома у себя был шляхтичем, а я дала ему добрую броню и послала к Збышку, чтобы он служил ему и охранял его, а случись какая беда, дал бы знать... Я ему и кошелек на дорогу дала, а он спасением души поклялся мне, что до самой смерти будет верно служить Збышку.

– Мое ты дитяtko! Спасибо тебе! А Зых не перечил?

– А чего ему было перечить? Сперва он никак не хотел позволить, а повалилась я ему в ноги – и вышло по-моему. С батюшкой никаких хлопот не было, а вот как аббат прознал обо всем этом от своих скоморохов, такой крик поднял, сущее светопреставление, батюшка даже в ригу от него убежал. Только вечером сжалился аббат над моими слезами, да ещё ожерелье мне подарил. Но я бы все стерпела, только бы у Збышка слуг было побольше.

– Ей-ей, не знаю, его иль тебя больше люблю; но ведь он и без того взял много людей, да и денег я ему дал, хоть он и не хотел... Ну, а Мазовия не за горами...

Разговор был прерван лаем собак, криками и громом медных труб перед домом. Заслышав шум, Ягенка сказала:

– Батюшка с аббатом с охоты воротились. Выйдемте на крылечко, лучше пусть аббат увидит вас издали, а не вдруг в доме.

С этими словами она проводила Мацька на крылечко, откуда они увидели во дворе на снегу целую кучу народа, коней и собак и тут же туши заколотых рогатинами или убитых из самострела лосей и волков. Завидев Мацька, аббат, прежде чем соскочить с коня, метнул в его сторону рогатину; правда, он вовсе не думал попасть в старика, а хотел только показать, как сильно он гневается на обитателей Богданца. Но Мацько сделал вид, будто ничего не заметил, снял шапку и издали ему поклонился, а Ягенка, та и впрямь ничего не заметила, – она поразилась, увидев в толпе обоих своих вздыхателей.

– Здесь Чтан и Вильк! – вскричала она. – Верно, встретились с батюшкой в лесу.

А у Мацька старая рана заныла, когда он увидел их. В голове его тотчас пронеслась мысль, что один из них может жениться на Ягенке и получить за нею Мочидолы, земли аббата, его леса и деньги... И от смешанного чувства досады и злости защемило у старика на сердце, особенно когда он увидел, как Вильк из Бжозовой, с чьим отцом аббат недавно хотел драться, подбежал к его стремени и помог спешиться, аббат же, слезая с коня, милостиво оперся на плечо молодого шляхтича.

«Так вот и сладит аббат дело со старым Вильком, – подумал Мацько, – отдаст за девкой и леса, и земли».

Но эти горькие мысли прервал голос Ягенки:

– Уж успели подлечиться после взбучки, которую им задал Збышко; но хоть каждый божий день будут ездить сюда – все равно ничего не дождутся!

Мацько поглядел на Ягенку: лицо девушки пылало от гнева и мороза, голубые глаза сердито сверкали, а ведь она отлично знала, что Вильк и Чтан вступились за неё в корчме и из-за неё были избиты Збышком.

Но Мацько сказал:

– Эх! Сделаешь так, как аббат велит.

Но она решительно возразила:

– Аббат сделает, как я захочу.

«Господи боже мой! – подумал Мацько. – И этот глупый Збышко упустил такую девку!»

XIX

А «глупый» Збышко и впрямь уехал из Богданца с тяжелым сердцем. Прежде всего ему было как-то непривычно, не по себе, без дяди, с которым он многие годы не расставался и к которому так привык, что сейчас сам не знал, как будет обходиться без него в пути и на войне. А потом, жаль было ему Ягенки; хоть и старался он убедить себя, что едет к Данусе, что любит её всем сердцем, однако только теперь он почувствовал, как хорошо ему было с Ягенкой, как сладки были их встречи и как тоскует он по ней. Он и сам дивился, чего так загрустил вдруг без неё, – все ведь было бы ничего, когда б тосковал он по Ягенке, как брат по сестре. Но он-то понимал, чего ему недостает: ему хотелось снова и снова обнимать её стан и сажать её на коня или снимать с седла, снова и снова переносить через речки и выжимать воду из её косы, снова и снова бродить с ней по лесам, и глядеть на неё не наглядеться, и «советоваться» с ней. Так привык он к ней и так сладко все это было, что не успел он об этом подумать, как тотчас предался мечтам и, совсем забыв, что впереди у него долгий путь в Мазовию, живо представил себе ту минуту, когда в лесу он боролся один на один с медведем и Ягенка пришла вдруг ему на помощь. Будто вчера все это было, и будто вчера ходили они на бобров на Одстаянное озерцо. Он не видел тогда, как пустилась она вплавь за бобром, но сейчас ему чудилось, будто видит её, – и истома напала на него, как две недели назад, когда ветер пошалил с её платьем. Потом вспомнилось ему, как ехала она в пышном наряде в Кшесню в костёл и как дивился он, что такая простая девушка едет вдруг, словно знатная панночка со своей свитой. И тревогу, и блаженство, и печаль ощутил он вдруг в своем сердце, а как вспомнил, что мог бы позволить себе с нею все, что хотел, что и она льнула к нему, смотрела ему в глаза, рвалась к нему, так едва усидел на коне. «Хоть бы встретился с ней и простился, обнял на дороге, может, легче б мне стало», – говорил он себе; однако тотчас почувствовал, что это неправда, что не стало бы ему легче, потому что при одной мысли об этом прощании его бросило в жар, хоть на дворе уже было морозно.

Он испугался вдруг этих уж очень греховных воспоминаний и стряхнул их с себя, как сухой снег с епанчи.

«К Дануське еду, к моей возлюбленной!» – сказал он себе.

И тотчас понял, что иная эта любовь у него, что чище она и кровь от неё не играет так по жилкам. По мере того как ноги леденели у него в стременах и холодный ветер студил кровь, все его мысли устремились к Данусе. Уж ей-то он всем был обязан. Не будь Дануси, голова его давно бы скатилась с плеч на краковском рынке. Ведь с той поры как она перед всеми рыцарями и горожанами сказала: «Он мой!» – и вырвала его из рук палачей, он принадлежит ей, как раб госпоже. Не он, а она избрала его, и, сколько бы ни противился этому Юранд, ничего он тут не поделает. Одна она может прогнать его прочь, как прогоняет слугу госпожа, но и тогда он не уйдет от неё, потому что связал себя обетами. Но тут ему подумалось, что не прогонит она его, что скорее покинет мазовецкий двор и пойдет за ним хоть на край света, и он стал восхвалять в душе её и осуждать Ягенку, будто та одна только и была повинна в том, что он поддался греховному соблазну и что сердце его раздвоилось. Теперь уж он не вспомнил о том, что Ягенка выходила старого Мацька, что, не будь её, медведь в ту ночь, быть может, содрал бы ему самому кожу с головы, он нарочно старался думать про Ягенку одно худое, полагая, что тогда будет более достоин Дануси и оправдается в собственных

глазах.

Но в это время его догнал, ведя за собой навьюченного коня, посланный Ягенкой чех Глава.

– Слава Иисусу Христу! – сказал он с низким поклоном.

Раза два Збышко встречал его в Згожелицах, но сейчас не признал.

– Во веки веков! – ответил он. – Ты кто такой?

– Ваш слуга, милостивый пан!

– Как мой слуга? Вот мои слуги, – кивнул он на двоих турок, подаренных ему Сулимчиком Завишей, и на двоих рослых парней, которые, сидя верхом на меринах, вели за собой его скакунов, – вот мои слуги, а тебя кто прислал?

– Панна Ягенка из Згожелиц.

– Панна Ягенка?

Збышко только что думал о девушке одно худое, и сердце его ещё было полно неприязни к ней, поэтому он сказал:

– Воротись домой и скажи панне спасибо, не нужен ты мне.

Но чех покачал головой:

– Не порчусь я, пан. Меня вам подарили, да и я поклялся служить вам до смерти.

– Раз тебя подарили мне, так ты мой слуга?

– Ваш, пан.

– Тогда я приказываю тебе воротиться.

– Я поклялся, и хоть я невольник из Болеславца и бедный слуга, но шляхтич..

Збышко разгневался:

– Прочь отсюда! Это ещё что такое! Хочешь служить мне против моей воли? Прочь, не то прикажу натянуть самострел.

Чех спокойно отторочил суконную епанчу, подбитую волчьим мехом, отдал её Збышку и сказал:

– Панна Ягенка и вот это прислала вам, вельможный пан.

– Хочешь, чтоб я тебе ребра переломал? – спросил Збышко, беря из рук конюха копье.

– И кошелек велено вам отдать, – продолжал чех.

Збышко замахнулся было, но вспомнил, что хоть слуга и невольник, но сам

шляхетского рода и у Зыха остался, верно, только потому, что не на что ему было выкупиться, – и опустил копье.

Чех склонился к его стремям и сказал:

– Не гневайтесь, пан. Не велите вы мне ехать с вами, так я поеду следом в сотне шагов, я ведь спасением души своей клялся.

– А ежели я прикажу убить тебя или связать?

– Прикажете убить, не мой грех это будет, а связать прикажете, так останусь лежать, куда меня люди добрые не развяжут либо волки не съедят.

Збышко ничего ему не ответил, тронул коня и поехал вперед, а за ним последовали его слуги. Чех с самострелом за плечами и с секирой на плече потащился сзади, кутаясь в косматую шкуру зубра от резкого ветра, который подул внезапно, неся снежную крупу.

Метель крепчала с каждой минутой. Турки, хоть и были одеты в тулупы, коченели от стужи, конюхи Збышка стали хлопать руками, а сам он, тоже одетый не очень тепло, покосился раз-другой на волчью епанчу, привезенную Главой, и через минуту велел турку подать её.

Плотно закутавшись в епанчу, он почувствовал вскоре, как тепло разливается у него по жилам. Особенно удобен был капюшон, который закрывал глаза и часть лица, так что буря теперь почти не донимала молодого рыцаря. И невольно он подумал, что Ягенка добрейшей души девушка, и придержал коня, пожелав расспросить чеха о ней и обо всем, что творилось в Згожелицах.

Кивнув слуге, он спросил:

– Знает ли старый Зых, что панна послала тебя?

– Знает, – ответил Глава.

– И не перечил он панне?

– Перечил.

– Расскажи, как все было.

– Пан ходил по горнице, а панна за ним. Он кричал, а панночка – ни гугу, но только он к ней обернется, она бух ему в ноги. И ни слова. Говорит наконец пан: «Оглохла ты, что ли, что ничего на все мои доводы не отвечаешь? Молви хоть словечко, не то позволю, а позволю, так аббат голову мне оторвёт!» Тут панна поняла, что на своем поставит, да в слезы, и знай пана благодарит. Он стал выговаривать панночке, что взяла она волю над ним, что всегда на своем поставит, а потом и говорит: «Поклянись, что не побежишь украдкой прощаться с ним, тогда позволю, иначе нет».

Запечалилась тут панночка, но дала обещание, и пан очень обрадовался, потому что они с аббатом страх как боялись, как бы не вздумалось ей повидаться с вами. Но этим дело не кончилось, захотела тут панна пару коней дать, а пан ни в какую, захотела панна волчью епанчу послать и кошелек, а пан ни в какую. Да что там его

запреты! Она бы дом вздумала поджечь, и то бы он согласился. Вот и лишний конь у вас, и волчья епанча, и кошелек...

«Добрейшей души девушка!» – подумал про себя Збышко.

Через минуту он спросил вслух:

– А с аббатом у них все обошлось?

Чех улыбнулся, как бойкий слуга, отлично понимающий, что вокруг него творится, и ответил:

– Они оба тайком от аббата все это делали, и что там было, когда он прознал обо всем, я не знаю, я раньше уехал. Аббат как аббат! Рывкнет иной раз и на панночку, а потом в глаза ей заглядывает, не очень ли обидел. Сам я видал, как он накричал на неё один раз, а потом полез в сундук и такое ей принес ожерелье, что и в Кракове лучше не сыщешь. «На вот!» – говорит. Справится она и с аббатом, отец родной не любит её так, как он.

– Это правда.

– Истинный Бог, правда...

Они умолкли и продолжали подвигаться вперед сквозь ветер и снежную крупу. Вдруг Збышко придержал коня, до слуха его из чащи донесся жалобный голос, заглушаемый лесным шумом:

– Христиане, спасите слугу Божьего в беде!

Тут на дорогу выбежал человек в полумонашеской-полусветской одежде и, остановившись перед Збышком, стал кричать:

– Кто бы ты ни был, милостивый пан, подай руку помощи человеку и ближнему в тяжелой беде!

– Что за беда стряслась над тобою и кто ты такой? – спросил молодой рыцарь.

– Я слуга Божий, хоть и не посвященный, а стряслась надо мною вот такая беда: нынче утром вырвался у меня конь, который вез короба со святынями. Остался я один, безоружный, вечер приближается, и скоро в лесу завоют лютые звери. Погибну я, коли вы меня не спасете.

– Коли по моей вине ты погибнешь, мне придется отвечать за твои грехи, – сказал Збышко, – но откуда мне знать, правду ты говоришь или, может, ты бродяга, а то и разбойник, каких много шатается по дорогам?

– Это ты, пан, узнаешь по моим коробам. Любой человек отдал бы кошель, набитый дукатами, лишь бы завладеть тем, что хранится в них, но тебе я даром уделю немножко, только прихвати меня с моими коробами.

– Вот ты говоришь, будто ты слуга божий, а того не знаешь, что спасти людей надо не ради земных, а ради небесных благ. Но как же ты спас короба, коли у тебя убежал конь, который вез их?

– Да ведь коня в лесу на полянке волки задрали, я только тогда его и нашел, ну, а короба уцелели, я притащил их на обочину дороги и стал ждать, пока добрые люди смилосердятся и спасут меня.

Желая доказать, что он говорит правду, незнакомец показал на два лубяных короба, лежавших под сосной. Збышко смотрел на него с недоверием, человек этот казался ему подозрительным, да и выговор его, хоть и довольно чистый, выдавал, однако, иноземное происхождение путника. Но отказать незнакомцу в помощи Збышко не хотел и позволил ему сесть с коробами, удивительно легкими, на свободного коня, которого вел чех.

– Да умножит Бог твои победы, храбрый рыцарь! – сказал незнакомец.

И, видя юное лицо Збышка, прибавил вполголоса:

– И волосы в твоей бороде.

Через минуту он уже ехал рядом с чехом. Некоторое время они не могли разговаривать, потому что за сильным ветром и страшным лесным шумом ничего не было слышно; но когда буря поутихла, Збышко услышал позади следующий разговор:

– Я ничего не говорю, может, ты и был в Риме, но уж очень похоже, что ты охотник до пива, – говорил чех.

– Берегись вечных мук, – ответил незнакомец, – ибо ты говоришь с человеком, который на прошлую пасху ел крутые яйца с его святейством. И не говори мне по такому холоду про пиво, разве только про гретое, но, коли есть у тебя баклажка с вином, дай хлебнуть два-три глотка, а я тебе отпущу месяц чистилища.

– Да ведь я сам слышал, как ты говорил, что вовсе ты не посвященный, как же ты можешь отпустить мне месяц чистилища?

– Это верно, что я непосвященный, но макушка у меня выбрита, я получил на то дозволение, да к тому же я с собой вожу отпущения и святыни.

– В этих коробах? – спросил чех.

– В этих коробах. Да если бы вы только видели, что у меня там хранится, то пали бы ниц, и не только вы, но и все сосны в бору вместе с дикими зверями.

Но чех, парень бойкий и бывалый, подозрительно поглядел на торговца индугенциями и спросил:

– А коня волки съели?

– Съели, они ведь сродни дьяволам, но только потом лопнули. Одного я видел собственными глазами. Коли есть у тебя вино, дай хлебнуть, а то хоть ветер и стих, да уж очень я промерз, куда сидел у дороги.

Однако вина чех ему не дал, и они снова ехали в молчании, пока торговец индугенциями не спросил:

– Куда это вы едете?

– Далеко. Но пока в Серадз. Поедешь с нами?

– Придется. Переночую в конюшне, а завтра этот благочестивый рыцарь, может, подарит мне коня, и я поеду дальше.

– Откуда ты?

– Из прусских владений, из Мальборка.

Услышав об этом, Збышко повернулся и кивнул незнакомцу головой, приказывая ему подъехать поближе.

– Ты из Мальборка? – спросил он. – И едешь оттуда?

– Из Мальборка.

– Но ты, верно, не немец, хорошо говоришь по-нашему. Как звать тебя?

– Немец я, а зовут меня Сандерус; по-вашему я говорю потому, что родился в Торуне, а там весь народ говорит по-польски. Потом я жил в Мальборке, но там тоже говорят по-польски. Да что там! Крестоносцы, и те понимают по-вашему.

– А давно ты из Мальборка?

– Да я, пан, и в святой земле побывал, и в Константинополе, и в Риме, а оттуда через Францию вернулся в Мальборк, а уж из Мальборка двинулся в Мазовию со своими святынями, которые набожные христиане охотно покупают для спасения души.

– В Полоцке или в Варшаве был?

– Был и там, и там. Дай Бог здоровья обеим княгиням! Недаром княгиню Александру любят даже прусские рыцари, она очень благочестива, да и княгиня Анна не хуже её.

– Двор в Варшаве видел?

– Я его не в Варшаве, а в Цеханове встретил, где князь и княгиня приняли меня радушно, как слугу Божьего, и щедро наградили на дорогу, но и я оставил им святыни, которые должны принести их дому благословение господне.

Збышко хотел спросить про Данусю, но стыд и робость овладели вдруг им, он понял, что это значило бы открыть тайну своей любви незнакомому простолюдину, к тому же подозрительному с виду, быть может просто мошеннику. Помолчав с минуту времени, он спросил:

– Что за святыни возишь ты по свету?

– Да я и отпущения грехов вожу, и всякие святыни. Есть у меня и полные отпущения, и на пятьсот, и на триста, и на двести лет, и на меньший срок, подешевле, чтоб и бедные люди могли купить и сократить себе муки чистилища. Есть у меня отпущения старых грехов и грехов будущих, но не думайте, милостивый пан, что деньги, которые я за них получаю, я прячу себе... Кусок черного хлеба и глоток воды – вот все, что мне нужно, все остальное, что насобираю, я отвожу в Рим для нового крестового похода. Правда, много мошенников ездит по свету, все у них

поддельное: и отпущения, и святыни, и печати, и свидетельства, и святой отец справедливо требует в своих посланиях предавать суду этих обманщиков; но меня приор серадзский несправедливо обидел, потому что у меня печати подлинные. Осмотрите воск, милостивый пан, и вы сами увидите.

– А что же сделал тебе серадзский приор?

– Ах, милостивый пан! Дай-то Бог, чтобы я ошибался, но, сдается мне, он заражен еретическим учением Виклифа[62]. Мне ваш оруженосец сказал, будто вы едете в Серадз, так лучше мне не показываться приору на глаза, чтоб не доводить его до греха и до новых кощунств над моими святынями.

– Короче говоря, он принял тебя за мошенника и грабителя?

– Да разве во мне дело, милостивый пан! Я бы простил его, как своего ближнего, что, впрочем, я в конце концов и сделал, но ведь он поносил мои святыне товары, и я очень опасюсь, что за это будет осужден на вечные муки.

– Какие же у тебя святыне товары?

– Такие, что не подобает говорить о них с покрытой головой; но на этот раз у меня под рукой готовые отпущения, и потому я могу позволить вам не снимать капюшона, а то опять подул ветер. На привале вы купите отпущеньице, и грех вам не зачтется. Чего только у меня нет! Есть у меня копыто того ослика, на котором совершено было бегство в Египет, оно было найдено около пирамид. Арагонский король давал мне за это копыто пятьдесят дукатов чистым золотом. Есть у меня перо из крыла архангела Гавриила, оброненное им во время благовещения; есть головы двух перепелок, ниспосланных израильтянам в пустыне; есть масло, в котором язычники хотели изжарить Иоанна Крестителя, и перекладина лестницы, которую видел во сне Иаков, и слезы Марии Египетской, и немного ржавчины с ключей апостола Петра... Нет, не перечислить мне всего, милостивый пан, – и продрог-то я до костей, а ваш оруженосец не хотел дать мне вина, да и до вечера мне все равно бы не кончить.

– Великие это святыни, если только они подлинные! – сказал Збышко.

– Если только подлинные? Нет, пан, сейчас же возьмите у оруженосца копье и наставьте его, ибо дьявол тут, рядом с вами, это он внушает вам такие мысли. Держите его на расстоянии длины копья от себя. А не хотите накликать беду, так купите у меня отпущение за этот грех, не то и трех недель не пройдет, как умрет тот, кого вы любите больше всего на свете.

Збышко вспомнил про Данусю и испугался этой угрозы.

– Да ведь это не я, – возразил он, – а доминиканский приор в Серадзе не верит тебе.

– А вы, милостивый пан, сами осмотрите воск на печатях; что ж до приора, то одному Богу известно, жив ли он ещё, ибо кара господня может тотчас постигнуть человека.

Однако, когда они приехали в Серадз, приор был ещё жив. Збышко даже отправился к нему заказать две обедни: одну о здравии Мацька, а другую – о ниспослании павлиньих султанов, за которыми он уехал из дому. Приор, как это часто случалось

в тогдашней Польше, был чужеземец, родом из Целии[63], но за сорок лет жизни в Серадзе хорошо научился говорить по-польски и стал заклятым врагом крестоносцев. Вот почему, узнав о замысле Збышка, он сказал:

– Еще горше покарает их десница господня; но и тебя я не стану отговаривать – ты дал клятву, да и карающая рука поляка никогда не воздаст им в должной мере за все то, что они сотворили в Серадзе.

– Что же они сотворили? – спросил Збышко, которому хотелось знать о всех обидах, причиненных полякам крестоносцами.

Старичок-приор развел руками и сперва прочел вслух «Вечную память», затем уселся на табурет, с минуту сидел с закрытыми глазами, словно желая оживить в памяти старые воспоминания, и наконец повел свой рассказ:

– Их Винцентий из Шамотул[64] привел сюда. Было мне в ту пору двенадцать лет, и я только приехал из Цилии, откуда меня забрал мой дядя, прелат Петцольд. Крестоносцы напали на город ночью и тут же его подожгли. С городских стен мы видели, как на рынке рубили мечами мужчин, женщин и детей, как бросали в огонь младенцев... Я видел убитых ксендзов, ибо, разъярясь, крестоносцы никому не давали пощады. Оказалось, что приор Миколай, который был родом из Эльблонга, знает комтура Германа, предводителя войск крестоносцев. Приор вышел со старшей братией к этому свирепому рыцарю, упал перед ним на колени и на немецком языке заклинал его смилостивиться над христианами. Но комтур сказал только: «Не понимаю!» – и велел продолжать резню. Тогда-то и вырезали монахов, а с ними убили и дядю моего Петцольда, Миколая же привязали к конскому хвосту. А к утру в городе не осталось в живых ни одного человека, только крестоносцы разгуливали, да я притаился на колокольне на брус, к которому подвешены колокола. Бог за это уже покарал их под Пловцами, но они все ищут гибели нашего христианского королевства и до той поры будут искать, покуда не сотрет их с лица земли десница господня.

– Под Пловцами, – сказал Збышко, – погибли почти все мужи моего рода; но я не жалею об этом, ибо великую победу даровал господь королю Локотку и двадцать тысяч немцев истребил.

– Ты доживешь до ещё большей войны и ещё больших побед, – сказал приор.

– Аминь! – ответил Збышко.

И они переменили разговор. Молодой рыцарь спросил мимоходом о торговце реликвиями, которого встретил по дороге, и узнал, что много таких мошенников шатаются по дорогам, обманывая легковверных людей. Приор сказал также, что есть папские буллы, повелевающие епископам задерживать этих торговцев и, если у кого не окажется подлинных свидетельств и печатей, немедленно предавать суду. Свидетельства этого бродяги показались приору подозрительными, и он тотчас хотел препроводить его в епископский суд. Если бы оказалось, что тот действительно послан из Рима с индульгенциями, то никто бы его не обидел. Но он предпочел бежать. Быть может, он боялся задержки в пути, но этим бегством только навлек на себя ещё большее подозрение.

В конце беседы приор пригласил Збышка отдохнуть и заночевать в монастыре, но тот не смог принять приглашение, так как хотел вывесить перед корчмой вызов «на бой пеший или конный» всем рыцарям, которые стали бы оспаривать, что панна Данута самая прекрасная и самая добродетельная девица во всем королевстве, повесить же

такой вызов на воротах монастыря было делом неподобающим. Ни приор, ни другие монахи не захотели даже написать Збышку этот вызов, и молодой рыцарь оказался в затруднительном положении и не знал, что ему предпринять. Только после возвращения в корчму ему пришло на мысль обратиться с этим делом к торговцу индульгенциями.

– Приор так и не знает, бродяга ты или нет, – сказал Збышко торговцу.

– «Чего, говорит, было ему бояться епископского суда, коли у него подлинные свидетельства?»

– Да я не епископа боюсь, – ответил Сандерус, – а монахов, которые не разбирают печатей. Я как раз хотел ехать в Краков, да нет у меня коня, приходится ждать, покуда мне кто-нибудь его не подарит. А пока я пошлю письмо, к которому приложу свою печать.

– Вот и мне подумалось: увидят, что знаешь грамоте, ну и решат, что ты человек не простой. Но как же ты пошлешь письмо?

– С пилигримом или странствующим монахом. Мало ли народу идет в Краков поклониться гробу королевы?

– А мне сумеешь написать вызов?

– Напишу вам, милостивый пан, все, что прикажете, – красиво и гладко, даже на доске.

– Лучше на доске, – сказал Збышко, обрадовавшись, – и не порвется, и пригодится на будущее.

Спустя некоторое время слуги раздобыли и принесли свежую доску, и Сандерус принялся писать вызов. Збышко не мог прочесть, что он там написал, однако тотчас велел прибить доску на воротах, а пониже повесить щит, под которым на страже стояли по очереди турки. Тот, кто ударил бы в щит копьем, дал бы тем самым знак, что принимает вызов. Но в Серадзе до таких дел было, видно, немного охотников, и ни в этот день, ни до самого полудня следующего дня щит ни разу не зазвенел от удара, а в полдень несколько обескураженный молодой рыцарь собрался в дальнейший путь.

Однако перед отъездом к нему забежал ещё раз Сандерус и сказал:

– Вот если бы вы, милостивый пан, вывесили щит у прусских рыцарей, вашему оруженосцу уже пришлось бы затягивать на вас ремни доспехов.

– Как же так? Ведь крестоносцы – монахи, а монаху не дозволяется иметь даму сердца.

– Не знаю, дозволяется или не дозволяется, но знаю, что есть у них дамы сердца. Правда, если крестоносец выйдет на единоборство, его будут осуждать за это, потому что они дают клятву вступать в бой вместе с другими только за веру; но в Пруссии, кроме монахов, есть много светских рыцарей, которые прибывают из дальних стран на помощь пруссакам. Те только и смотрят, как бы ввязаться в драку, особенно французы.

– Эва! Видал я их под Вильно; даст Бог, увижу и в Мальборке. Мне нужны павлиньи чубы со шлемов, я, понимаешь, дал обет добыть их.

– Купите у меня, милостивый пан, две-три капли пота Георгия Победоносца, которые он пролил в бою с огненным змием. Никакая другая святыня не может так пригодиться рыцарю. Дайте мне за неё того коня, на которого вы велели сесть мне, а я прибавлю вам ещё отпущение за христианскую кровь, которую вы прольете в бою.

– Оставь меня в покое, не то рассержусь. Не стану я покупать твой товар, покуда не уверюсь, что он хорош.

– Вы вот говорили, что едете к мазовецкому двору князя Януша. Спросите там, сколько у меня взяли святынь и сама княгиня, и рыцари, и панны на тех свадьбах, на которых я гулял.

– На каких таких свадьбах? – спросил Збышко.

– Да как всегда перед рождественским постом. Рыцари играли свадьбы один за другим, потому что люди болтают, будто быть войне между польским королем и прусскими рыцарями из-за добжинской земли... Ну, тут уж всяк себе скажет: «Бог его знает, останусь ли я в живых», и всякому припадет охота прежде с бабой в счастье пожить.

Збышка живо заинтересовал слух о войне, но ещё больше разговор о свадьбах.

– Кто же из девушек вышел замуж? – спросил он.

– Да все придворные княгини. Не знаю, осталась ли хоть одна у неё, сам слышал, как княгиня говорила, что придется новых искать.

Збышко на минуту примолк, а потом спросил изменившимся голосом:

– А панна Данута, дочь Юранда, имя которой стоит на доске, тоже вышла замуж?

Сандерус помедлил с ответом, потому что и сам ничего толком не знал, да и подумал, что получит преимущество над рыцарем и сможет лучше использовать его в своих целях, если будет томить его неизвестностью. Он уже решил, что надо держаться этого рыцаря, у которого много с собой и людей, и всякого добра. Сандерус разбирался в людях и знал толк в вещах. Збышко был так молод, что легко можно было предположить, что он будет щедр и неосмотрителен и станет сорить деньгами. Сандерус успел уже разглядеть и дорогие миланские доспехи, и рослых боевых коней, которые не могли принадлежать простому рыцарю, и сказал себе, что с таким панским дитятею будет обеспечен и радушный прием в шляхетских усадьбах, и много случаев выгодно сбыть индульгенции, и безопасность в пути, и, наконец, обильные пища и питье, что для него было всего важнее.

Услышав вопрос Збышка, он наморщил лоб, поднял вверх глаза, как будто напрягая память, и переспросил:

– Панна Данута, дочь Юранда?.. А откуда она?

– Из Спыхова.

– Видать-то я их всех видал, но как которую звали, что-то не припомню.

– Она совсем ещё молоденькая, на лютне играет, княгиню песнями веселит.

– Ах, молоденькая... на лютне играет... Что ж, выходили замуж и молоденькие... Не черна ли она, как агат?

Збышко вздохнул с облегчением.

– Нет, это не та! Та как снег бела, только на щеках румянец играет, и белокура.

– Одна черная, как агат, – прервал его Сандерус, – при княгине осталась, а прочие почти все повыходили замуж.

– Но ведь ты же говоришь: «почти все», значит, не все до единой. Христом Богом молю тебя, коли хочешь получить подарок, вспомни хорошенько.

– Денька через три-четыре я бы, может, и припомнил, а всего милее был бы мне конь, который возил бы мои священные товары.

– Скажи правду – и получишь коня.

Тут вмешался чех, который, улыбаясь в усы, слушал весь этот разговор:

– Правду мы при мазовецком дворе узнаем.

Сандерус с минуту поглядел на него, а затем сказал:

– Ты что, думаешь, я боюсь мазовецкого двора?

– Я ничего не говорю, может, ты его и не боишься, но только ни сейчас, ни через три дня куда ты с конем не уедешь, а коль окажется, что солгал, так и на своих двоих куда не ускачешь, потому его милость велит переломать тебе их.

– Это уж как пить дать! – подтвердил Збышко.

Услыхав такой посул, Сандерус подумал, что лучше быть поосторожней, и ответил:

– Да когда бы я хотел солгать, так бы сразу и сказал, вышла, мол, либо нет, не вышла, а я ведь сказал, что не помню. Будь у тебя свой ум, ты бы тотчас постиг мою добродетель.

– Мой ум твоей добродетели не брат, потому она у тебя, может, псу сестра.

– Не брешет моя добродетель, как твой ум, а кто брешет при жизни, тот может завять после смерти.

– Это верно! Не выть будет после смерти твоя добродетель, а зубами скрежетать, разве только при жизни потеряет их на службе у дьявола.

И они завели перебранку, потому что чех был остер на язык: немец ему слово, а он ему – два. Однако Збышко велел готовиться к отъезду, и вскоре они тронулись в путь, расспросив предварительно у бывалых людей, как проехать на Ленцицу. За Серадзом потянулись дремучие леса, которые раскинулись на большей части этого края. Но по этим лесам пролегла большая дорога, местами даже окопанная рвами, а

местами в низинах вымощенная кругляком – след хозяйствования короля Казимира. Правда, после его смерти, во время смуты, поднятой Наленчами и Гжималитами, дороги были запущены, но когда при Ядвиге в королевстве воцарился мир, в руках усердного народа снова застучали заступы на болотах и топоры в лесах, и к концу жизни королевы купец мог уже провезти от замка к замку на подводах свои товары, не боясь обломиться в выбоине или увязнуть в трясине. Только дикий зверь да разбойники были страшны в пути; но для защиты от дикого зверя ночью жгли площадки, а днем оборонялись от него самострелами, разбойников же и бродяг здесь было меньше, чем в соседних краях. Ну, а уж если кто ехал с людьми да при оружии, тому и вовсе нечего было бояться.

Збышко тоже не боялся ни разбойников, ни вооруженных рыцарей и даже не вспоминал о них, потому что весь был во власти страшной тревоги и все думы его летели к мазовецкому двору. Он не знал, застанет ли свою Дануську придворной княгини или женой какого-нибудь мазовецкого рыцаря, с утра до поздней ночи душу его терзали сомнения. Порой ему казалось немыслимым, чтобы Дануся могла забыть его, но потом приходила вдруг в голову мысль, что Юранд мог приехать ко двору из Спыхова и отдать дочь за соседа своего или друга. Он ведь ещё в Кракове говорил, что не судьба Збышку быть мужем Дануси, что не может он отдать дочь за него, значит, обещал её, видно, другому, связан был, видно, обетом, а сейчас исполнил этот обет. Когда Збышко думал об этом, ему начинало казаться, что не видать уж ему Дануси в девушках. Он звал тогда Сандеруса и снова пытался, снова выспрашивал, а тот все больше и больше путал. Порою немец вот-вот готов был припомнить и придворную Данусю, и её свадьбу, но тут же совал вдруг палец в рот, задумывался и восклицал: «Нет, не она!» От вина у немца должно было будто бы прояснеть в голове, но, сколько он ни пил, память у него не становилась лучше, и он по-прежнему заставлял томиться молодого рыцаря, в душе которого смертельный страх все время боролся с надеждой.

Так и ехал Збышко вперед, терзаемый тревогой, тоской и сомнениями. По дороге он уже совсем не думал ни о Богданце, ни о Згожелицах, а только о том, что ж ему предпринять. Прежде всего надо было ехать к мазовецкому двору и узнать там всю правду; поэтому Збышко торопился вперед, останавливаясь только в усадьбе, в корчме или в городе на короткий ночлег, чтобы не загнать коней. В Ленчице он снова велел повесить на воротах корчмы свой вызов, рассудив, что, вышла ли замуж Дануська, осталась ли девушкой, она по-прежнему его госпожа, и ему надо драться за неё. Но в Ленчице не много нашлось бы таких, кто смог бы прочесть его вызов, те же рыцари, которым вызов прочли грамотные причетники, не зная чужого обычая, только пожимали плечами и говорили: «Едет какой-то глупец! Кто же станет соглашаться с ним или спорить, коли этой девушки никто из нас в глаза не видал». А Збышко ехал дальше, и все большая тревога обнимала его, и все больше он торопился. Никогда не переставал он любить свою Дануську, но в Богданце и в Згожелицах, чуть не каждый день беседуя с Ягенкой и любясь её красотой, он не так часто думал о Дануське, а сейчас и ночью, и днем одна она была у него перед глазами, одна она не шла из ума. Даже во сне он видел её, с распущенной косой, с маленькой лютней в руке, в красных башмачках и в веночке. Она протягивала к нему руки, а Юранд увлекал её прочь. Утром, когда сны пропадали, на смену им приходила ещё большая тоска; и никогда в Богданце Збышко не любил так этой девушки, как сейчас, когда он не был уверен, не отняли ли её у него.

Ему приходило в голову, что её, может, силой выдали замуж, но в душе он тогда ни в чем её не винил, потому что она была ребенком и не могла располагать собою. Зато он вспыхивал негодованием, вспоминая про Юранда и княгиню Анну, когда же думал о муже Дануси, все в нем кипело от гнева, и он грозно озирался на слуг,

везших под попонами оружие. Он решил, что не перестанет служить ей, и если даже застанет её уже чужою женой, все равно добудет и сложит к её ногам павлиньи гребни. Но в этой мысли он не находил утешения, скорее печаль будила она в его сердце, потому что он совсем не представлял себе, что станет делать дальше.

Утешала его только мысль о предстоящей великой войне. Хоть и не мил был ему свет без Дануськи, однако он не помышлял о гибели, он чувствовал, что война так захватит его, что он позабудет обо всех прочих горестях и печалях. А в воздухе действительно пахло грозой. Неизвестно откуда шли слухи о войне, потому что мир царил между королем и орденом, но всюду, где ни проезжал Збышко, говорили только о войне. Народ словно предчувствовал, что вспыхнет война, а некоторые открыто говорили: «Для чего было нам соединяться с Литвой, как не для того, чтобы выступить против этих псов-крестоносцев? Надо раз навсегда покончить с ними, чтобы больше они не терзали нас». Другие восклицали: «Безумцы эти монахи! Мало им было Пловцев! Смерть у них за плечами, а они захватили ещё землю добжинскую, которую им с кровью придется извергнуть». И во всех землях королевства к войне готовились, не похваляясь, с суровостью, с какой всегда готовятся к бою не на жизнь, а на смерть, с глухим упорством; могучий народ, который слишком долго сносил обиды, решил подняться наконец на врага и жестоко отплатить ему. Во всех усадьбах Збышко встречал людей, убежденных в том, что надо быть готовыми в любой день сесть на коня, и даже дивился этому, ибо думал, как и другие, что война неизбежна, но не слышал о том, что она должна вспыхнуть так скоро. Ему не приходило в голову, что в этом случае воля народная предрешает события. Он верил не себе, а другим, и радовался, глядя на эти приготовления к войне, с которыми ему приходилось сталкиваться на каждом шагу. Все другие заботы отступали везде перед заботой о коне и об оружии; везде тщательно осматривали копья, мечи, секиры, рогатины, шлемы, панцири, ремни нагрудников и чепраков. Кузнецы день и ночь били молотами по железным листам, куя грубые, тяжелые доспехи, которые не в подъем были изысканным рыцарям с Запада, но которые легко носили крепкие шляхтичи из Великой и Малой Польши. Старики добывали в боковушах из сундуков заплесневелые мешки с гривнами, чтобы снарядить в поход сыновей. Однажды Збышко ночевал у богатого шляхтича Бартоша из Беляв, отца двадцати двух могучих сыновей, заложившего свои обширные земли монастырю в Ловиче, чтобы купить двадцать два панциря, столько же шлемов и прочего военного снаряжения. И хотя Збышко ничего не слышал в Богданце о войне, однако он тоже подумал, что придется двинуться в Пруссию, и благодарил Бога за то, что так хорошо снарядился в путь. Доспехи Збышка всюду вызывали удивление. Его принимали за воеводича, а когда молодой рыцарь уверял, что он простой шляхтич и что такие доспехи можно купить у немцев, стоит только щедро рассчитаться за них секирой, сердца слушателей загорались воинственным пылом. Но многие, увидев его доспехи, не могли удержаться от соблазна и, догнав Збышка на большой дороге, предлагали ему: «Давай сразимся за них!» Но Збышко торопился вперед и не хотел принимать бой, а чех натягивал самострел. Збышко даже перестал вывешивать в корчмах доску с вызовом, поняв, что, по мере того как он углубляется в страну, люди все меньше разбираются в подобных делах и все чаще почитают его за глупца.

В Мазовии народ меньше говорил о войне. И тут все верили, что война неизбежна, но не знали, когда она может вспыхнуть. В Варшаве все было спокойно, тем более что двор находился в Цеханове, который князь Януш перестраивал, верней, восстанавливал, после давнего набега Литвы, когда от старого города остался один только замок. В варшавском замке Збышка принял правитель Ясько Соха, сын воеводы Абрагама, павшего в битве на Ворскле. Ясько знал Збышка, так как был с княгиней в Кракове, поэтому он радушно принял молодого рыцаря; однако, прежде чем сесть за стол, Збышко стал спрашивать Яську, как Дануса, не вышла ли она замуж вместе

с другими придворными паннами княгини.

Но Соха ничего не мог об этом сказать. Князь и княгиня с ранней осени жили в Цеханове. В Варшаве оставалась только горсточка лучников и он для охраны замка. Соха слышал, что в Цеханове веселились и, как всегда перед рождественским постом, играли свадьбы, но какие придворные панны вышли замуж, а какие – нет, он, будучи человеком женатым, не спрашивал.

– Думаю, однако, – сказал Соха, – что Дануся замуж не вышла, потому что свадьбу сыграть без Юранда не могли, а об его приезде я ничего не слышал. У князя и княгини гостят также два рыцаря-крестоносца, комтуры, один из Янсборка, другой из Щитно, и с ними как будто чужеземцы; ну, Юранд в такое время никогда не приезжает, ибо стоит ему увидеть белый плащ, как он тотчас приходит в ярость. А раз не было Юранда, значит, не было и свадьбы! Впрочем, если хочешь, я пошлю гонца разузнать обо всем и велю ему спешно воротиться назад, хоть и думаю, что ты наверняка найдешь Данусю ещё в девушках.

– Я сам завтра утром поеду, а за утешение тебе спасибо. Как только кони отдохнут, так и тронусь в путь, мне покоя не будет, пока я не узнаю всю правду; ну, а тебе все-таки спасибо – у меня от души теперь отлегло.

Однако Соха этим не ограничился. Он стал расспрашивать шляхтичей, гостивших в это время в замке, и солдат, не слышал ли кто из них о свадьбе Дануси. Никто об этом ничего не слышал, хотя нашлись такие, которые были в Цеханове и даже гуляли там на свадьбах. Разве только в последние недели или в последние дни она вышла. Могло статься и так – ведь в те времена люди недолго раздумывали. И все же Збышко лег спать, окрыленный надеждой. Уже в постели он подумал, не прогнать ли завтра Сандеруса, однако решил, что этот бродяга знает немецкий язык и может пригодиться ему, когда придется выехать в Мальборк для поединка с Лихтенштейном. Збышко подумал также, что Сандерус не обманул его, и хоть дорого стоил, потому что ел и пил в корчмах за четверых, однако был услужлив и выказывал некоторую привязанность к своему новому господину. И главное, он умел писать, чем превосходил не только оруженосца-чеха, но и самого Збышка.

Вот почему молодой рыцарь позволил Сандерусу ехать с ним в Цеханов, чему тот обрадовался не только потому, что в дороге его поили и кормили, но и потому, что в такой почтенной компании он внушал большее доверие и легче находил покупателей. Переночевав в Насельске и подвигаясь не слишком быстро и не слишком медленно, путники на другой день под вечер увидели стены цехановского замка. Збышко остановился в корчме, чтобы надеть доспехи и, по рыцарскому обычаю, въехать в замок в шлеме и с копьем в руке; сев затем на своего рослого коня, добытого в бою, он сотворил в воздухе крест и двинулся вперед.

Но не проехал он и десяти шагов, как ехавший позади чех поравнялся с ним и сказал:

– Ваша милость, за нами мчатся какие-то рыцари, уж не крестоносцы ли это?..

Збышко повернул коня и в каких-нибудь тридцати шагах увидел блестящую группу всадников, во главе которой ехали два рыцаря на рослых поморских конях, оба в полном вооружении, в белых плащах с черными крестами и в шлемах с высокими павлиньими султанами.

– Клянусь Богом, крестоносцы! – сказал Збышко.

И он невольно пригнулся в седле, вытянул копье в пол конского уха, а чех, увидев это, поплевал в кулак, чтобы рукоять секиры не скользила в руке.

Слуги Збышка, люди бывалые и сведущие в военном деле, тоже стали наготове, правда не для боя – в рыцарских поединках слуги не принимали участия, – а для того, чтобы отмерить место для конного боя или утоптать снег для пешего. Один только чех, принадлежавший к шляхетскому роду, мог принять участие в бою; но и он полагал, что, прежде чем ударить на врага, Збышко сделает вызов, и поразился, увидев, что молодой господин наставил до вызова свое копье.

Однако Збышко вовремя спохватился. Он вспомнил свой безрассудный поступок под Краковом, когда так легкомысленно хотел напасть на Лихтенштейна, и все беды, которые после этого обрушились на него, поднял копье, отдал его чеху и, не вынимая из ножен меча, тронул своего коня и поехал к крестоносцам. Приблизившись к ним, он заметил ещё третьего рыцаря, тоже с перьями на голове, и четвертого, безоружного, длинноволосого, который был похож на мазура.

При виде их Збышко сказал про себя:

«Пообещал я в темнице своей госпоже не три чуба, а столько, сколько пальцев на обеих руках; но три, ежели только это не послы едут, я мог бы добыть сейчас».

Однако, подумав, он решил, что это все-таки едут какие-то послы к мазовецкому князю, и, вздохнув, громко сказал:

– Слава Иисусу Христу!

– Во веки веков, – ответил безоружный всадник с длинными волосами.

– Дай Бог счастья!

– Вам также!

– Слава Георгию Победоносцу!

– Это наш покровитель. Путь-дорога!

Они стали раскланиваться, затем Збышко назвал свое имя, герб и клич, сообщил, откуда направляется к мазовецкому двору; рыцарь с длинными волосами сказал, что его зовут Ендрек из Кропивницы и что он сопровождает гостей князя: брата Готфрида, брата Ротгера, а также господина Фулькана де Лорша из Лотарингии, гостя крестоносцев, который пожелал собственными глазами увидеть мазовецкого князя и особенно княгиню, дочь славного «Кинстута».

Когда Ендрек из Кропивницы называл их имена, иноземные рыцари, сидя прямо на своих конях, склоняли головы в железных шлемах, решив по богатым доспехам Збышка, что это князь послал им навстречу кого-нибудь из знати, быть может родственника своего или сына.

Меж тем Ендрек из Кропивницы продолжал:

– Комтур, или, по-нашему, староста из Янсборка, который гостит сейчас у князя, рассказал ему об этих трех рыцарях, которые очень хотели побывать у нас, но не

осмеливались, особенно рыцарь из Лотарингии; сам он издалека и думал, что на тевтонской границе обитают сарацины, с которыми никогда не прекращается война. Князь, как гостеприимный хозяин, тотчас послал меня на границу, чтобы под моей охраной они благополучно миновали замки.

– Так они без вашей помощи не могли бы проехать?

– Наш народ ненавидит крестоносцев, и не за то, что они учиняют на нас набеги, – мы сами тоже к ним заглядываем, – а за то, что они низкие предатели; ведь крестоносец обнимает тебя и целует, а сам в это время готов нож тебе в спину всадить; подлый это обычай, и противен он нам, мазурам. Да что говорить! Всякий примет немца в своем доме и не обидит гостя, но на дороге не преминет напасть на него. А есть такие, которые только так и поступают, из мести ли или ради славы – да пошлет её Бог всякому.

– Кто же среди вас самый славный?

– Есть один такой, что немцу легче во все глаза взглянуть на смерть, чем его увидеть, а зовут его Юранд из Спыхова.

Сердце затрепетало у молодого рыцаря, когда он услышал это имя, и он тотчас решил разузнать кой о чем у Ендрека из Кропивницы.

– Знаю, – сказал он, – слышал: это его дочка Данута была придворной княгини, пока не вышла замуж.

И, затаив дыхание, он воззрился на мазовецкого рыцаря; однако тот воскликнул в изумлении:

– Да кто вам это сказал? Ведь она ещё совсем молоденькая. Случается, конечно, что и такие выходят замуж; но Данута не вышла. Шесть дней, как я уехал из Цеханова и видел её с княгиней. Как же она могла в посту выйти замуж?

Услышав это, Збышко с трудом сдержался, чтобы не схватить мазура в объятия и не крикнуть: «Спасибо вам за эту весточку!» Совладав с собою, он сказал:

– А я слышал, будто Юранд выдал её замуж.

– Это не Юранд, а княгиня хотела, да не могла отдать её против воли отца. Хотелось княгине отдать Данусю за одного рыцаря в Кракове, он дал обет служить девушке, и она его любит.

– Любит? – воскликнул Збышко.

Ендрек бросил на него быстрый взгляд и с улыбкой спросил:

– Что это вы так про эту девушку расспрашиваете?

– Я про знакомых расспрашиваю, к которым еду.

Из-под шлема у Збышка виднелись только глаза да нос и чуть-чуть выглядывали щеки; но и щеки, и нос так сильно у него покраснели, что мазур, большой насмешник и лукавец, спросил:

– Лицо-то у вас, должно быть от мороза, покраснело, как пасхальное яичко!

Юноша ещё больше смешался и пробормотал:

– Должно быть.

Они тронули коней и некоторое время ехали молча; только кони фыркали и из ноздрей у них вырывались клубы пара да болтали друг с дружкой иноземные рыцари. Однако через минуту Ендрек из Кропивницы спросил:

– Как вас зовут, я что-то недослышал?

– Збышко из Богданца.

– Что вы говорите! Да ведь того рыцаря, который дал обет дочке Юранда, тоже как будто так звали.

– Уж не думаете вы, что я стану отпираться? – с гордостью отрезал Збышко.

– Чего же тут отпираться! Господи, так это вы тот самый Збышко, которого дочка Юранда накрыла покрывалом! Да когда двор вернулся из Кракова, у придворных дам только и разговору было, что про вас, у иных, скажу я вам, даже слезы текли по щекам. Так это вы! То-то все обрадуются при дворе, княгиня ведь тоже вас любит.

– Да благословит её Бог, да и вас, за добрую весть. А то как сказали мне, что Дануся вышла замуж, я весь обомлел.

– А чего ей замуж выходить!.. Лакомый кусочек такая невеста – приданого-то у неё целый Спыхов; но хоть много красивых хлопцев при дворе, а никто на неё не заглядывался из уважения и к поступку её, и к вашему обету. Да и княгиня до этого не допустила бы. То-то все обрадуются! Сказать по правде, кое-кто над Данусей подсмеивался. «Не воротится твой рыцарь», – говорили ей, а она тогда только ножками топала: «Воротится, воротится!» А как скажут ей, что вы на другой женились, так она даже всплакнет, бывало.

Збышко растрогался, услышав эти слова, но при мысли о людском наговоре вспыхнул от гнева:

– Я на бой вызову того, кто на меня наговаривал!

Но Ендрек из Кропивницы расхохотался:

– Да ведь это бабы ей говорили! Что же, вы баб будете на бой вызывать? С бабой мечом не повоюешь!

Обрадовавшись, что судьба послала ему такого веселого и благожелательного товарища, Збышко стал расспрашивать его сперва про Данусю, потом про обычаи мазовецкого двора, потом снова про Данусю, потом про князя Януша, про княгиню и снова про Данусю; вспомнив о своем обете, он рассказал Ендреку обо всем, что слышал по дороге, и о том, как народ готовится к войне, и о том, как ждет её со дня на день, и спросил наконец, ждут ли войны и в мазовецких княжествах.

Однако пан из Кропивницы не думал, что война начнется так скоро. Народ толкует о войне; но он собственными ушами слышал, как князь однажды говорил Миколаю из

Длуголяса, что крестоносцы спрятали когти и что если король настоит, так они из страха перед его могуществом освободят и захваченную ими землю добжинскую, и, уж во всяком случае, будут оттягивать войну, пока как следует не подготовятся.

– Да и князь, – прибавил он, – недавно ездил в Мальборк. Магистра не было, так князя великий маршал принимал и ристалища в честь его устроил, а сейчас у князя комтуры гостят, да вот ещё новые гости едут...

Ендрек на минуту задумался и прибавил:

– Толкуют, будто неспроста гостят крестоносцы у нас и в Плоцке у князя Земовита. Сдается, хотят они, чтобы в случае войны наши князя выступили на помощь не польскому королю, а ордену, ну, а если не удастся склонить их к этому, так чтобы в стороне остались, – но не выйдет по-ихнему...

– Даст Бог, не выйдет. Да разве вы усидите дома? Ведь ваши князя подвластны польскому королю. Думаю, не усидеть вам.

– Не усидеть, – подтвердил Ендрек из Кропивницы.

Збышко снова бросил взгляд на иноземных рыцарей и павлиньи их перья.

– А эти что, за тем же едут?

– Крестоносцы они, может, и за тем же. Кто их знает?

– А третий?

– Третий едет из любопытства.

– Должно быть, знатный рыцарь.

– Еще бы! За ним едут три кованых повозки с богатым снаряжением да девять человек прислуги. Вот бы с таким подраться! Даже слюнки текут!

– Вам нельзя!

– Никак нельзя! Князь велел мне охранять их. Волос не упадет с головы у них до самого Цеханова.

– А что, если бы я вызвал их на поединок? А что, если бы они захотели драться со мной?

– Тогда вам пришлось бы сперва со мной драться; нет, покуда я жив, ничего из этого не выйдет.

Збышко ласково посмотрел на молодого шляхтича и сказал:

– Вы знаете, что такое рыцарская честь. С вами я драться не стану, потому что вы друг мне; но в Цеханове я с Божьей помощью найду повод, чтобы подраться с немцами.

– В Цеханове делайте все, что вам угодно. Там тоже без ристалищ не обойдется, и если позволят князь и комтуры, так дело может дойти и до поединка.

– Есть у меня доска, на которой написан вызов каждому, кто станет оспаривать, что панна Данута самая добродетельная и самая прекрасная девица на свете. Но знаете... люди везде только пожимают плечами и смеются.

– Иноземный это обычай и, сказать по правде, глупый, у нас его не знают, разве только где-нибудь на границе. Вот и этот лотарингский рыцарь все приставал по дороге к шляхтичам, требовал, чтобы они прославляли его даму. Но никто его не понимал, а я не допустил, чтобы дело дошло до драки.

– Как? Он требовал, чтобы прославляли его даму? Что вы говорите! Верно, нет у него ни стыда, ни совести.

Тут он устремил на иноземного рыцаря взор, точно любопытствуя взглянуть, каков же с виду человек, у которого нет ни стыда, ни совести; однако в душе он должен был признаться, что Фулькон де Лорш вовсе не смотрит обыкновенным забиякой. Из-под приподнятого забрала глядели добрые глаза, и лицо у рыцаря было молодое, печальное.

– Сандерус! – окликнул вдруг Збышко своего немца.

– К вашим услугам, – ответил тот, приближаясь.

– Спроси у этого рыцаря, какая девица самая добродетельная и самая прекрасная на свете.

– Какая девица самая добродетельная и самая прекрасная на свете? – спросил Сандерус.

– Ульрика д'Эльнер! – ответил Фулькон де Лорш.

И, устремив глаза ввысь, он стал тяжело вздыхать, а у Збышка от такого кощунства даже дух занялся, и в негодовании он вздыбил свою скакуна; однако не успел он слово вымолвить, как Ендрек из Кропивницы стал на коне между ним и чужеземцем и сказал:

– Не затевать ссоры!

Однако Збышко снова обратился к торговцу реликвиями:

– Скажи ему от меня, что он любит сову.

– Благородный рыцарь, мой господин говорит, что вы сову любите! – как эхо повторил Сандерус.

Господин де Лорш выпустил при этих словах поводья, правой рукой отстегнул и снял с левой руки железную перчатку и бросил её в снег перед Збышком, который кивнул чеху, чтобы тот поднял её острием копья.

Но тут Ендрек из Кропивницы обратил к Збышку лицо и с грозным видом сказал:

– Повторяю, вы не станете драться, пока я охраняю этих рыцарей. Я не позволю драться ни вам, ни ему.

- Но ведь не я его, а он меня вызвал на поединок.
- Да, но он вызвал вас за сову. С меня этого достаточно, а если кто станет противиться... Смотрите!.. Я ведь тоже умею повернуть наперед пояс.
- Не хочу я с вами драться.
- А пришлось бы, потому что я дал клятву охранять этого рыцаря.
- Так как же быть? – спросил упрямый Збышко.
- Цеханов уже недалеко.
- Но что подумает немец?
- Пусть ваш человек скажет ему, что здесь вы драться не можете и что сперва должны испросить дозволение князя, а он – комтура.
- Да, но если мы не получим дозволения?
- Как-нибудь встретитесь в другом месте. Довольно слов!

Видя, что ничего тут не поделаешь и что Ендрек из Кропивницы действительно не может допустить, чтобы дело дошло до поединка, Збышко снова позвал Сандеруса и велел объяснить лотарингскому рыцарю, что драться они будут только по прибытии на место. Выслушав немца, де Лорш кивнул головой в знак того, что понял, а затем, протянув Збышку руку, подержал с минуту и трижды крепко пожал его руку, а по рыцарскому обычаю это означало, что поединок должен состояться в любом месте и в любое время. После этого они, с виду как будто в добром согласии, двинулись к цехановскому замку, круглые башни которого уже виднелись на фоне румяного неба.

В Цеханов путники приехали ещё засветло, но пока их опросили у ворот замка и спустили мост, надвинулась темная ночь. Принял их и угостил знакомый Збышка Миколай из Длуголяса, который командовал замковой стражей, состоявшей из горсточки рыцарей и трех сотен метких лучников из обитателей пуци. При въезде Збышко, к великому своему огорчению, узнал, что двора в замке нет. В честь комтуров из Щитно и Янсборка князь устроил большую охоту, и в лес для пущей пышности отправилась и княгиня с придворными дамами. Из знакомых женщин Збышко нашел только Офку, вдову Кшиха из Яжомбкова, которая была ключницей замка. Офка очень ему обрадовалась; со времени возвращения из Кракова она всем и вся рассказывала о любви Збышка к Данусе и о случае с Лихтенштейном. Она покорила этими рассказами молодежь, за что была благодарна Збышку, и сейчас старалась утешить юношу, который опечалился, узнав, что Дануси нет в замке.

- Ты её не узнаешь, – говорила Офка. – Годы идут, и лифы у девушки уже трещат по швам, грудь у неё наливается. Не коротышка уж она, какой была раньше, и любит тебя уж иначе. Сейчас, если только кто крикнет ей на ухо: «Збышко!» – так будто шилом её кольнет. Такая уж наша женская доля, ничего не поделаешь, потому на то воля Божья... А дядюшка твой, говоришь, здоров? Что ж он не приехал?.. Да, такая уж наша доля... Скучно, скучно девке одной жить на свете... Счастье ещё, что ног она себе не переломала, ведь каждый божий день поднимается на башню и глядит на дорогу... Всякой девушке мил друг надобен...

– Коней только покормлю и тотчас к ней поеду, хоть и ночью, все равно поеду, – ответил Збышко.

– Поезжай, только возьми с собой провожатого из замка, не то заблудишься в пуще.

За ужином, который Миколай из Длуголяса устроил для гостей, Збышко и в самом деле сказал, что сейчас же уедет вслед за князем и просит дать ему провожатого. Утомившись от дороги, крестоносцы после ужина уселись у огромных каминов, в которых пылали целые стволы сосен, и решили ехать только на следующий день, после отдыха. Один де Лорш, узнав, о чем идет речь, изъявил желание ехать со Збышком, так как опасался опоздать на охоту, которую ему непременно хотелось посмотреть.

После этого он подошел к Збышку и, протянув ему руку, снова трижды сжал его пальцы.

XX

Однако и на этот раз им не пришлось драться, так как Миколай из Длуголяса, узнав обо всем от Ендрека из Кропивницы, взял с обоих слово, что без ведома князя и комтуров они не станут этого делать, в противном случае пригрозил запереть ворота замка. Збышку хотелось поскорее увидеть Данусю, поэтому он не посмел противиться, а де Лорш, который охотно дрался, когда это было нужно, не был человеком кровожадным и тотчас поклялся рыцарской честью ждать дозволения князя, тем более что иначе мог бы его оскорбить. Кроме того, лотарингскому рыцарю, который наслушался песен о ристалищах и любил блестящее общество и пышные торжества, хотелось драться перед всем двором, вельможами и дамами; он полагал, что в этом случае слух о его победе разнесется повсюду и он скорее получит золотые шпоры. К тому же ему было любопытно посмотреть на здешний край и его обитателей, а Миколай из Длуголяса, который долгие годы просидел в неволе у немцев и легко объяснялся с чужеземцами, нарасказывал ему чудес о княжьей охоте на всяких зверей, неведомых уже в западных странах, так что оттяжка с поединком была де Лоршу даже на руку. В полночь они двинулись со Збышком к Праснышу, сопровождаемые вооруженной свитой и слугами с плошками для охраны от волков, которые, собираясь зимой в огромные стаи, могли представлять опасность даже для полутора-двух десятков вооруженных до зубов всадников. По ту сторону Цеханова тоже тянулись леса, которые за Праснышем сразу переходили в необъятную курпскую пущу, сливавшуюся на востоке с дремучими борами Подлясья и затем Литвы. В недавнее время, минуя поселения грозных местных жителей, через эти боры пробирались обычно в Мазовию полудикие литвины, которые в тысяча триста тридцать седьмом году дошли до самого Цеханова и разрушили город. С живым любопытством слушая рассказы об этом старого провожатого, Мацька из Туробоев, де Лорш в душе горел желанием померяться силой с литвинами, которых он, как и прочие западные рыцари, почитал сарацинами. Он приехал в эту страну для участия в крестовом походе, надеясь стяжать себе славу и спасти свою душу, и по дороге думал, что, даже воюя с мазурами, как с народом полуязыческим, достигнет вечного блаженства. Он глазам своим не верил, когда при въезде в Мазовию увидел костёлы в городах, кресты на башнях, духовенство, рыцарей со священными знаками на доспехах и народ хоть и буйный, горячий, склонный к ссорам и дракам, но христианский и, уж во всяком случае, не более хищный, чем немцы, которых проездом видел молодой рыцарь. Он не знал, что подумать о крестоносцах, когда ему рассказали, что уже целые столетия этот народ поклоняется Христу, а когда узнал, что покойная краковская королева крестила и Литву, удивлению его и огорчению не было границ.

Он стал расспрашивать Мацька из Туробоев, нет ли в лесах, куда они едут, хоть

огненных змиев, которым люди должны приносить в жертву девушек и с которыми можно было бы сразиться. Однако ответ Мацько окончательно разочаровал его.

– Водится у нас в бору много крупного зверя – волков, туров, зубров, медведей, и хлопот у нас с ними немало, – ответил мазур. – Может, в болотах и нечисть водится, но про огненных змиев я и не слыхивал, да хоть они и были бы у нас, так уж, верно, мы бы не дали им девушек, а скопом пошли бы на них. Да будь они у нас, так лесные поселенцы уж давно бы носили пояса из их кожи!

– Что за народ эти поселенцы и нельзя ли с ними сразиться? – спросил де Лорш.

– Сразиться с ними можно, только опасно, – ответил Мацько, – да и не подобает это рыцарю: они ведь мужики.

– Швейцарцы тоже мужики. Неужели эти поселенцы поклоняются Христу?

– Иных людей нет в Мазовии, а это люди наши и князьи. Вы видали, верно, в замке лучников. Это все курпы, и нет на свете лучников лучше их.

– Англичане и шотландцы, которых я видал при бургундском дворе...

– Видал я их в Мальборке, – прервал рыцаря мазур. – Крепкие парни, но боже их упаси выйти на бой с курпами[65]! Да у курпов парнишке в семь лет есть не дадут, покуда он стрелой не собьет себе пищу с вершины сосны.

– О чем это вы толкуете? – спросил вдруг Збышко, до слуха которого несколько раз донеслось слово «курпы».

– Да о курпских и английских лучниках. Говорит этот рыцарь, будто англичане и особенно шотландцы самые меткие стрелки из лука.

– Видал и я их под Вильно. Эва! Слышал и свист их стрел, когда они пролетали мимо ушей. Из всех стран были там рыцари, и все похвалялись нас без соли съесть, да попробовали раз-другой и закаялись.

Мацько рассмеялся и повторил слова Збышка господину де Лоршу.

– Разговор об этом шел при разных дворах, – ответил лотарингский рыцарь, – хвалили везде ваших рыцарей за отвагу, но упрекали за то, что они защищают язычников.

– Мы защищали от набегов и обид народ, который хотел принять крещение. Это немцам хочется, чтобы он коснел в язычестве, лишь бы только им иметь повод для войны.

– Бог их рассудит, – ответил де Лорш.

– И может, в самом скором времени, – подхватил Мацько из Туробоев.

Но, услышав, что Збышко был под Вильно, лотарингский рыцарь стал расспрашивать его об этом городе, так как слух о битвах и рыцарских поединках, которые происходили там, разнесся по всему свету. Воображение западных рыцарей особенно поразила весть о поединке между четырьмя польскими и четырьмя французскими рыцарями. Де Лорш стал с большим уважением смотреть на Збышка, как на человека,

который принимал участие в столь славных битвах, и радовался в душе, что ему придется драться не с каким-нибудь заурядным рыцарем.

Они продолжали свой путь с виду как будто в полном согласии, на привалах оказывали друг другу знаки внимания и угощали друг друга вином, изрядный запас которого был у де Лорша на повозках. Но из разговора между де Лоршем и Мацьком из Туробоев выяснилось, что Ульрика д'Эльнер вовсе не девушка, сорокалетняя замужняя женщина, у которой к тому же шесть человек детей, и Збышко ещё больше возмутился, что этот странный чужеземец не только смеет сравнивать свою «старуху» с Дануськой, но и требует признания её превосходства. Ему пришло в голову, что, может, этот человек не в своем уме и ему нужно не странствовать по свету, а сидеть в темноте да не раз кнута попробовать; подумав об этом, он сдержал мгновенную вспышку гнева.

– Не кажется ли вам, – сказал Збышко Мацьку, – что злой дух омрачил его разум? Может, в голове у него бес сидит, как червь в орехе, и ночью готов перескочить на кого-нибудь из нас. Надо быть поосторожней...

Мацько из Туробоев стал было возражать, однако с некоторым беспокойством посмотрел на лотарингского рыцаря и в конце концов сказал:

– Бывает, что у одержимого их сидит целая сотня, а как станет им тесно, они норовят вселиться в других людей. Нет хуже беса, чем тот, которого найдет баба.

Он вдруг обратился к рыцарю:

– Слава Иисусу Христу!

– И я его славлю, – с удивлением ответил де Лорш.

Мацько из Туробоев совершенно успокоился.

– Вот видите, – сказал он, – если бы в нем сидел нечистый, рыцарь тотчас стал бы изрыгать пену или грянулся наземь – я ведь обратился к нему неожиданно. Можно ехать.

Они спокойно поехали дальше. От Цеханова до Прасныша было не особенно далеко, и летом гонец на добром коне мог за два часа покрыть расстояние между этими двумя городами. Но ночью, по снежным сугробам путники подвигались в лесу гораздо медленней и часто останавливались на привал; выехали они далеко за полночь, так что до княжьего охотничьего дома, расположенного за Праснышем на опушке леса, добрались только на рассвете. Большой низкий деревянный дом, правда с окнами из стеклянных шариков, стоял под самым лесом. Перед домом виднелись колодезные журавли и два навеса для лошадей, а кругом множество шалашей, собранных на скорую руку из сосновых ветвей, и шатров, раскинутых из звериных шкур. В сумеречном свете занимающегося дня перед шатрами ярко пылали костры, а вокруг них стояли загонщики в вывороченных кожухах, в лисьих, волчьих и медвежьих тулупах. Большая часть их была в шапках, вычиненных из звериных голов, и господину де Лоршу казалось, что это дикие звери поднялись перед кострами на задние лапы. Некоторые стояли, опершись на рогатины, другие – на самострелы, иные плели из веревок необъятные тенета, другие вертели перед огнем огромные зубровые и лосиные окорока, предназначенные, видно, на завтрак.

Отблеск пламени падал на снег, освещая эти дикие фигуры, окутанные дымом костров

и облаками пара, вырывавшегося из ноздрей и поднимавшегося от жареного мяса, а позади алели стволы огромных сосен и виднелись новые толпы людей, такие огромные, что лотарингский рыцарь, для которого внове была такая охота, просто был поражен.

– Ваши князья, – заметил он, – на охоту отправляются как в военный поход.

– Надо вам сказать, – ответил Мацько из Туробоев, – что у них нет недостатка ни в охотничьем снаряжении, ни в людях. Это загонщики князя; но есть тут и другие, из лесных дебрей, они приходят сюда торговать.

– Как быть? – прервал его Збышко. – В доме ещё спят.

– Подождем, пока не проснутся, – ответил Мацько. – Не станем же мы стучаться и будить князя, нашего господина.

Он подвел рыцарей к костру, загонщики постлали для них зубровые и медвежьи шкуры, а затем стали услужливо потчевать гостей дымящимся мясом. Заслышав чужую речь, у костра стал собираться народ, чтобы поглазеть на немца. Слуги Збышка тотчас рассказали, что это рыцарь «из заморских стран», и люди сбились вокруг рыцарей такой плотной толпой, что Мацько из Туробоев вынужден был употребить власть, чтобы оградить чужеземца от чрезмерного любопытства. В толпе де Лорш заметил женщин, одетых тоже главным образом в шкуры, румяных, как наливное яблоко, и необыкновенно красивых, и стал спрашивать, принимают ли и они участие в охоте.

Мацько Туробойский объяснил ему, что в охоте они участия не принимают, а приходят с загонщиками, движимые женским любопытством, или являются как на ярмарку для покупки городских товаров и продажи своих лесных богатств. Так оно на самом деле и было; даже в отсутствие князя его охотничий дом был как бы средоточием двух стихий: городской и лесной. Загонщики не любили выходить из пущи, непривычно им было, когда лес не шумел у них над головами, поэтому праснышане привозили сюда, на лесную опушку, свое знаменитое пиво, муку, смолотую на городских ветряках или на водяных мельницах на Венгерке, редкую в пуще соль, за которой лесные жители очень охотились, скобяные и кожевненные товары и прочие изделия, а взамен брали шкуры, ценные меха, сушеные грибы, орехи, лекарственные травы или янтарь, который довольно легко было достать у курпов. Поэтому около княжеского охотничьего дома гомон стоял всегда, как на ярмарке, особенно во время охоты, когда и по обязанности, и из любопытства сюда стекались из лесных недр их обитатели.

Де Лорш слушал рассказы Мацька, с любопытством глядя на загонщиков, которые жили на здоровом смолистом воздухе, питались, как и большая часть тогдашних крестьян, главным образом мясом и нередко поражали иноземных путешественников своим ростом и силой; тем временем Збышко, устроившись у костра, все поглядывал на окна и двери дома, ему не сиделось на месте. В доме светилось только одно окно, видно в кухне, так как сквозь щели в неплотно пригнанных рамах выходил дым. В остальных окнах было темно, и они только поблескивали в лучах зари, которая с каждой минутой светлела и все сильнее серебрила заснеженную пущу позади дома. В маленькой двери, прорезанной в боковой стене дома, то и дело появлялись княжеские слуги в кафтанах и с ведрами или бадейками на коромыслах бежали к колодцам за водой. Когда их спрашивали, все ли ещё спят в доме, они отвечали, что после вчерашней охоты все утомились и ещё спят, но что уже готовится завтрак, который подадут перед выездом на охоту.

Через кухонное окно стал и впрямь проникать запах жира и шафрана и разлился между кострами по всей опушке. Наконец скрипнула и отворилась главная дверь, взору открылась внутренность ярко освещенных сеней – и на крыльцо вышел человек; Збышко с первого же взгляда признал в нем одного из песенников, которого в свое время видел в Кракове среди придворных княгини. Не ожидая ни Мацька из Туробоев, ни де Лорша, Збышко опрометью бросился к дому, так что изумленный лотарингский рыцарь спросил:

– Что случилось с этим молодым рыцарем?

– Ничего не случилось, – ответил Мацько из Туробоев, – он любит одну придворную княгини, и ему хочется поскорее увидеть её.

– Ах! – воскликнул де Лорш, прижимая к сердцу руки.

И, подняв глаза к небу, он стал вздыхать так жалобно, что Мацько пожал плечами и сказал про себя:

«Неужто он так вздыхает по своей старушонке? Должно быть, и впрямь не в своем уме!»

Тем не менее он проводил его к дому, и они вошли в обширные сени, украшенные рогами туров, зубров, лосей и оленей и освещенные отблеском пылавших в камине сухих поленьев. Посредине стоял накрытый ковровой скатертью стол с мисками, приготовленными для завтрака. В сенях было лишь несколько придворных, с которыми разговаривал Збышко. Мацько из Туробоев познакомил их с господином де Лоршем, придворные не говорили по-немецки, и ему пришлось остаться с лотарингским рыцарем. Поминутно являлись все новые и новые придворные, большей частью brave молодцы, не очень изысканные, но рослые, плечистые, белокурые, одетые уже в охотничье платье. Те из них, которые были знакомы со Збышком и знали об его краковских приключениях, здоровались с ним как со старым другом, и было видно, что он пользуется у них уважением. Некоторые глядели на него с тем удивлением, с каким обычно глядят на человека, над которым была занесена секира палача. Кругом раздавались возгласы: «Наконец-то! И княгиня здесь, и Дануся, сейчас ты, бедняга, увидишь её и на охоту с нами поедешь». Но тут вошли два гостя-крестоносцы, брат Гуго фон Данфельд, комтур из Ортельсбурга, или из Щитно, родственник которого был в свое время маршалом, и Зигфрид де Лёве, тоже из заслуженной в ордене фамилии, правитель Янсборка. Первый был ещё довольно молод, но тучен, с хитрым лицом пьяницы и толстыми влажными губами, другой – высокого роста, со строгими и благородными чертами лица. Збышку показалось, что Данфельда он как-то видел у князя Витовта и что епископ плоцкий Генрик выбил его на ристалище из седла, однако юноша тотчас позабыл об этом, так как в эту минуту в сени вышел князь Януш, к которому обратились с поклоном и крестоносцы, и придворные. Де Лорш, комтуры и Збышко приблизились к князю, который любезно приветствовал их, сохраняя, однако, выражение важности на безусом крестьянском лице, обрамленном волосами, ровно подстриженными на лбу и с обеих сторон ниспадавшими на плечи. Тотчас за окнами затрубили трубы, возвещая, что князь садится за стол: они протрубили раз, другой, третий, и тогда распахнулись справа высокие двери и в них показалась княгиня Анна, а с нею чудно прекрасная девочка с лютней, висевшей через плечо.

Увидев их, Збышко выступил вперед и, сложив руки, как для молитвы, опустился на колени, всей своей позой выражая почтительность и преклонение.

Шум пробежал при этом по залу, так как всех Мазуров удивило, а некоторых даже задело поведение Збышка. «Ишь, – говорили старики, – верно, у заморских рыцарей, а нет, так вовсе у язычников этому научился; даже немцы не знают такого обычая». Молодые же думали: «Нет ничего удивительного, ведь он обязан ей жизнью». А княгиня и Дануся не сразу признали Збышка, так как он стоял коленопреклоненный спиной к огню и лицо его было в тени. Княгиня в первую минуту подумала, что это кто-нибудь из придворных провинился перед князем и просит её о заступничестве; но Дануся, у которой зрение было острее, шагнула вперед и, склонив свою светлую головку, крикнула вдруг тонким, пронзительным голосом:

– Збышко!

И, не думая о том, что на неё смотрит весь двор и иноземные гости, она, как серна, кинулась к молодому рыцарю, обвила руками его шею и, прильнув к своему возлюбленному, стала целовать ему глаза, губы, щеки; вне себя от радости, она при этом так пищала, что мазуры в конце концов разразились оглушительным хохотом, а княгиня схватила её за ворот и потянула к себе.

Окинув глазами присутствующих и страшно смутившись, Дануся тогда с такой же быстротой юркнула за спину княгини и по самую макушку зарылась в складки её юбки.

Збышко упал к ногам княгини, та подняла его, поздоровалась и стала расспрашивать про Мацька: умер он или жив, а коли жив, так почему не приехал в Мазовию? Збышко не очень внятно отвечал на её вопросы, он перегибался то в одну, то в другую сторону, стараясь увидеть Дануську, которая то выглядывала из-за юбки своей госпожи, то снова пряталась в складках. Мазуры со смеху помирали, глядя на эту картину, смеялся и князь, пока наконец не внесли горячие блюда и обрадованная княгиня не обратилась к Збышку со следующими словами:

– Ну, служи нам теперь, милый слуга, и дай Бог тебе служить не только за столом, но и всегда.

А затем она обернулась к Данусе:

– А ты, несносная муха, сейчас же вылезай, а то совсем оборвешь мне юбку.

И Дануся вылезла, пылающая, смущенная, то и дело поднимая на Збышка испуганные, стыдливые и в то же время любопытные глазки; она была так хороша, что сердце растаяло не только у Збышка, но и у прочих мужчин: комтур крестоносцев из Щитно прижал пальцы к своим толстым влажным губам, а де Лорш воздел в изумлении руки и воскликнул:

– Ради святого Иакова из Компостеллы[66], кто эта девица?

Комтур из Щитно, который был мужчиной не только тучным, но и низенького роста, приподнялся на цыпочки и сказал на ухо лотарингскому рыцарю:

– Дщерь дьявола.

Де Лорш поглядел на него, моргая глазами, затем наморщил брови и сказал в нос:

– Нет, настоящий рыцарь не хулит красоту.

– Я ношу золотые шпоры, и я – монах, – надменно возразил Гуго фон Данфельд.

Опоясанные рыцари пользовались таким почетом, что де Лорш опустил голову и только через минуту сказал:

– А я родственник герцогов Брабанта!

– Рах! Рах![67] – воскликнул крестоносец. – Хвала могущественным герцогам и друзьям ордена, который вскоре вручит вам золотые шпоры. Я согласен, что эта девушка красива, но вы только послушайте, кто её отец.

Однако он ничего не успел рассказать, так как в эту минуту князь Януш сел за завтрак и, узнав предварительно у комтура из Янсборка о знатном родстве господина де Лорша, дал ему знак занять место около себя. Напротив села княгиня с Данусей, а Збышко, как когда-то в Кракове, встал за креслами своих дам, готовый служить им. Данусе было стыдно, и она сидела, низко опустив голову над миской, но смотрела вбок, так, чтобы Збышко мог видеть её лицо. С жадностью и восхищением смотрел он на её светлую маленькую головку, на розовую щечку, на плечи уже не детские, обтянутые узким платьем, и чувствовал, что новая любовь волной поднимается в нем и заликает грудь. На глазах, на губах, на лице он ощущал свежие её поцелуи. Когда-то она целовала его, как сестра брата, и как от милого ребенка принимал он её поцелуи. Теперь же при одном воспоминании о них с ним что-то творилось, как, бывало, при встречах с Ягенкой: истома и слабость овладевали им, но жар таился под ними, как в костре, засыпанном пеплом. Дануся казалась ему совсем взрослой девушкой, она и в самом деле выросла, расцвела. К тому же при ней много говорили о любви, и как алеют и раскрываются лепестки бутона, когда его пригреет солнце, так раскрылись для любви её глаза, и от этого появилось в ней нечто новое, чего не было раньше, – красота уже не детская и очарование неотразимое, упоительное, которое исходило от неё, как тепло от пламени или аромат от розы.

Збышко был во власти её очарования, но не отдавал себе в этом отчета, он совсем позабылся. Он забыл даже о том, что надо прислуживать дамам. Он не видел, что придворные смотрят на него, толкают друг друга локтями и, подсмеиваясь, показывают на него и Данусю. Не заметил он также ни застывшего от изумления лица господина де Лорша, ни устремленных на Данусю выпуклых глаз комтура из Щитно, в которых отражалось пламя камина, отчего они казались красными и сверкали, как у волка. Он опомнился только тогда, когда снова затрубили трубы, возвестив, что время отправляться в пущу, и княгиня Анна Данута сказала ему:

– Поедешь с нами, порадуешься, Дануське о любви своей скажешь, а я тоже охотно слушаю.

И она вышла с Данусей, чтобы переодеться для верховой езды. Збышко тотчас выбежал во двор, где конюхи держали уже заиндевелых фыркающих коней для княжеской четы, гостей и придворных. Народу во дворе стало поменьше, загонщики с тенетами ушли раньше и скрылись уже в пуще. Костры поpritухли, день встал ясный, морозный, снег скрипел под ногами, и с деревьев под легким дуновением, искрясь, осыпался сухой иней. Вскоре из дома вышел князь и сел на коня; за ним слуга нес самострел и рогатину, такую длинную и тяжелую, что мало кто владел ею; однако князь, обладавший, как все мазовецкие Пясты, необычайной силой, легко орудовал ею. В роду Пястов бывали даже девушки, которые, выходя замуж за иноземных князей, на свадебном пиру легко скручивали в жгут широкие железные тесаки[68].

Князя сопровождали два телохранителя, готовые в случае надобности немедленно прийти ему на помощь; они были выбраны из шляхтичей варшавской и цехановской земель; страшно было глянуть на них – косая сажень в плечах, могучие, как деревья в лесу, они привлекли особое внимание прибывшего из дальних стран господина де Лорша.

Тем временем вышла и княгиня с Данусей, обе в шапочках из шкурок белых ласок. Достойная дочь Кейстута лучше владела луком, чем иглой, поэтому за нею несли самострел с красивой насечкой, который был только немного легче, чем обычно. Збышко преклонил на снегу колени и подставил княгине руку, на которую она оперлась ножкой, садясь на коня; затем он посадил в седло Данусю, как в Богданце сажал Ягенку, – и все тронули коней. Поезд вытянулся длинной змеей, свернул от дома направо и, сверкая и переливаясь на опушке леса, как цветная кайма по краю темного сукна, стал медленно въезжать в лес.

Поезд уже углубился в чащу, когда княгиня обернулась к Збышку и сказала:

– Что же ты молчишь? Поговори же с нею.

Но Збышком овладела робость, и, даже ободренный княгиней, он заговорил не сразу.

– Дануська! – промолвил он наконец.

– Что, Збышко?

– Я люблю тебя так...

Он запнулся, тщетно силясь найти слова; трудно это было ему, хоть и умел он, как иноземный рыцарь, преклонить перед девушкой колени, хоть и оказывал ей всяческие знаки внимания и старался избегать простонародных слов, но тщетно силился выразиться с изысканностью, ибо как приволье полей была его душа, и говорить он умел только просто.

Так и сейчас, помолчав минуту, он сказал:

– Я люблю тебя так, что дух занимается!

Она подняла на него из-под меховой шапочки голубые глаза и лицо, разруганное холодным лесным воздухом.

– И я, Збышко! – ответила она поспешно.

И тотчас опустила ресницы, ибо знала уже, что такое любовь.

– Мое ты сокровище! Моя ты красавица! – воскликнул Збышко.

И снова умолк, счастливый, растроганный; но добрая и вместе с тем любопытная княгиня опять пришла ему на помощь.

– Расскажи, – промолвила она, – как тосковал по ней, а встретится кустик – и в губы её поцелуй, я не стану гневаться: так ты лучше всего докажешь, что любишь её.

И начал он рассказывать, как тосковал по ней и в Богданце, когда за Мацьком

ухаживал, и в гостях у соседей. Хитрый парень ни словом не обмолвился об Ягенке, хоть обо всем рассказал откровенно, потому что в эту минуту так любил прекрасную Данусю, что ему хотелось схватить её в объятия, посадить перед собой на коня и прижать к груди.

Однако Збышко не посмел этого сделать; но когда первый куст отделил его и Данусю от ехавших следом за ними гостей и придворных, он нагнулся, обнял её и спрятал лицо в меховой шапочке девушки, доказав этим свою любовь к ней.

Но нет зимою листьев на кустах орешника, и увидели его Гуго фон Данфельд и господин де Лорш, увидели и придворные и стали говорить между собой:

– При княгине чмокнул! Княгиня их мигом окрутит, это уж как пить дать.

– Он молодец, но и у неё горячая кровь Юранда!

– Кремень это и огниво, хоть девчонка как будто смиренница. Небось загорится! Ишь как он впился в неё, точно клещ!

Так, смеясь, говорили они, а комтур из Щитно обратил к господину де Лоршу свое козлиное, злое и похотливое лицо и спросил:

– Не хотели ли бы вы, господин де Лорш, чтобы какой-нибудь Мерлин[69] чародейскою властью оборотил вас в этого молодого рыцаря?

– А вы, господин фон Данфельд? – спросил де Лорш.

Крестоносец, душу которого обожгла, видно, зависть и похоть, вздыбил нетерпеливой рукою коня и воскликнул:

– Клянусь спасением души!..

Однако тотчас опомнился и, склонив голову, произнес:

– Я монах и дал обет целомудрия.

И бросил быстрый взгляд на лотарингского рыцаря, опасаясь увидеть на его лице улыбку. Что касается целомудрия, то орден пользовался дурной славой, а самая худая шла о Гуго фон Данфельде. Несколько лет назад он был помощником правителя в Самбии, и жалоб на него было столько, что хоть в Мальборке сквозь пальцы смотрели на подобные дела, однако вынуждены были перевести его в Щитно начальником замковой стражи. Прибыв в последние дни с тайным поручением ко двору князя, он увидел прелестную дочку Юранда и воспылал к ней страстью; юный возраст Дануси не мог для него служить помехой, так как в те времена девушки выходили замуж и в более раннем возрасте. Но Данфельд знал, из какой семьи девушка, а с именем Юранда у него было связано страшное воспоминание, так что сама страсть родилась в нем из дикой ненависти.

А тут и де Лорш задал крестоносцу вопрос, ожививший в его памяти это воспоминание:

– Вы, господин фон Данфельд, назвали эту девушку дочерью дьявола; почему вы её так называли?

Данфельд начал рассказывать эту историю Злоторьи: как при восстановлении замка крестоносцы ловко захватили в плен князя вместе с его двором и как при этом погибла мать Дануси, за которую Юранд страшно мстил с той поры всем рыцарям-крестоносцам. Ненавистью дышали слова Данфельда, когда он рассказывал эту историю, ибо для этого у него были личные причины. Два года назад он сам столкнулся с Юрандом; но, когда увидел страшного «спыховского зверя», первый раз в жизни такого спраздновал труса, что бросил двух своих родственников, слуг и добычу и как безумный целый день скакал до самого Щитно, где от волнения надолго слег. Когда он выздоровел, великий маршал ордена предал его рыцарскому суду; Данфельд поклялся честью на кресте, что конь понес и умчал его с поля битвы, поэтому суд оправдал его, однако по приговору ему был закрыт доступ к высшим должностям в ордене. Правда, обо всем этом крестоносец на этот раз умолчал, зато так расписывал жестокость Юранда и дерзость всего польского народа, что лотарингский рыцарь не верил своим ушам.

– Но ведь мы сейчас, – сказал он наконец, – не у поляков, а у мазуров?

– Это отдельное княжество, но народ один, – ответил комтур, – он одинаково подл и одинаково ненавидит орден. Дай Бог, чтобы немецкий меч истребил все это племя!

– Вы правы, господин фон Данфельд; ведь если князь, который с виду кажется таким почтенным, осмелился воздвигать против вас замок в ваших же владениях, то это беззаконие, о каком я не слыхивал и среди язычников.

– Замок он воздвигал против нас, но Злоторья находится не в наших, а в его владениях.

– Тогда слава Иисусу, ниспославшему вам победу. Как же кончилась эта война?

– Да войны тогда не было.

– А ваша победа под Злоторьей?

– Бог и в этом благословил нас – князь был без войска, с одними придворными и женщинами.

Де Лорш в изумлении воззрился на крестоносца:

– Как же так? Значит, вы в мирное время напали на женщин и на князя, который возводил замок на собственной земле?

– Нет бесчестных поступков, когда речь идет о славе ордена и христианства.

– А этот грозный рыцарь ищет мести только за молодую жену, убитую вами в мирное время?

– Кто поднимет руку на крестоносца, тот – сын тьмы.

Призадумался господин де Лорш, услышав эти речи, но не было у него времени, чтобы ответить Данфельду, так как они выехали на обширную поляну, поросшую заснеженным камышом, на которой князь спешился, а за ним спешили и другие.

XXI

Для того чтобы легче было стрелять из самострелов и луков, опытные лесники под

руководством ловчего рассыпали охотников в длинную цепь по краю поляны так, что сами охотники находились в укрытии, а перед ними лежало свободное пространство. По двум коротким краям поляны деревья и кусты обметали тенетами; за ними притаились «тенетчики», которые должны были гнать зверя на стрелков, а если он не испугается их гиканья и запутается в тенетах, добивать его рогатинами. Множество курпов, умело расставленных цепью в так называемой облаве, должны были гнать всякую живую тварь из лесных недр на поляну. За стрелками снова развесили тенета, чтобы зверь, которому удастся прорваться сквозь ряд стрелков, тоже попался в сети и был добит в их ячеях.

Князь стоял посредине цепи стрелков в небольшой ложине, которая тянулась поперек всей поляны. Ловчий, Мрокота из Моцажева, выбрал ему это место, зная, что именно в эту ложину побежит от облавщиков самый крупный зверь. В руках у князя был самострел, рядом к дереву была прислонена тяжелая рогатина, а чуть поодаль стояли два «телохранителя»; могучие, как деревья в пуще, с секирами на плечах, они держали наготове натянутые самострелы, чтобы подать их князю в случае надобности. Княгиня и Дануся не слезали с коней: князь никогда не позволял им спешиваться, опасаясь свирепых туров и зубров, от которых конному легче было спастись. Де Лорш, которому князь предложил занять место по правую руку, попросил позволения остаться на коне для охраны дам и стал неподалеку от княгини, похожий на длинный гвоздь со своим рыцарским копьем, над которым втихомолку посмеивались мазуры, справедливо полагая, что оружие это мало пригодно для охоты. Зато Збышко вбил рогатину в снег, самострел сдвинул на спину и, стоя около коня Дануси, то поднимал голову и шептал что-то ей, то обнимал её ноги и целовал колени, совершенно не таясь от людей со своей любовью. Он попритих только тогда, когда Мрокота из Моцажева, который в пуще позволял себе ворчать даже на князя, строго-настрого приказал ему сохранять молчание.

Тем временем далеко-далеко, в недрах пущи, раздались звуки курпских рожков, которым коротко и пронзительно ответил с поляны кривой охотничий рог, – затем воцарилась немая тишина. Лишь порою сойка крикнет на верхушке сосны да вороном прокаркает кто-нибудь из облавщиков. Охотники впились глазами в белый пустой простор, где ветер шелестел в покрытых инеем камышах и обнаженных кустах ивняка. Все с нетерпением ждали, какой же зверь первым появится на снегу, вообще же охоту предсказывали удачную и богатую: в пуще водилось множество зубров, туров и кабанов. Курпы к тому же выкурили из берлог нескольких медведей; проснувшись от дыма, те бродили в зарослях злые, голодные и настороженные, чуя, что вскоре им придется сразиться не за спокойную зимнюю спячку, а за жизнь.

Однако нужно было набраться терпенья – облавщики, гнавшие зверя к крыльям облавы и на поляну, оцепили в бору огромное пространство и шли издалека, так что даже лай собак, спущенных со смычков по первому сигналу рога, не долетал до слуха охотников. На поляне показалась одна из собак; спущенная, должно быть, раньше времени или отбившаяся от своры, она увязалась за курпами; вода по земле носом, она пробежала через поляну и проскользнула между охотниками. И снова пусто и глухо стало кругом, только облавщики по-прежнему каркали, как воронье, давая таким образом знать, что скоро начнется работа. Прошло ещё немного времени, и вот на краю поляны появились волки; самые чуткие из всех зверей, они первыми попытались уйти от облавы. Их было несколько. Однако, выбежав на поляну и учуяв, что кругом люди, они снова повернули в лес, чтобы попытаться найти другой выход. Затем из лесной чащи вынырнули кабаны и длинной черной цепью побежали через занесенное снегом пространство, похожие издали на стадо домашних свиней, которые, трясая ушами, несутся к хате на зов хозяйки. Но цепь останавливалась, прислушивалась, принималась, поворачивала назад, снова прислушивалась;

бросившись к тенетам и почуяв тенетчиков, снова с храпом пускалась к стрелкам; она подходила все осторожней, но вместе с тем все быстрее, пока не щелкнули наконец железные запоры самострелов, не запели стрелы и первая кровь не обагрила белую снежную пелену.

Раздался визг, и стадо рассеялось, как от удара грома: одни сломя голову помчались вперед, другие кинулись к тенетам, иные в одиночку или кучками заметались по поляне, мешаясь с другими зверями, которые ринулись уже из чащи на поляну. До слуха охотников уже явственно доносились звуки рожков, лай собак и далекий гомон – это главная лава двигалась сюда из недр. На лужайке, куда зверей загоняли с боков через широко раскинутые крылья облавы, уже было полным-полно всякого зверья. Ничего подобного нельзя было увидеть не только в иноземных странах, но и в других польских землях, где уже не было таких пущ, как в Мазовии. Хотя крестоносцам случалось бывать на Литве, где зубры порой бросались на войско и производили замешательство в его рядах[70], однако они поразились, увидев такую тьму зверей; особенно же был изумлен этим зрелищем господин де Лорш. Стоя, как журавль, на страже около княгини и её придворных дам и не имея возможности поговорить с ними, он начал уже было скучать и мерзнуть в своих железных доспехах и решил, что охота не удалась. И вдруг он увидел впереди целые стада легконогих серн, светло-рыжих оленей и лосей с тяжелыми, венчанными головами; смешавшись в кучу, звери метались по поляне и, ничего не видя от страха, тщетно искали выхода из западни. Княгиня, у которой от этого зрелища закипела в жилах кровь её отца Кейстута, пускала в эту пеструю кучу одну стрелу за другой, всякий раз радостно вскрикивая, когда раненый олень или лось на всем скаку становился на дыбы и, тяжело рухнув на землю, рыл ногами снег. В охотничьем пылу даже некоторые придворные дамы то и дело пригибались к своим самострелам. Один только Збышко и не помышлял об охоте; опершись локтями на колени Дануси и подперев руками голову, он заглядывал ей в глазки, а она, улыбающаяся и смущенная, все закрывала ему пальчиками глаза, словно не в силах вынести его взор.

Но тут внимание господина де Лорша привлек огромный медведь с седым загривком и лопатками, который неожиданно вынырнул из камышей неподалеку от стрелков. Князь пустил в него стрелу из самострела, а затем кинулся на него с рогатиной и, когда зверь с ужасающим ревом поднялся на задние лапы, так ловко и быстро заколол его на глазах у всего двора, что ни одному из телохранителей не пришлось употребить в дело секиру. Тогда молодой лотарингский рыцарь подумал, что немногие из тех государей, у кого ему случилось гостить по дороге сюда, отважились бы так позабавиться и что крестоносцы с таким народом могут когда-нибудь попасть в переделку и их может постигнуть злая участь. Но потом он увидел свирепых одиноцов с белыми клыками, заколотых другими охотниками; это были огромные вепри, гораздо больше и свирепей тех, на которых охотились в лесах Нижней Лотарингии и в германских пущах. Ни таких ловких и сильных охотников, ни таких ударов рогатиной господин де Лорш отродясь не видывал; человек бывалый, он объяснял это тем, что все жители этих дремучих лесов с детских лет приучаются владеть самострелом и рогатиной и могут поэтому приобрести больший навык, чем другие народы.

Поляна в конце концов усеялась трупами всяких зверей; но до конца охоты было ещё далеко. Вот-вот должна была наступить самая любопытная и в то же время самая опасная минута: облавщики согнали на лужайку десятка полтора зубров и туров. В лесах эти звери держались обычно особняком, тут же они перемешались; однако страх вовсе не ослепил их, и не испуганы они были с виду, а скорее грозны. Уверенные в своей страшной силе, они подвигались не особенно быстро, точно знали, что сметут все преграды на своем пути и пройдут; земля гудела под тяжелым

их копытом. Бородатые быки, которые выступали впереди стада, низко пригнув головы к земле, по временам останавливались как бы в нерешимости, раздумывая, куда же свернуть. Глухой рев, подобный подземному гулу, вырывался из страшной их груди, пар валил из ноздрей, и, роя передними ногами снег, они из-под грив, казалось, высматривали кровавыми глазами скрытого врага.

Меж тем тенетчики оглушительно заулюлюкали, сотни громких голосов подхватили их гик в главной лаве и на крыльях; затрубили рога и пищали; бор содрогнулся до самых сокровенных своих глубин, и в то же мгновение на поляну с пронзительным лаем вырвались курпские псы, преследовавшие дичь по пятам. Завидев их, рассвирепели самки с детенышами. Уходя от бешеной погони, стадо, которое до этого медленно подвигалось вперед, мгновенно рассеялось по всей поляне. Один из туров, рыжий, огромный, просто чудовищный бык, крупнее даже зубра, тяжелыми скачками пустился к стрелкам, повернул на поляне направо, и, завидев в нескольких десятках шагов под деревьями лошадей, остановился, и с ревом стал рыть ногами землю, точно готовясь к прыжку и к бою.

Увидев эту страшную картину, тенетчики заулюлюкали ещё оглушительней, а в ряду стрелков раздались испуганные возгласы: «Княгиня, княгиня! Спасайте госпожу!» Збышко схватил торчавшую в снегу рогатину и бросился на опушку леса; за ним кинулось несколько литвинов, готовых погибнуть, защищая дочь Кейстута; но тут в руках княгини щелкнул самострел, просвистела стрела и, пролетев над склоненной головой зверя, вонзилась ему в загривок.

– Готово! – воскликнула княгиня. – Не уйдет...

Однако слова её заглушил такой ужасающий рев, что лошади присели на задние ноги. Тур ураганом помчался прямо на княгиню; но из-за деревьев с не меньшей быстротой выскочил внезапно верхом на своем коне отважный господин де Лорш и, пригнувшись к луке, вытянув, как на рыцарском ристалище, копьё, бросился прямо на зверя.

Присутствующие увидели, как копьё в мгновение ока вонзилось в загривок быку, изогнулось дугой и разлетелось на мелкие куски; затем огромная рогатая голова вся исчезла под брюхом коня господина де Лорша, и, прежде чем кто-либо успел издать звук, скакун со всадником взлетел на воздух, словно камень, пущенный из пращи.

Грянувшись на бок, конь забился в предсмертных судорогах, путаясь ногами в собственных внутренностях, вывалившихся из вспоротого брюха, а господин де Лорш лежал недвижимо, похожий на снегу на железный клин; с минуту тур как будто колебался, обойти ли их и ринуться на других лошадей или остаться; однако он снова обратился к первым своим жертвам и стал вымещать свою злобу на несчастном скакуне, поддевая его головой и в бешенстве взрезая рогами его и без того распоротое брюхо.

Из лесу на защиту иноземного рыцаря бросился народ. Збышко, охваченный тревогой за жизнь княгини и Дануси, прибежал первым и вонзил острие рогатины зверю под лопатку. Однако юноша размахнулся так сильно, что, когда тур внезапно повернулся, рогатина раскололась у него в руках и сам он упал лицом в снег. «Погиб! Погиб!» – послышались голоса Мазуров, бежавших к нему на помощь. Тем временем бык прижал его головой к земле. К Збышку уже бежали от князя два могучих телохранителя; однако они опоздали бы, если бы их не опередил чех Глава, подаренный Збышку Ягенкой. Он успел добежать раньше и, высоко занеся обеими руками широкую секиру, вонзил её туру в опущенный затылок чуть пониже рогов.

Удар был так страшен, что зверь повалился как громом сраженный, с перебитым хребтом и почти отрубленной головой; однако, падая, он придавил Збышка. Оба телохранителя тотчас оттащили чудовищную тушу зверя, а тем временем княгиня и Дануся соскочили с коней и, онемев от ужаса, подбежали к раненому юноше.

Бледный, весь залитый своей кровью и кровью тура, тот приподнялся, сделал попытку встать, но зашатался, упал на колени и, опершись на руку, произнес одно только слово:

– Дануська...

Кровь хлынула у него изо рта, в голове помутилось. Дануся подхватила его за плечи, но не могла удержать и стала звать на помощь. Збышка окружили, растирали его снегом, вливали ему в рот вино; наконец ловчий Мрокота из Моцажева велел положить его на епанчу и унять кровь мягким лесным трупом.

– Будет жить, коли не хребет, а только ребра сломаны, – сказал он княгине.

Тем временем другие придворные дамы занялись с охотниками спасением господина де Лорша. Его повертывали на все стороны, искали, нет ли дыр на доспехах или вмятин, оставленных рогами быка, но, кроме снега, набившегося между пластинами брони, ничего не обнаружили. Тур выместил свою злобу главным образом на коне, который лежал рядом уже мертвый, с вывалившимися внутренностями под брюхом, а сам господин де Лорш не был ранен. Он только потерял сознание при падении и, как выяснилось потом, вывихнул правую руку. Когда с него сняли шлем и влили ему в рот вина, он тотчас открыл глаза и пришел в чувство; увидев встревоженные лица склонившихся над ним двух молодых и красивых дам, он сказал по-немецки:

– Неужели я уже в раю и это ангелы склонились надо мной?

Правда, дамы его не поняли; однако, обрадовавшись, что он пришел в себя и заговорил, стали ему улыбаться, а затем с помощью охотников подняли его с земли. Услышав в правой руке боль, рыцарь застонал и, опершись левой рукой на плечо одного из «ангелов», мгновение стоял неподвижно – ноги у него подкашивались, и он боялся ступить. Окинув мутным взглядом поле боя, он увидел рыжую тушу тура, которая издали казалась чудовищной, увидел Данусю, которая ломала пальцы над Збышком, и на епанче – самого Збышка.

– Этот рыцарь пришел мне на помощь? – спросил господин де Лорш. – Жив ли он?

– Он тяжело изувечен, – ответил один из придворных, умевший изъясняться по-немецки.

– Отныне я не с ним буду драться, а за него! – воскликнул лотарингский рыцарь.

Но тут князь, стоявший над Збышком, подошел к де Лоршу и стал восхвалять его за смелый подвиг, который он совершил, избавив от страшной опасности княгиню и других женщин, а быть может, даже сохранив им жизнь, за что, кроме рыцарских наград, его ждет вечная слава при жизни и после смерти. «Не те уж нынче времена, – сказал князь, – и не много истинных рыцарей ездит по свету, погостите же у нас подольше, а то и вовсе останьтесь в Мазовии: вы снискали уже мою милость, а любовь народа так же легко заслужите доблестными своими подвигами!»

Сердце алчного до славы господина де Лорша растаяло от этих слов; когда же он подумал, что совершил столь замечательный рыцарский подвиг и удостоился таких похвал в этой далекой польской земле, о которой столько удивительного рассказывали на Западе, то от радости забыл даже про боль в вывихнутом плече. Он понимал, что рыцарь, который сможет рассказать при брабантском или бургундском дворе о том, как он спас на охоте жизнь княгине мазовецкой, будет всегда окружен сиянием ореола славы. Под влиянием этих мыслей он вознамерился было тотчас направиться к княгине и, преклонив колена, дать обет верно служить ей; но княгиня и Дануся заняты были Збышком. На короткое мгновение юноша пришел в себя, но только улыбнулся Данусе, поднес руку к покрытому холодным потом лбу и тотчас снова впал в беспамятство. Опытные охотники, видя, как сжались при этом его руки и открылся рот, говорили между собой, что юноша не выживет; но более сведущие курпы, из которых многие носили на себе следы медвежьих когтей, кабаньих клыков и рогов зубра, выражали надежду, что молодой рыцарь встанет на ноги; они утверждали, что турий рог скользнул у него по ребрам, что, может быть, одно или два из них и сломаны, но хребет цел, иначе молодой господин не мог бы приподняться ни на минуту. Они показывали также на снежный сугроб в том месте, где упал Збышко, и говорили, что он-то и спас юношу, – прижав молодого рыцаря головой к сугробу, зверь не смог разможжить ему грудь и хребет.

К несчастью, на охоте не было княжеского лекаря, ксендза Вышонека из Дзеванны; хотя обычно он бывал на охоте, однако на этот раз остался дома и занялся приготовлением облаток. Узнав об этом, чех поскакал за ним, а тем временем курпы понесли Збышка на епанче к княжескому охотничьему дому. Дануся хотела сопровождать Збышка пешком, но княгиня не разрешила – путь был дальний и в лесных оврагах уже лежал глубокий снег, а меж тем надо было торопиться. Комтур Гуго фон Данфельд помог девушке сесть на коня и поехал рядом с нею вслед за людьми, которые несли Збышка; понизив голос так, чтобы она одна его слышала, он сказал Данусе по-польски:

– В Щитно у меня есть чудесный целительный бальзам, который дал мне пустынный в Герцинском лесу и который я могу доставить вам через три дня.

– Да вознаградит вас Бог! – ответила Дануся.

– Бог записывает каждое милосердное дело, но могу ли я надеяться получить награду и от вас?

– Чем же я могу вознаградить вас?

Крестоносец подъехал поближе, хотел, видно, что-то сказать, но замялся и, помолчав с минуту, сказал:

– В ордене у нас, кроме братьев, есть и сестры... Одна из них привезет целительный бальзам, и тогда я скажу вам о награде.

XXII

Ксендз Вышонек осмотрел раны Збышка и нашел, что у него сломано только одно ребро; однако в первый день он не ручался за выздоровление, так как не знал, «не перевернулось ли у больного в середине сердце и не оборвалась ли печень». Господин де Лорш к вечеру тоже разнемогся и вынужден был лечь в постель; на следующий день у него так ныли все кости, что от боли он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Княгиня и Дануся с другими придворными дамами ухаживали за больными и, по предписанию ксендза Вышонека, варили для них различные мази и

снадобья. Збышко был тяжело изувечен, по временам у него снова начинала течь горлом кровь, что очень беспокоило ксендза Вышонека. Однако юноша был в сознании и на другой день, узнав от Дануси, кому он обязан жизнью, призвал своего чеха, чтобы поблагодарить и вознаградить его. Ему подумалось, что он получил чеха в дар от Ягенки и что не миновать бы ему гибели, если бы не её доброе сердце. Мысль эта тяготила Збышка, он чувствовал, что никогда не сможет отплатить милой девушке добром за добро и будет для неё всегда лишь источником мучений и неизбывного горя. Правда, он тотчас сказал себе: «Не разорваться же мне пополам!» – и все же где-то в тайнике души его грызла совесть. Чех ещё больше разжег душевную его тревогу.

– Я, – сказал он, – рыцарской честью поклялся моей панночке охранять вас и буду это делать без всякой награды. Не мне, а ей вы обязаны, пан, своим спасением.

Збышко ничего ему не ответил, только дышать стал тяжело, а чех, помолчав минуту, продолжал:

– Прикажете в Богданец скакать, поскачу. Может, хорошо было бы вам со старым паном повидаться, а то ведь Бог знает, что с вами будет.

– А что говорит ксендз Вышонек? – спросил Збышко.

– Ксендз Вышонек говорит, что все станет ясно, когда месяц родится, а месяц родится только через четыре дня.

– Ну, тогда незачем скакать в Богданец. Покуда дядюшка поспеет, я либо помру, либо выздоровею.

– Вы хоть письмо пошлите в Богданец. Сандерус обо всем складно напишет. Хоть весточку о себе дадите, да и обедню там закажут.

– Оставь меня покуда, неможется мне. Помру, воротиться в Згожелицы и обо всем расскажешь, тогда там и закажут обедню. А меня либо тут схоронят, либо в Цеханове.

– Пожалуй, все-таки в Цеханове или в Прасныше, тут, в бору, только курпы своих хоронят, и волки на могилах воют. Слыхал я от слуг, что через два дня князь со двором уезжает в Цеханов, а оттуда в Варшаву.

– Авось меня тут одного не оставят, – сказал Збышко.

Он угадал – в тот же день княгиня обратилась к князю с просьбой позволить ей остаться в охотничьем доме с Данусей, придворными дамами и ксендзом Вышонеком, который был против того, чтобы Збышка сразу перевозить в Прасныш. Господину де Лоршу через два дня стало гораздо лучше, и он начал подниматься с постели; узнав, однако, что «дамы» остаются, он тоже остался, чтобы сопровождать их на обратном пути и защищать от нападения сарацинов. Откуда могли взяться здесь сарацины – над этим вопросом отважный лотарингский рыцарь не задумывался. Правда, далеко на Западе так называли литвинов; однако никакая опасность не могла грозить от них дочери Кейстута, родной сестре Витовта и двоюродной сестре могущественного «краковского короля» Ягайла. Но господин де Лорш слишком много времени провел у крестоносцев и, несмотря на все то, что он слышал в Мазовии и о крещении Литвы, и о двух коронах, возложенных на главу одного властелина, не мог отрешиться от мысли, что от литвинов всегда можно ждать только дурного. Так

говорили крестоносцы, а он ещё не совсем изверился в их словах.

Меж тем произошло событие, породившее рознь между князем Янушем и его гостями-крестоносцами. За день до отъезда князя приехали братья Готфрид и Ротгер, которые оставались в Цеханове, и с ними некий господин де Фурси, привезший крестоносцам неприятную весть. Как выяснилось, сам господин де Фурси и господа де Бергов и Майнегер, оба из фамилий, имевших в прошлом заслуги перед орденом, находясь в качестве иноземных гостей у комтура в Любаве, наслушались рассказов об Юранде из Спыхова и не только не испугались прославленного воителя, но решили выманить его на поле боя, чтобы убедиться, действительно ли он так страшен, как о нем рассказывают. Правда, комтур сперва противился этому, ссылаясь на то, что между орденом крестоносцев и мазовецкими княжествами царит мир; но в конце концов, питая, видимо, надежду освободиться от грозного соседа, не только решил смотреть на все сквозь пальцы, но и дал своим гостям вооруженных кнехтов. Рыцари послали вызов Юранду, который тотчас принял его при одном только условии, что они отошлют людей и будут драться с ним и двумя его товарищами на самой границе Пруссии и Спыхова. Но рыцари не пожелали отослать кнехтов и покинуть пределы спыховских владений; тогда Юранд напал на них, перебил людей, пронзил копьем господина Майнегера, нанеся ему тяжелую рану, а господина де Бергова захватил в плен и ввергнул в спыховское подземелье. Спасся только господин де Фурси; три дня блуждал он в мазовецких лесах, пока не узнал от смолокуров, что в Цеханове гостят крестоносцы, и не пробрался к ним, чтобы принести вместе с ними жалобу вельможному князю и просить его покарать виновника и освободить из неволи господина де Бергова.

Когда были получены эти вести, отношения у князя с его гостями сразу испортились; не только вновь прибывшие братья, но и Гуго фон Данфельд, и Зигфрид де Лёве стали домогаться у князя, чтобы он раз навсегда удовлетворил требования ордена, убрал с границы хищника и покарал его за все преступления по совокупности. Особенно настойчиво добивался возмездия, чуть не грозил князю Гуго фон Данфельд: у крестоносца были старые счеты с Юрандом, при воспоминании о которых он сгорал от стыда.

– Жалоба будет послана великому магистру, – говорил он, – и коли мы, вельможный князь, у вас не найдем справедливости, то магистр сам расправится с этим разбойником, даже если за него вступится вся Мазовия.

Князь, человек по натуре мягкий, вспыхнул, однако, гневом и сказал:

– Какой же справедливости вы у меня ищете? Если бы Юранд напал на вас первый, пожег деревни, угнал стада, перебил людей, я бы непременно предал его суду и покарал. Но ведь на него напали ваши гости. Ваш комтур позволил им взять с собой кнехтов – что же было делать Юранду? Он принял вызов и требовал только, чтобы вы отослали людей. Как же я могу карать его за это или предавать суду? Вы задели грозного мужа, которого все страшатся, и сами, по доброй воле, навлекли на себя беду, – так чего же вы хотите? Неужели я должен повелеть ему не защищаться, когда вам вздумается учинить на него набег?

– Не орден, а гости, иноземные рыцари, учинили на него набег, – возразил Гуго.

– Орден отвечает за своих гостей, к тому же с ними были кнехты из любавской стражи.

– Что же было делать комтуру – выдать Юранду гостей на погибель?

– Нет, вы только посмотрите, – воскликнул при этих словах князь, обращаясь к Зигфриду, – во что обращается в ваших устах справедливость, и подумайте, не оскорбляют ли ваши уловки Бога?

Но суровый Зигфрид возразил ему:

– Господин де Бергов должен быть отпущен на волю, ибо мужи из его рода были в ордене военачальниками и оказали ему большие услуги.

– А смерть Майнегера должна быть отомщена, – прибавил Гуго фон Данфельд.

Князь при этих словах откинул за уши пряди волос и, поднявшись со скамьи, с грозным видом шагнул к крестоносцам; однако через минуту он совладал с собою, вспомнив, видно, что они его гости, и, положив руку на плечо Зигфриду, сказал:

– Послушайте, комтур, вы носите крест на плаще, так скажите же мне по совести, на этом кресте поклянитесь, – прав или не прав был Юранд?

– Господин де Бергов должен быть отпущен на волю, – повторил Зигфрид де Лёве.

На минуту воцарилось молчание, затем князь воскликнул:

– Господи, дух терпения даруй мне!

А Зигфрид продолжал голосом, подобным лязгу меча:

– Оскорбление, которое нанесли нам в лице наших гостей, лишь новый повод для жалоб. С тех пор как существует орден, ни в Палестине, ни в Семиградье, ни в Литве, доньше языческой, ни один человек не причинил нам столько зла, как этот разбойник из Спыхова. Вельможный князь! Мы взываем к справедливости и требуем кары не за одну, а за тысячи обид, не за одну, а за сотни битв, не за кровь, пролитую однажды, а за годы таких злодейств, за которые огонь небесный должен был бы обратить в пепел это безбожное гнездо злобы и жестокосердия. Чьи стоны взывают там к Богу о мести? – Наши! Чьи слезы там льются? – Наши! Тщетны были наши жалобы, тщетны требования суда. Никогда вы не давали нам удовлетворения!

Князь Януш при этих словах покачал головой и сказал:

– Эх! В старое время крестоносцы не раз бывали гостями в Спыхове и не был Юранд вашим врагом, покуда возлюбленная его жена не скончалась у вас на веревке. А сколько раз вы, как и ныне, сами учиняли набеги на Юранда, желая уничтожить его за то, что он вызывал ваших рыцарей на бой и побеждал их? Сколько раз подсылали вы к нему убийц или в лесу стреляли в него из самострелов? Это правда, он нападал на вас, но ведь он жаждал мести; а разве вы и рыцари, которые живут в ваших владениях, не нападали на мирных людей в Мазовии, не угоняли стад, не жгли селений, не убивали мужей, женщин и детей? А когда я жаловался магистру, он отвечал мне из Мальборка: «Обыкновенные стычки на границе!» Оставьте меня! Не подобает вам жаловаться, ибо даже меня вы схватили, безоружного, в мирное время, на моей собственной земле, и если бы не страх перед гневом краковского короля, то, может, я и доселе стонал бы в вашем подземелье. Так оплатили вы мне, хотя я принадлежу к роду ваших благодетелей. Оставьте меня, ибо не вам взывать ко мне о справедливости!

Крестоносцы при этих словах переглянулись с досадой – им было стыдно и неприятно, что князь при господине де Фурси вспоминает о событии, случившемся под Злоторыей; желая положить конец этому разговору, Гуго фон Данфельд сказал:

– С вами, вельможный князь, произошла ошибка, которую мы исправили не из страха перед краковским королем, но во имя справедливости; что ж до пограничных стычек, то за них наш магистр не может нести ответственность, ибо сколько ни есть королевств на свете, везде смутьяны своевольничают на границе.

– Ты вот сам говоришь об этом, а Юранда требуешь предать суду. Чего же вы хотите?

– Справедливости и возмездия.

Князь сжал свои костистые кулаки и повторил:

– Господи, дух терпения даруй мне!

– Вельможный князь, вы и про то вспомните, – продолжал Данфельд, – что наши своевольники чинят обиды только мирянам, к тому же не принадлежащим к германскому племени, ваши же поднимают руку на немецкий орден и тем самым поносят спасителя. А каких мук и какой кары стоит тот, кто поносит крест господень?

– Послушай! – сказал князь. – Не воюй ты именем Бога, его ведь не обманешь!

И, взяв крестоносца за плечи, он с такой силой потряс его, что тот смешался и заговорил уже более мягким голосом:

– Коли правда, что наши гости первыми напали на Юранда и не отослали кнехтов, я не похваляю их за это; но правда ли, что Юранд принял вызов?

Тут Данфельд неприметно подмигнул господину де Фурси, как бы давая понять, что тот должен отрицать это; но де Фурси либо не мог, либо не пожелал это сделать и сказал:

– Он хотел, чтобы мы отослали кнехтов и сразились с ним и двумя его товарищами.

– Вы в этом уверены?

– Клянусь честью! Я и де Бергов согласился, а Майнегер не дал своего согласия.

Но тут князь прервал де Фурси:

– Комтур из Щитно! Вы лучше других знаете, что Юранд не отказывался от вызова.

Затем, обратившись ко всем, он сказал:

– Коли кто из вас хочет драться с Юрандом конный или пеший, я даю ему свое позволение. Убьет он Юранда либо в плен возьмет, тогда мы господина Бергова отпустим на волю без выкупа. Большого от меня не ждите, ничего у вас не выйдет.

После этих слов воцарилось немое молчание. Как ни отважны были и Гуго фон Данфельд, и Зигфрид де Лёве, и брат Ротгер, и брат Готфрид, однако они слишком

хорошо знали грозного хозяина Спыхова, чтобы отважиться драться с ним не на жизнь, а на смерть. Это мог сделать разве только чужеземец, прибывший из дальних стран, например де Лорш или де Фурси, но де Лорш не присутствовал при этой беседе, а господин де Фурси весь ещё был во власти страха.

– Один раз только я его видел, – пробормотал он, – и больше не хочу.

– Монахам возбраняется принимать участие в поединках, – сказал тогда Зигфрид де Лёве, – разве только по особому позволению магистра и великого маршала; но мы не просим позволения драться, нет, мы требуем, чтобы вы отпустили де Бергова на свободу, а Юранда обезглавили.

– Не вы устанавливаете законы в этой стране.

– До сих пор мы терпели тяжелых соседей. Но магистр сумеет воздать им по заслугам.

– Что до Мазовии, так руки коротки и у вас, и у вашего магистра.

– Магистра немцы поддерживают и император римский.

– А меня поддерживает король польский, которому подвластно больше земель и народов.

– Разве вы, вельможный князь, хотите войны с орденом?

– Если бы я хотел войны, то не ждал бы вас в Мазовии, а пошел бы на вас войной; но и ты мне не грози, я не боюсь.

– Что же мне доложить магистру?

– Ваш магистр ни о чем не спрашивал. Говори ему что хочешь.

– Тогда мы сами отомстим преступнику и покараем его.

Вытянув руку, князь погрозил крестоносцу пальцем под самым его носом.

– Берегись! – сказал он сдавленным от гнева голосом. – Берегись! Я позволил тебе вызвать Юранда на поединок, но коли ты с войском ордена вторгнешься в мою страну, тогда я на тебя ударю – и не гостем, а узником ты у меня будешь.

Видно, терпение у князя лопнуло, он бросил шапку на стол и, хлопнув дверью, вышел из комнаты.

Крестоносцы побледнели от ярости, а господин де Фурси смотрел на них как безумный.

– Что же будет? – первым спросил брат Ротгер.

А Гуго фон Данфельд чуть не с кулаками накинулся на господина де Фурси:

– Зачем ты сказал, что вы первые напали на Юранда?

– Это ведь правда.

– Надо было солгать.

– Я приехал сюда не лгать, а драться.

– Нечего сказать, здорово ты дрался!

– А ты от Юранда не бежал до самого Щитно?

– Рах! – сказал де Лёве. – Этот рыцарь – гость ордена.

– Да и все равно, что он сказал, – вмешался брат Готфрид. – Без суда Юранда не покарали бы, а на суде все бы вышло наружу.

– Что же будет? – повторил брат Ротгер.

На минуту воцарилось молчание, после чего заговорил суровый и непреклонный Зигфрид де Лёве.

– Надо раз навсегда покончить с этой кровавой собакой! – сказал он. – Де Бергов должен быть отпущен на волю. Мы стянем кнехтов из Щитно, из Янсборка, из Любавы, возьмем хелминскую шляхту и ударим на Юранда... Пора покончить с ним!

Но коварный Данфельд, который умел взвесить все доводы, прежде чем сделать решительный шаг, закинул руки за голову, нахмурил брови и после раздумья сказал:

– Без позволения магистра нельзя.

– Если все удастся, магистр нас одобрит! – сказал брат Готфрид.

– А если не удастся? Если князь двинет копейщиков и ударит на нас?

– Между ним и орденом мир: не ударит!

– Эва! Мир-то мир, но мы его первые нарушим. наших кнехтов не хватит против Мазуров.

– Магистр вступится за нас, и будет война.

Данфельд снова нахмурил брови и задумался.

– Нет, нет! – сказал он через минуту. – Если все удастся, магистр в душе будет рад... Он отправит к князю послов, начнутся переговоры, и все сойдет нам с рук. Но в случае поражения орден не вступится за нас и не объявит войны князю... Другой для этого нужен магистр... Князя поддерживает польский король, а с ним магистр не станет ссориться.

– Ведь захватили мы землю добжинскую, значит, не страшен нам Краков.

– Тогда у нас был предлог... Опольский князь... Мы взяли её как залог, да и то...

Он огляделся кругом и, понизив голос, прибавил:

– Слышал я в Мальборке, что коли пригрозят нам войной, так мы отдадим её назад,

только бы нам залог вернули...

– Ах, – воскликнул брат Ротгер, – будь с нами Маркварт Зальцбах или Шомберг, которые передушили щенят Витовта, они бы сумели справиться с Юрандом! Кто такой Витовт? Наместник Ягайла, великий князь, а Шомбергу все сошло с рук... Передушил детей Витовта – и ничего! Что и говорить, мало среди нас людей, которые справились бы с любым делом...

При этих словах Гуго фон Данфельд оперся локтями на стол, опустил голову на руки и надолго погрузился в размышления. Вдруг глаза у него заблестели, он по привычке утер тыльной стороной ладони влажные толстые губы и сказал:

– Да будет благословенна та минута, когда вы, благочестивый брат, помянули имя храброго брата Шомберга.

– А в чем дело? Вы что-нибудь придумали? – спросил Зигфрид де Лёве.

– Говорите скорей! – воскликнули братья Ротгер и Готфрид.

– Послушайте! – сказал Гуго. – У Юранда есть здесь дочка, единственная, которую он крепко любит и бережет как зеницу ока.

– Да, мы её знаем. её любит и княгиня Анна Данута.

– Да. Так вот, слушайте, если бы мы похитили эту девушку, так Юранд отдал бы за неё не только Бергова, но и всех своих узников, самого себя и Спыхов в придачу!

– Клянусь кровью святого Бонифация[71], пролитой в Докуме, – воскликнул брат Готфрид, – все было бы так, как вы говорите!

Все умолкли, словно устранившись трудности и смелости этого предприятия. Только через минуту брат Ротгер обратился к Зигфриду де Лёве.

– Вы так же умны и опыты, – произнес он, – как и отважны; что скажете вы на это?

– Скажу, что над этим стоит подумать.

– Так-то оно так, – продолжал Ротгер, – но дочка Юранда – приближенная княгини, более того, она княгине как родная дочь. Подумайте только, благочестивые братья, какой тут поднимется шум.

Гуго фон Данфельд засмеялся.

– Вы сами говорили, – сказал он, – что Шомберг то ли отравил, то ли задушил щенят Витовта – и что ему было за это? Шум они поднимают по любому поводу; но если мы пошлем к магистру Юранда в цепях, то не наказание нас ждет, а скорее награда.

– Да, – проговорил де Лёве, – и случай удобный подвертывается. Князь уезжает, Анна Данута остается здесь с одними придворными дамами. Но напасть на княжеский дом в мирное время – это дело нешуточное. Княжеский дом – не Спыхов. Будет так, как тогда с Злоторьей! Снова пойдут жалобы ко всем королям и к папе римскому на беззакония ордена; снова станет грозиться проклятый Ягайло, а магистр – вы его

знаете: он охотно захватывает то, что легко захватить, но войны с Ягайлом не хочет... Да! Шум поднимется во всей Мазовии и Польше.

– А тем временем кости Юранда побелеют на виселице, – возразил брат Гуго. – Да и кто вам сказал, что её надо похитить здесь, из-под носа у княгини?

– Ну, не в Цеханове же её похищать, где, кроме шляхты, три сотни лучников.

– Нет. А разве Юранд не может захворать и прислать за дочкой слуг? Княгиня тоже позволит ей уехать, а если девушка пропадет по дороге, кто сможет сказать вам или мне: «Ты её похитил!»

– Да! – нетерпеливо возразил де Лёве. – Но вы попробуйте устроить так, чтобы Юранд захворал и вызвал дочку...

С торжествующей улыбкой Гуго ответил:

– Есть у меня золотых дел мастер, который поселился в Щитно после того, как его за воровство изгнали из Мальборка: он может вырезать любую печать; есть у меня и люди родом из мазуров, но наши подданные... Неужели вы всё ещё меня не понимаете?..

– Понимаю! – с жаром воскликнул брат Готфрид.

А Ротгер воздел руки и сказал:

– Да поможет тебе Бог, благочестивый брат, ибо ни Маркварт Зальцбах, ни Шомберг не придумали бы лучшего средства.

Он прищурил глаза, словно ему смутно виделось что-то вдали.

– Я вижу Юранда, – сказал он, – он стоит в Мальборке у гданьских ворот с веревкой на шее, и наши кнехты пинают его ногами.

– А девка станет послушницей ордена, – прибавил Гуго.

При этих словах де Лёве устремил на Данфельда взгляд, а тот шлепнул себя ещё раз по губам тыльной стороной ладони и сказал:

– А теперь скорее в Щитно!

XXIII

Однако перед отъездом в Щитно четыре брата и де Фурси пришли проститься с князем и княгиней. Не очень ласково простился с ними князь, и все же, не желая нарушать старый польский обычай и отпускать гостей из дому с пустыми руками, он подарил каждому из братьев куний мех и гривну серебра. С радостью приняв дары, крестоносцы заверили князя, что денег они себе не возьмут, ибо как монахи дали обет нищеты, а раздадут их бедным и попросят помолиться о здравии, славе и спасении души князя. Слушая эти заверения, мазуры улыбались в усы: уж им-то прекрасно была известна жадность крестоносцев, а ещё больше их лживость. В Мазовии говаривали: «хорек смердит, а крестоносец брешет». Князь тоже только рукой махнул, слушая эти благодарственные речи, а после ухода крестоносцев сказал, что их молитвами на небо не поедешь, а разве только раком поползешь.

Когда Зигфрид де Лёве, прощаясь с княгиней, целовал ей руку, Гуго фон Данфельд подошел к Данусе, погладил её по головке и сказал:

– Христос велел нам платить добром за зло и любить врагов наших, посему я пришлю сюда монахиню с герцинским целительным бальзамом.

– Как же мне благодарить вас за это? – спросила Дануся.

– Будьте другом ордена и крестоносцев.

Внимание де Фурси привлек этот разговор, поразила рыцаря и красота девушки, и, когда они уже двинулись в Щитно, он спросил:

– Что это за красавица, с которой вы разговаривали перед отъездом?

– Дочка Юранда! – ответил крестоносец.

Господин де Фурси удивился.

– Та самая, которую вы собираетесь похитить?

– Да. Когда мы её похитим, Юранд будет у нас в руках.

– Не одно только зло исходит от Юранда. Неплохо быть стражем такой невольницы.

– Вы думаете, что воевать с нею было бы легче, чем с Юрандом?

– Выходит, я то же думаю, что и вы. Отец – враг ордена, а дочке вы говорили медовые речи, да ещё бальзам пообещали.

Гуго фон Данфельд почувствовал, видно, что надо сказать несколько слов в свое оправдание.

– Я пообещал ей бальзам, – сказал он, – для того молодого рыцаря, которого изувечил тур и с которым она, как вы знаете, обручена. Если после её похищения поднимется шум, мы скажем, что не только не хотели обидеть её, но, по христианскому милосердию, даже лекарства ей посылали.

– Все это хорошо, – сказал де Лёве, – только нужно послать надежного человека.

– Я пошлю одну набожную женщину, которая всей душой предана ордену. Прикажу ей подсматривать и подслушивать. Когда наши люди приедут, якобы от Юранда, они найдут в доме союзника.

– Трудно будет подобрать таких людей.

– Нет. Народ у нас говорит на том же языке. В городе, да и в охране среди кнехтов есть люди, которые бежали из Мазовии, скрываясь от преследования закона; правда, это разбойники и воры, но они не знают страха и готовы на все. Удастся дело, я посулю им большую награду, не удастся – пеньковый воротник на шею.

– А вдруг они изменят?

– Не изменят, в Мазовии их уже давно присудили к колесованию, и над каждым висит

приговор. Нужно только дать им приличное платье, чтобы их приняли за подлинных слуг Юранда, и, самое главное, письмо с его печатью.

– Все надо предусмотреть, – сказал брат Ротгер. – Может, Юранд после этого последнего боя захочет повидать князя, чтобы пожаловаться на нас, а самому оправдаться перед ним. Будучи в Цеханове, он заедет к дочке в охотничий дом. Может статься тогда, что наши люди приедут за дочкой, а наткнутся на отца.

– Я подберу самых отпетых и дошлых головорезов. Они будут знать, что, наткнись они только на Юранда, быть им на виселице. Это их забота не встретиться с ним.

– Но может статься, что их схватят.

– Тогда мы откажемся и от них, и от письма. Кто может доказать, что это мы их подослали? Да коли они не похитят девку, так и шума не будет, а что мазуры четвертуют нескольких висельников, так от этого ордену вреда не будет.

Но брат Готфрид, самый младший из всех их, сказал:

– Не понимаю я ни вашей политики, ни ваших опасений, как бы кто не дознался, что девку похитили по нашему приказу. Ведь попадетса она нам в руки, и должны же мы будем послать кого-нибудь к Юранду, чтобы сказать ему: «Твоя дочь у нас, хочешь, чтобы мы отпустили её, отпусти Бергова и сам отдайся нам...» Как же иначе?.. Ну, а тогда все равно станет известно, что это мы велели похитить девушку.

– Это верно! – сказал господин де Фурси, которому все это не очень было по душе. – К чему таиться с тем, что все равно выйдет наружу?

Гуго фон Данфельд рассмеялся и спросил брата Готфрида:

– Давно вы носите белый плащ?

– Шесть лет минет в первое воскресенье после святой троицы.

– Как проносите его ещё шесть лет, станете лучше разбираться в делах ордена. Юранд знает нас лучше, чем вы. Вот что мы ему скажем: «Дочь твою стережет брат Шомберг, попробуешь пикнуть, так вспомни раньше о детях Витовта...»

– Ну, а потом?

– Потом де Бергов выйдет на волю, а орден избавится от Юранда.

– Нет! – воскликнул брат Ротгер. – Все так хорошо обдумано, что Бог должен благословить наше предприятие.

– Бог благословляет все деяния на благо ордена, – мрачно сказал Зигфрид де Лёве.

И они в молчании продолжали свой путь; а впереди, на расстоянии двух-трех выстрелов из самострела от них, слуги прокладывали дорогу, заметенную за ночь обильно выпавшим снегом. Деревья стояли покрытые пушистым инеем, день был хмурый, но теплый, так что от коней поднимался пар. Из лесов к человеческому жилью летели вороньи стаи, наполняя воздух зловещим карканьем.

Господин де Фурси немного отстал от крестоносцев и ехал в глубокой задумчивости.

Уже несколько лет он был гостем ордена, участвовал в походах на Жмудь, где проявил большое мужество, был принят везде так, как только крестоносцы умели принимать рыцарей из дальних стран, привязался к ним и, не будучи человеком богатым, решил вступить в их ряды. А пока проводил время в Мальборке или в поисках развлечений и приключений разъезжал по знакомым командориям. Когда он приехал в Любаву с богатым рыцарем де Берговым и услышал о Юранде, то загорелся желанием померяться силой с мужем, пред которым все кругом трепетало. Приезд Майнегера, который из всех поединков выходил победителем, ускорил набег. Любавский комтур дал людей; при этом он столько наговорил троим рыцарям не только о жестокости, но и о коварстве и вероломстве Юранда, что, когда тот потребовал, чтобы они отослали кнехтов, те не согласились, опасаясь, что он окружит их и перебьет или ввергнет в спыховское подземелье. Юранд же, полагая, что рыцари не только хотят сразиться с ним, но и замышляют грабеж, напал на них первый и нанес им жестокое поражение. Де Фурси видел Бергова, поверженного вместе с конем, видел Майнегера с обломком копья в животе, видел кнехтов, тщетно моливших о пощаде. Ему самому с трудом удалось прорваться, и несколько дней он блуждал по лесам и дорогам и, наверно, погиб бы от голода или стал добычей диких зверей, если бы случайно не пробился в Цеханов, где застал братьев Готфрида и Ротгера. Он вышел из этой переделки униженный, полный стыда и ненависти, он жаждал мести и горько сожалел об участи Бергова, который был его близким другом. Поэтому он горячо поддержал жалобу рыцарей ордена, которые требовали наказания виновника и освобождения несчастного товарища и, когда эта жалоба осталась без последствий, в первую минуту готов был согласиться на любое средство, лишь бы отомстить Юранду. Но сейчас его взяло вдруг сомнение. Прислушиваясь к разговорам монахов, особенно к речам Гуго фон Данфельда, де Фурси просто диву давался. За несколько лет он поближе узнал крестоносцев и видел уже, что в действительности они совсем не такие, какими считают их в Германии и на Западе. В Мальборке он познакомился с некоторыми безупречными, суровыми рыцарями, которые сами часто жаловались на испорченность своих собратьев, на их распущенность и своеволие. Де Фурси понимал, что они правы; но сам он тоже был человеком распущенным и своевольным и поэтому не считал эти недостатки слишком большим злом, тем более что крестоносцы искупали их своим мужеством. Он видел, как под Вильно они сшибались с польскими рыцарями при штурме замков, которые польские подкрепления обороняли с нечеловеческой стойкостью; он видел, как погибали они под ударами секир и мечей в битвах и в единоборстве. Они были неумолимы и жестоки с литвинами, но вместе с тем дрались, как львы, и были окружены ореолом славы. Но сейчас господину де Фурси казалось, что Гуго фон Данфельд говорит такие речи и предлагает такие средства, от которых содрогнулся бы каждый рыцарь, а меж тем другие братья не только не негодуют, но соглашаются с каждым его словом. Он был вне себя от удивления и в конце концов серьезно призадумался над тем, хорошо ли ему принимать участие в подобных делах.

Если бы речь шла только о похищении девушки и об обмене её на Бергова, он, может, и согласился бы на это, хотя его тронула и пленила красота Дануси. Он не прочь был бы и постеречь её в случае надобности и даже не был уверен, что она вышла бы нетронутой из его рук. Но крестоносцам, видно, не то было нужно. Они за неё хотели добыть не только Бергова, но и самого Юранда – посулить ему, что выпустят её, если он им отдастся, а потом убить его и заодно, для сокрытия обмана и преступления, прикончить, наверно, и девушку. Грозилась же они напомнить Юранду о судьбе детей Витовта, если он посмеет жаловаться на них. «Они лгут во всем, обоих хотят обмануть и умертвить, – сказал про себя де Фурси, – а ведь они носят крест и должны больше прочих блюсти свою честь». Все в нем кипело от негодования, тем не менее он решил проверить сперва, насколько основательны его подозрения; подъехав к Данфельду, он спросил:

– А если Юранд отдастся вам, вы отпустите девушку на волю?

– Если бы мы отпустили её, весь мир узнал бы, что это мы схватили их обоих, – ответил Данфельд.

– Да, но что же вы с нею сделаете?

Данфельд склонился к своему собеседнику и, растянув в улыбке толстый рот так, что обнажились гнилые зубы, спросил:

– О чем вы спрашиваете? О том, что мы с н а ч а л а сделаем с нею или п о т о м?

Но де Фурси узнал уже все, что хотел узнать, и умолк; с минуту он ещё как будто колебался, но затем привстал в стременах и сказал так громко, чтобы его слышали все четыре монаха:

– Благочестивый брат Ульрих фон Юнгинген, этот образец и украшение рыцарства, сказал мне однажды: «Среди стариков ты найдешь ещё в Мальборке рыцарей, достойных носить крест, но те, что сидят в пограничных командориях, только позорят орден».

– Все мы грешники, но служим владыке небесному, – ответил Гуго.

– Где ваша рыцарская честь? Не позорными делами служат владыке небесному, да и не ему вы служите. Кто он, ваш владыка? Знайте же, что я не только не приложу рук к этому делу, но и вам не позволю!..

– Чего это вы не позволите?

– Обмана, предательства и бесчестия.

– Как можете вы запретить нам? В бою с Юрандом вы потеряли своих слуг и все снаряжение. Жить вы можете только у нас из милости и умрете с голоду, если орден не даст вам куска хлеба. К тому же вы один, а нас четверо, как же можете вы не позволить нам?

– Как могу я не позволить? – повторил де Фурси. – Могу вернуться назад и предостеречь князя, могу всему свету открыть ваши намерения.

Крестоносцы переглянулись и мгновенно изменились в лице. Гуго фон Данфельд посмотрел в глаза Зигфриду де Лёве долгим вопросительным взглядом, затем обратился к господину де Фурси.

– Ваши предки, – сказал он, – служили ордену, вы тоже хотите вступить в орден; но мы предателей не принимаем.

– Я сам не хочу служить с предателями.

– Берегитесь! Вам не удастся исполнить вашу угрозу. Знайте, что орден умеет карать не только монахов..

Возмущенный де Фурси выхватил меч, левой рукой взял его за клинок, правую положил на рукоять и сказал:

– Клянусь этой рукоятью, имеющей форму креста, головой святого Дионисия, моего покровителя, и моей рыцарской честью, что предупрежу мазовецкого князя и магистра.

Гуго фон Данфельд снова устремил вопросительный взгляд на Зигфрида де Лёве; тот опустил глаза, словно давая понять, что согласен.

Тогда Данфельд странно глухим, изменившимся голосом произнес:

– Святой Дионисий мог нести под мышкой свою отрубленную голову, но если у вас слетит голова с плеч...

– Вы угрожаете мне? – прервал его де Фурси.

– Нет, убиваю вас! – ответил Данфельд.

И с такой силой ткнул его ножом в бок, что клинок вошел в тело по самую рукоять. Де Фурси вскрикнул страшным голосом, с минуту силился правой рукой схватиться за меч, который держал в левой руке, но уронил его на землю; в то же мгновение остальные монахи стали безжалостно колоть его ножами в шею, в спину, в живот, пока он не свалился с коня.

Наступила тишина. Кровь хлестала у де Фурси из ран; корчась, он хватался за снег пальцами, сведенными судорогой. Под свинцовым небом только воронье каркало, пролетая из глухих лесов к человеческому жилью.

Убийцы торопливо заговорили.

– Никто ничего не видел? – произнес, задыхаясь, Данфельд.

– Никто. Слуги впереди; их не видно, – сказал де Лёве.

– Слушайте, у нас будет теперь повод для новой жалобы. Мы распространим слух, будто мазовецкие рыцари напали на нас и убили нашего товарища, будто князь даже к гостям подсылает убийц. Шум поднимем такой, чтобы все дошло до Мальборка. Слушайте! Надо говорить, что Януш не только не хотел выслушать наши жалобы на Юранда, но велел убить самого жалобщика.

А де Фурси в это время перевернулся в последней судороге и лежал неподвижно навзничь с кровавой пеной у рта и с выражением ужаса в широко раскрытых мертвых глазах. Брат Ротгер бросил на него взгляд и сказал:

– Взгляните, благочестивые братья, как владыка небесный карает за самую мысль о предательстве.

– Мы свершили сие для блага ордена, – произнес Готфрид. – Слава тем...

Однако он оборвал свою речь, так как в это самое мгновение позади крестоносцев на повороте занесенной снегом дороги показался всадник, который во весь опор мчался прямо к ним. Увидев его, Гуго фон Данфельд торопливо воскликнул:

– Кто бы ни был этот человек, он должен погибнуть.

А де Лёве, у которого было самое острое зрение, хотя он был старше их всех, сказал:

– Я узнаю его: это оруженосец, который убил секирой тура. Так и есть, это он!

– Спрячьте ножи, чтобы он не испугался, – сказал Данфельд. – Я опять ударю первым, а вы за мной.

Тем временем чех подскакал к ним и в нескольких шагах осадил коня так, что тот врылся копытами в снег. Он заметил труп в луже крови, коня без всадника, и на один короткий миг удивление изобразилось на его лице. Однако он тут же обратился к братьям так, как будто ничего и не видел, и сказал:

– Челом вам, храбрые рыцари!

– Мы узнали тебя, – медленно приближаясь к нему, произнес Данфельд. – У тебя к нам какое-нибудь дело?

– Меня послал рыцарь Збышко из Богданца, за которым я ношу копье; тур его изувечил, и он сам не мог прибыть к вам.

– Чего хочет от нас твой господин?

– Господин мой велел сказать вам, что вы несправедливо жаловались на Юранда из Спыхова и, задев этим его рыцарскую честь, не как истинные рыцари поступили, но как псы брехали; а буде кто из вас прогневаётся за эти слова, того он вызывает на бой, пешего или конного, до последнего издыхания, и примет бой там, где вы назначите, как только по милости божией ему станет легче.

– Скажи своему господину, что рыцари ордена во имя спасителя смиренно переносят обиды, но драться не могут без особого на то позволения магистра или великого маршала; однако мы напишем в Мальборк с просьбой дать нам на то позволение.

Чех снова бросил взгляд на труп господина де Фурси, к которому главным образом он и был послан. Збышко знал уже, что монахи не принимают вызовы на поединок; услышав, однако, что с крестоносцами приехал светский рыцарь, он хотел вызвать его на бой, желая привлечь к себе сердце Юранда. А меж тем рыцарь этот лежал, зарезанный, как вол, между четырьмя крестоносцами.

Чех не мог понять, что произошло; однако с малых лет он привык смотреть в глаза опасности, поэтому и сейчас учуял что-то подозрительное. Удивило его и то, что Данфельд во время разговора все приближался к нему, а другие монахи стали отъезжать в стороны, точно пытаясь незаметно его окружить. Это заставило чеха насторожиться, тем более что второпях он не захватил с собой оружия.

А тем временем Данфельд уже вплотную подъехал к нему.

– Я обещал твоему господину целительный бальзам, – продолжал он, – плохо же платит он мне за добро. Для поляков это дело привычное... но он тяжело изувечен и скоро может предстать перед Богом, поэтому скажи ему...

Тут он положил левую руку на плечо чеха.

– Скажи ему, что я так отвечаю...

И в то же мгновение нож блеснул у самого горла оруженосца. Однако Данфельд не успел вонзить его в горло; чех, который давно уже следил за его движениями, схватил его правую руку железными своими руками, выгнул и вывернул так, что хрустнули суставы и кости, и, услышав, как монах дико взревел от боли, вздыбил коня и, прежде чем кто-нибудь успел преградить ему путь, понесся стрелою назад.

Братья Ротгер и Готфрид погнались было за ним, но вскоре вернулись, потрясенные дикими воплями Данфельда. Де Лёве поддерживал его за плечи, а он, бледный, посинелый, кричал так, что слуги, ехавшие с возками далеко впереди, придержали коней.

– Что с вами? – спрашивали братья.

Но де Лёве приказал им скакать за возком, так как Данфельд совсем не мог держаться в седле. Через минуту холодный пот выступил у него на лбу, и он лишился чувств.

Когда подъехал возок, Данфельда уложили на солому, и все тронулись к границе. Де Лёве торопил, понимая, что после всего происшедшего нельзя терять времени даже на то, чтобы перевязать Данфельда. Сидя около товарища на возке, он время от времени растирал ему снегом лицо, но не мог привести его в чувство.

Только неподалеку от границы Данфельд открыл глаза и стал с удивлением озираться.

– Как вы себя чувствуете? – спросил де Лёве.

– Я не слышу боли, но и руки не чувствую, – ответил Данфельд.

– Она у вас онемела, потому и перестала болеть. В тепле опять заболит. А пока благодарите Бога за минутное облегчение.

Ротгер и Готфрид тотчас подъехали к возку.

– Беда, – сказал первый. – Что теперь будет?

– Мы скажем, – ответил слабым голосом Данфельд, – что оруженосец убил де Фурси.

– Новое преступление, и виновник известен! – прибавил Ротгер.

XXIV

Тем временем чех поскакал во весь опор прямо к охотничьему дому; он застал ещё князя и ему первому рассказал обо всем происшедшем. По счастью, нашлись придворные, которые видели, что чех уехал без оружия. Один из них даже крикнул ему полушутя вдогонку, чтобы он прихватил какое-нибудь оружие, не то немцы его поколотят; опасаясь, однако, что рыцари успеют пересечь границу, прежде чем он догонит их, чех вскочил на коня и в одном кожухе помчался следом за ними. Это свидетельство очевидцев рассеяло всякие сомнения князя относительно того, кто мог убить де Фурси; все же он так встревожился и разгневался, что в первую минуту хотел снарядить погоню за крестоносцами, чтобы отослать их в цепях к великому магистру и потребовать наказания преступников. Впрочем, через минуту он понял, что погоня не смогла бы настичь их даже на самой границе.

– Я все-таки пошлю магистру письмо, – сказал князь, – пусть знает, что они тут выкидывают. Плохие дела творятся в ордене – в старину из послушания не выходили, а теперь всякий комтур самочинствует. Попущение божие, но за попусцием следует кара.

Он задумался, а через минуту опять заговорил, обращаясь к своим придворным:

– Никак только не возьму я в толк, за что они своего гостя убили. Будь чех при оружии, я бы подумал, что это он сделал.

– Ну зачем было чеху, – заметил ксендз Вышонек, – убивать рыцаря, который его никогда не видал в глаза? Да будь он даже при оружии, как бы мог он один напасть на пятерых рыцарей с вооруженными слугами?

– Это верно, – сказал князь. – Должно быть, гость поспорил с ними или лгать не хотел, как они требовали. Я и тут заметил, как они ему подмигивали, чтобы он сказал, будто Юранд первый напал на них.

– Молодец парень, – вмешался Мрокота из Моцажева, – коли руку изломал этому псу Данфельду.

– Говорит, что слышал, как хрустнули кости у немца, – сказал князь. – Очень может быть, что так оно и было, – вон каким храбрецом он себя показал в бору. Видно, и слуга и господин – оба хлопцы удалые. Не будь Збышка, тур бросился бы на коней. Он и лотарингский рыцарь все сделали, чтобы спасти княгиню...

– Это верно, что Збышко хлопец удалой, – поддержал ксендз Вышонек. – Вот и теперь, на ладан дышит, а вступился за Юранда и послал крестоносцам вызов... Только такого зятя и надо Юранду.

– Что-то Юранд в Кракове не то пел; ну, а теперь, думаю, не станет противиться, – сказал князь.

– С Божьей помощью все образуется, – промолвила княгиня, которая вошла в эту минуту и слышала конец разговора. – Теперь Юранд не может противиться, дал бы только Бог здоровья Збышку. Но и мы со своей стороны должны вознаградить хлопца.

– Лучшей наградой для него будет Дануська, и я так думаю, что она ему достанется, потому если бабы захотят и упрутся на своем, так тут и Юранду с ними не справиться.

– А разве не по справедливости я уперлась? – спросила княгиня. – Будь Збышко пустой малый, тогда другое дело, а то верней его, пожалуй, на всем свете не сыщешь. Да и Дануся тоже. Ни на шаг от него не отходит, по лицу его гладит, а он терпит муки, а ей улыбается. Да у меня у самой, на них глядя, слезы иной раз так и польются. Верно говорю!.. Такой любви стоит помочь; мать божия – она ведь тоже с радостью взирает на людское счастье.

– Коли на то воля Божья, – заметил князь, – так будет и счастье. Да и то сказать, ведь из-за неё у хлопца чуть голова не скатилась с плеч, а теперь вот тур его помял.

– Ты не говори, что «из-за неё»! – с живостью воскликнула княгиня. – Ведь это она спасла хлопца в Кракове.

– Что правда, то правда. Но не будь её, не напал бы он на Лихтенштейна, чтобы сорвать у него перья с головы, да и за де Лорша не стал бы голову подставлять. Что ж до награды, то я уже сказал, что оба они её заслужили, и в Цеханове я об этом подумаю.

– Збышко больше всего обрадовался бы, когда б ему рыцарский пояс да золотые шпоры.

– Что ж, – добродушно улыбаясь, сказал князь, – пусть Дануся отнесет их ему, а когда хлопец поднимется на ноги, мы позаботимся, чтобы все было сделано, как обычай велит. Сейчас же пусть отнесет, потому что нет лучше лекарства, как нежданная радость!

Княгиня при этих словах обняла мужа, не стесняясь придворных, и несколько раз поцеловала ему руку, а он, улыбаясь по-прежнему, сказал ей:

– Ну-ну... Хорошая мысль пришла тебе в голову! Вот и выходит, что дух святой и для баб крупницы разума не пожалел! Позови-ка Данусю!

– Дануська, Дануська! – крикнула княгиня.

Через минуту в дверях боковуши показалась Дануся с красными от бессонницы глазами; в руках она держала горшок с дымящейся кашей; этой кашей, которую ей только что дала старушка-придворная, ксендз Вышонек обкладывал Збышку поломанные кости.

– Подойди ко мне, сиротка! – сказал князь Януш. – Поставь горшок и подойди.

Когда девушка с робостью подошла к князю – она всегда его побаивалась, – он привлек её ласково к себе и стал гладить по лицу, приговаривая:

– Что, дитятко, беда пришла на твою головушку?

– Пришла! – ответила Дануся.

Печаль лежала у неё на сердце, и слезы в любую минуту готовы были политься из глаз, вот и заплакала она сразу, только тихонько, чтобы не прогневить князя, а он опять спросил у неё:

– Что же ты плачешь?

– Збышко болен, – ответила она, утирая кулачками слезы.

– Не бойся, ничего с ним не случится. Правда, отец Вышонек?

– Эх! На все воля Божья, но только не в гробу лежать, а скорее свадьбу пировать ему придется, – ответил добрый ксендз Вышонек.

А князь сказал:

– Погоди-ка! Я дам тебе лекарство, от которого ему станет легче, а может, он у тебя и вовсе выздоровеет.

– Крестоносцы прислали бальзам? – опустив кулачки, с живостью воскликнула Дануся.

– Тем бальзамом, который пришлют крестоносцы, ты лучше не возлюбленного рыцаря смажь, а собаку. Нет, я дам тебе другое лекарство.

Обернувшись к придворным, он крикнул:

– Живо сбегайте кто-нибудь в кладовую, принесите сюда шпоры и пояс!

Когда через минуту ему принесли шпоры и пояс, князь сказал Данусе:

– Возьми отнеси Збышку и скажи ему, что с этого времени он опоясан. Умрет, так предстанет перед Богом как *miles cinctus*[72], а выздоровеет, мы совершим обряд посвящения в Цеханове или в Варшаве.

Дануся при этих словах сперва упала к ногам князя, потом схватила одной рукой рыцарские знаки, другой – горшок и бросилась в горницу, где лежал Збышко. Княгине хотелось посмотреть, как дети будут радоваться, и она пошла за Дануськой.

Збышко был тяжело болен; однако, увидев Данусяку, он обратил к ней свое побледневшее от болезни лицо и спросил:

– Воротился ли чех, моя ягодка?

– Что чех! – ответила девушка. – Я тебе получше новость принесла. Князь посвятил тебя в рыцари и вот что велел тебе передать.

С этими словами она положила около Збышка пояс и золотые шпоры. От радости и изумления у Збышка вспыхнули бледные щеки, он поглядел на Данусю, затем перевел взгляд на рыцарские знаки и, закрыв глаза, стал повторять:

– Как же это он посвятил меня в рыцари?

В эту минуту вошла княгиня, и Збышко тотчас догадался, что это ей он обязан таким счастьем; он приподнялся на руках и стал благодарить милостивейшую госпожу и просить у неё прощения за то, что не может упасть к её ногам. Она велела ему лежать спокойно и сама помогла Данусе положить его голову на подушки. Тем временем пришел князь, а с ним ксендз Вышонец, Мрокота и несколько других придворных. Князь Януш издали сделал рукой знак, чтобы Збышко не двигался, затем присел около него и сказал следующее:

– Вот что скажу я тебе! Не надо удивляться, что награда ждет тех, кто совершает доблестные и славные подвиги, ибо если доблесть останется без награды, то и злодеяние останется без возмездия. Ты, не щадя жизни и здоровья, оградил нас от тяжкого бедствия, посему дозволяем мы тебе опоясаться рыцарским поясом и ходить отныне в чести и славе!

– Вельможный князь, – ответил Збышко, – я бы десяти жизней не пожалел...

От волнения он больше ничего не мог сказать, да и княгиня положила ему руку на уста, так как ксендз Вышонец не позволял ему говорить. А князь продолжал:

– Думаю, ты знаешь, что такое рыцарский долг, и достойно будешь носить эти знаки. Верой и правдой должен ты служить спасителю нашему и бороться с врагом рода человеческого. Земному помазаннику ты должен блюсти верность, избегать несправедливой войны и защищать угнетенную невинность, и да поможет тебе в этом господь Бог и страсти Христовы!

– Аминь! – произнес ксендз Вышонец.

Князь поднялся, перекрестил Збышка и, уходя, сказал:

– Выздоровеешь, приезжай прямо в Цеханов, а я вызову туда и Юранда.

XXV

Спустя три дня от крестоносцев приехала женщина с герцинским бальзамом, а с нею из Щитно прибыл капитан лучников с письмом, подписанным братьями и скрепленным печатью Данфельда; в письме крестоносцы призывали небо и землю в свидетели обид, которые были нанесены им в Мазовии, и, грозя карой небесной, требовали наказания за убийство «любимого товарища и гостя». Данфельд приложил и жалобу от своего имени, в смиренных, но вместе с тем грозных словах требуя вознаграждения за тяжелое увечье и смертного приговора чеху. Князь на глазах капитана разорвал письмо, бросил клочки к его ногам и сказал:

– Магистр прислал сюда этих тевтонских псов, чтобы они снискали мою милость, а они только разгневали меня. Скажите им от моего имени, что они сами умертвили гостя, и оруженосца хотели умертвить, и что я напишу об этом магистру и присовокуплю, что ему надлежит прислать других послов, коли он желает, чтобы в случае войны с краковским королем я остался в стороне.

– Вельможный князь, – спросил капитан, – только ли этот ответ должен я отвезти могущественным и благочестивым братьям?

– Мало тебе этого, так скажи им ещё, что не истинными рыцарями, но псами я их почитаю.

На этом кончилась аудиенция. Капитан уехал, князь в тот же день отбыл в Цеханов. Осталась только «сестра» с бальзамом. Недоверчивый ксендз Вышонец не захотел употреблять этот бальзам, тем более что больной прошедшей ночью спал хорошо и хотя, проснувшись утром, чувствовал слабость, но перестал уже гореть. После отъезда князя «сестра» тотчас послала одного из своих слуг будто бы за новым лекарством – «яйцами василиска», которые, как она уверяла, возвращают силы даже умирающим, а сама стала расхаживать по дому; смиренная, она не владела одной рукой и носила одежду светскую, но похожую на монашескую, – с четками и паломнической тыковкой у пояса. Она хорошо говорила по-польски и все выпрашивала слуг о Збышке и Данусе, которой при случае подарила иерихонскую розу. На другой день, когда Збышко спал, а девушка сидела в застольной, «сестра» пробралась к ней и сказала:

– Да благословит вас Бог, панночка. Нынче ночью после молитвы снилось мне, будто к вам сквозь метель пробивались два рыцаря; один дошел первым и окутал вас белым плащом, а другой сказал: «Я вижу только снег, а её нету», – и повернул назад.

Дануся, которой хотелось спать, тотчас раскрыла свои любопытные голубые глазки и спросила:

– Что это значит?

– Это значит, что вы тому достанетесь, кто вас крепче всех любит.

– Это Збышко! – воскликнула девушка.

– Не знаю, я лица не видала, видала только белый плащ, а потом сразу проснулась от ломоты в ногах. Всякую ночь посылает мне Христос ломоту в ногах, а рука, по его воле, совсем у меня отнялась.

– Что же вам бальзам не помог?

– Не поможет мне, панночка, бальзам, потому что покарал меня господь за тяжкий грех, а коли хотите знать, за какой, так я вам расскажу.

Дануся утвердительно кивнула головой, и сестра повела свой рассказ:

– В ордене и послушницы есть, и женщины, которые не дают обета и даже могут быть замужними, однако братья могут положить на них послушанье. Та, которая удостоится такой чести и такой благодати, получает от брата рыцаря целомудренный поцелуй в знак того, что отныне она обязана служить ордену словом и делом. Ах, панночка, и меня ждала великая сия благодать, но в греховном своем ослеплении я, вместо того чтобы принять её с благодарностью, совершила тяжкий грех и навлекла на себя кару божию.

– Что же вы сделали?

– Брат Данфельд пришел ко мне и дал мне целомудренный поцелуй, а я сочла, что он чинит это по беззаконию своему, и подняла на него дерзновенную руку...

Она стала бить себя в грудь и несколько раз повторила:

– Боже, будь милостив ко мне грешной!

– И что же случилось? – спросила Дануся.

– У меня тотчас отнялась рука, и с той поры я стала калекой. Молода была я и глупа, – не знала! – и все-таки кара постигла меня. Даже когда женщине покажется, что монах хочет совершить с нею грех, она должна помнить, что он повинен только Божьему суду, и не противиться, ибо кто противится ордену или крестоносцу, того постигнет гнев божий...

Со страхом и омерзением слушала Дануся эти слова, а сестра продолжала вздыхать и изливать свои жалобы.

– Я и сейчас ещё не старуха, – говорила она, – мне всего каких-нибудь тридцать лет; но Бог отнял у меня с рукой и молодость, и красоту.

– Если бы не рука, – возразила Дануся, – вам ещё нечего было бы жаловаться...

Воцарилось молчание. Вдруг сестра, точно что-то припомнив, сказала:

– Снилось мне, будто вас какой-то рыцарь окутал белым плащом. Может, это крестоносец! Они ведь тоже носят белые плащи.

– Не хочу я ни крестоносцев, ни их белых плащей, – отрезала девушка.

Дальнейший разговор был прерван ксендзом Вышонеком, который, войдя в застольную, кивнул Данусе и сказал:

– Воздай хвалу Богу, и пойдем к Збышку! Он проснулся и хочет есть. Ему стало гораздо легче.

Так оно на самом деле и было. Збышку стало лучше, и ксендз Вышонек был уже уверен, что юноша выздоровеет; но неожиданное событие расстроило все надежды и замыслы. К княгине прибыли посланцы с письмом от Юранда, в котором содержались самые страшные и самые худые вести. В Спыхове сгорела часть городка; когда тушили огонь, самого Юранда придавило горячей балкой. Правда, ксендз Калек, который писал письмо от его имени, сообщал, что есть ещё надежда на выздоровление, но искрами и горящими угольями Юранду почти совсем выжгло единственный оставшийся глаз, так что он уже плохо видит, и его неминуемо ждёт слепота.

Юранд просил дочь спешно приехать в Спыхов, потому что он хочет увидеть её, пока свет у него совсем не отнялся. Он писал также, что теперь она должна остаться при нем, ибо у каждого слепца, просящего подаяния, есть свой поводырь, который ведет его за руку и показывает ему дорогу, так почему же он должен быть лишен этого последнего утешения и умирать среди чужих? В письме Юранд смиренно благодарил княгиню за то, что она заменила девушке родную мать, и в заключение обещал и слепым приехать в Варшаву, чтобы упасть госпоже своей в ноги и просить и впредь не оставить Данусю своей милостью.

Когда отец Вышонек прочел ей это письмо, княгиня некоторое время слова не могла вымолвить. Она надеялась, что Юранд, который пять-шесть раз в год проводывал дочку, придет к ним на ближайшие праздники, и она с князем употребит все свое влияние, чтобы уломать его и добиться согласия на скорую свадьбу Дануси и Збышка. Меж тем это письмо не только разрушало все её замыслы, но и отнимало у неё Данусю, которую она так же крепко любила, как и собственных своих детей. Ей пришло в голову, что Юранд может выдать теперь девушку за кого-нибудь из соседей, чтобы остаток дней прожить среди своих. Нечего было и думать о том, чтобы Збышко поехал в Спыхов, – ребро у него только начало срастаться, да и кто мог знать как его встретят в Спыхове? Княгиня знала, что в свое время Юранд решительно ему отказал, да и ей самой говорил тогда, что по тайной причине никогда не даст согласия на брак дочери и Збышка. Удрученная, она велела позвать к себе старшего из присланных слуг, чтобы расспросить его о бедствии, постигшем Спыхов, и разузнать о намерениях Юранда.

Она удивилась, когда по её зову явился не старый Толима, который носил щит за Юрандом и обычно приезжал вместе с ним, а человек, совершенно ей незнакомый. Однако слуга сказал ей, что Толима жестоко изувечен в последней битве с немцами и борется в Спыхове со смертью, а Юранд, прикованный тяжелой болезнью к одру, просит дочь поскорее вернуться домой, так как зрение у него становится все хуже и дня через два он может совсем ослепнуть. Посланец усердно просил позволения увезти девушку, как только немного отдохнут кони; но вечер уже спустился, и княгиня решительно воспротивилась: от такой скорой разлуки сердце разорвалось бы пополам у неё, Дануси и Збышка.

А Збышко уже знал обо всем и лежал в горнице, сраженный вестью как громом; когда

же княгиня вошла и, ломая пальцы, крикнула с порога: «Ничего не поделаешь, ведь это отец!» – он как эхо повторил: «Ничего не поделаешь», – и закрыл глаза, как человек, который ждет приближения смерти.

Но смерть не пришла, а сердце рвалось в груди от горя, и мысли проносились в мозгу черные, как тучи, гонимые вихрем, которые заслоняют солнечный блеск и гасят в мире всякую радость. Как и княгиня, Збышко понимал, что, если Дануся уедет в Спыхов, она будет потеряна для него. Здесь все сочувствовали ему, а там Юранд не захочет, может, ни принять его, ни выслушать, особенно если он связан обетом или есть у него иная тайная причина, столь же важная, как и церковный обет. Да и где уж ему ехать в Спыхов, когда он так болен, что едва может пошевелиться в постели? Несколько дней назад, когда он получил из рук князя золотые шпоры с рыцарским поясом, он думал, что радость поможет ему одолеть болезнь, и всей душой молился о том, чтобы поскорее подняться с одра и сразиться с крестоносцами, а теперь опять потерял всякую надежду, чувствуя, что, когда при нем не будет Дануси, у него пропадет желание жить и не станет сил бороться со смертью. Придет завтрашний день и послезавтрашний, наступят наконец сочельник и рождество, и по-прежнему будут болеть его кости, и по-прежнему будет он слаб, но не увидит ему больше сияния, которое озаряет горницу, когда входит Дануся, и не радоваться больше очам его, глядя на неё. Как радостно и сладко было спрашивать несколько раз на дню: «Мил ли я тебе?» – и глядеть потом, как закрывает она стыдливо ручкой улыбающиеся глаза или, склонившись к нему, говорит: «А кто ещё может быть мил мне?» Останется теперь только болезнь, и муки останутся, и тоска, а счастье уйдет – и не воротится.

Слезы блеснули в глазах Збышка и медленно покатались по щекам; он обратился к княгине и сказал:

– Милостивая пани, думается мне, что никогда уж больше не увижу я Дануськи.

А княгиня, сама удрученная, промолвила:

– Не диво было бы, если б ты умер от жалости. Но Бог милостив.

Желая хоть немного его утешить, она прибавила через минуту:

– Коли Юранд, не приведи Бог, умрет раньше тебя, опекунами станем мы с князем и тотчас отдадим за тебя Данусю.

– Когда он там умрет! – возразил Збышко.

Но в голове у него, видно, блеснула новая мысль, он приподнялся, сел на постели и сказал изменившимся голосом:

– Милостивая пани...

Но его прервала Дануська, которая вбежала в горницу вся в слезах и крикнула ещё с порога:

– Ты уже все знаешь, Збышко! Ой, жаль мне батюшку, но и тебя мне жаль, бедняжка!

Когда она подошла к нему, он обнял здоровой рукой свою возлюбленную и заговорил:

– Как же мне жить без тебя, родная? Не для того ехал я через боры и реки, не для того обет давал служить тебе, чтобы теперь потерять тебя. Эх, не помогут мне ни жалость, ни слезы, не поможет и сама смерть; пусть могила моя порастет травой, а душа моя тебя не забудет ни в палатах у Иисуса Христа, ни в покоях у господина Бога... И скажу я тебе: ничего нельзя поделаться, а придется что-то придумать, иначе нам с тобой не жить! Ломит у меня кости, и терплю я страшную муку, так хоть ты упади к ногам княгини и проси смилостивиться над нами.

Дануся тотчас упала к ногам княгини и, обхватив их руками, спрятала свое ясное личико в складках её тяжелого платья, а та обратила свои полные жалости и вместе с тем удивленные глаза на Збышко.

– Как же я могу смилостивиться над вами? – спросила она. – Не пустить дочку к родному отцу? Но так можно навлечь на себя гнев божий.

Збышко, который приподнялся было на постели, снова опустился на подушки и некоторое время не отвечал, потому что у него перехватило дыхание. Потом он медленно начал сдвигать на груди руки, пока наконец не сложил их как для молитвы.

– Отдохни, – сказала ему княгиня, – а потом скажешь мне, чего хочешь, а ты, Дануся, встань с колен.

– Отпусти колени княгини, но не вставай и проси её вместе со мною, – промолвил Збышко.

Затем он заговорил слабым, прерывистым голосом:

– Милостивая пани... Отказал мне Юранд в Кракове... откажет он мне и теперь, но если бы ксендз Вышонек обвенчал меня с Данусякой – что ж, пускай бы ехала она тогда в Спыхов, все равно ведь её у меня никто не отнимет...

Это было так неожиданно, что княгиня даже вскочила со скамьи, потом снова села и, точно не понимая, о чем идет речь, произнесла:

– Раны Господни!.. Ксендз Вышонек?..

– Милостивая пани!.. Милостивая пани! – просил Збышко.

– Милостивая пани! – повторяла за ним Дануся, снова обнимая колени княгини.

– Как же можно без родительского благословения...

– Закон божий крепче! – отвечал Збышко.

– Побойтесь Бога!

– Кто же нам отец, как не князь?.. Кто же нам мать, как не вы, милостивая пани?

А Дануся прибавила:

– Милостивая матушка!

– Это правда, что я была и остаюсь для неё матерью, – сказала княгиня, – да и

Юранда я женила. Это правда. И если бы вы обвенчались, все было бы кончено. Может, Юранд и посердился бы, но ведь и он обязан повиноваться князю, своему господину. Да и можно было бы ничего ему не говорить, покуда он не захотел бы выдать Данусю за другого или отдать её в монастырь... Если и дал он обет, так не было бы тогда на нем греха. Против воли Божьей никто не пойдёт... Господи, да, может, твоя это воля?

– Иначе не может быть! – воскликнул Збышко.

Но княгиня, всё ещё взволнованная, сказала:

– Погодите, дайте опомниться! Если бы князь был здесь, я бы сходила к нему и спросила: могу я отдать замуж Дануську или нет?.. А без него я боюсь... Даже дух у меня захватило, а тут и времени нет – завтра ей уезжать!.. Господи боже! Уехала б она замужней, и все было бы хорошо. Но никак не могу я опомниться, и страх меня что-то берет. А тебе не страшно, Дануська, говори же?

– Я иначе помру! – прервал её Збышко.

А Дануська поднялась с колен и крепко-крепко обвила руками шею доброй княгини, которая не только много ей позволяла, но и баловала её.

– Без отца Вышнека, – сказала, однако, княгиня, – я ничего не могу вам сказать. Беги за ним поскорее!

Дануся побежала за отцом Вышнеком, а Збышко обратил к княгине свое побледневшее лицо и сказал:

– Что мне от Бога предназначено, то и будет, но за эту радость да вознаградит вас Бог, милостивая пани.

– Погоди благословлять меня, – возразила княгиня, – ещё неизвестно, что будет. А ты должен мне честью поклясться, что, обвенчавшись с Данусей, тотчас отпустишь её к отцу, чтобы, упаси Бог, не навлечь на себя и на неё отцовского проклятия.

– Клянусь честью! – сказал Збышко.

– Помни же! А Юранду Дануся пускай пока ничего не говорит. Хуже, коли скажет, да точно обухом его по голове. Мы пошлем за ним из Цеханова, попросим, чтобы он приехал с Дануськой, и тогда уж я сама скажу ему, а нет, так князя упрошу сказать. Увидит он, что деваться некуда, и согласится. Не косился же он на тебя?

– Нет, – ответил Збышко, – не косился, да в душе он, может, и рад будет, что Дануська станет моей женой. И то сказать, коли дал он обет, не его грех будет, что не пришлось исполнить его.

Вошли ксендз Вышонек и Дануся, и разговор прервался. Княгиня тотчас стала держать совет с ксендзом; с жаром начала она рассказывать ему о замысле Збышка, но при первых же её словах ксендз перекрестился в изумлении и сказал:

– Во имя отца, и сына, и святого духа!.. Да как можно! Ведь рождественский пост!

– Господи! Да ведь и впрямь пост! – воскликнула княгиня.

Воцарилось молчание; только по удрученным лицам княгини, Дануси и Збышка было видно, каким ударом явились для них слова отца Вышонека.

– Так мне вас жалко, что, будь у меня разрешение, я бы не стал противиться. И согласия Юранда не стал бы требовать, раз уж вы, милостивая пани, позволяете и ручаетесь за то, что и князь даст согласие, – вы ведь с князем отец и мать Мазовии. Но без разрешения епископа не могу. Будь здесь епископ Якуб из Курдванова, может, он и разрешил бы, хоть и очень суров он, не то что его предшественник, епископ Мамфиолус, который на все отвечал: «Vene! Vene!» [73]

– Епископ Якуб из Курдванова [74] очень любит и князя, и меня, – сказала княгиня.

– Вот я и говорю, что он не отказал бы, к тому же причина есть... Невесте уезжать надо, а жених болен и может умереть.. Гм! In articulo mortis... [75] Но без разрешения никак нельзя...

– Да уж я бы потом выпросила у епископа Якуба разрешение; как ни суров он, а мне бы не отказал... Ручаюсь, не отказал бы.

Ксендз Вышонек, который был человеком добрым и мягким, ответил ей:

– Слово помазанницы божией – великое слово... Боюсь я епископа, но слово ваше – великое слово!.. Жених мог бы обещать что-нибудь на кафедральный собор в Плоцке... Не знаю... Все-таки, пока не придет разрешение, грех будет, и на моей только совести грех... Гм! Велик Бог милостию, и ежели кто не ради собственной выгоды согрешит, а над людской бедою сжалится, скорее простится ему этот грех! И все-таки грех будет... А ну, как епископ упрется, кто даст мне тогда отпущение?

– Не станет епископ упираться! – воскликнула княгиня.

– У Сандеруса, – сказал Збышко, – того, что со мной приехал, есть готовые отпущения каких угодно грехов.

Может, ксендз Вышонек и не очень-то верил в индульгенции Сандеруса, но он рад был хоть за это ухватиться, лишь бы только помочь Збышку и особенно Данусе, которую он знал с малых лет и очень любил. Подумав, что в самом худшем случае на него могут наложить епитимью, он обратился к княгине и сказал:

– Пастырь я ваш, но и слуга княжий. Как прикажете поступить, милостивая пани?

– Не приказывать я хочу, а просить, – возразила княгиня. – Ведь, коли есть у Сандеруса отпущения...

– У Сандеруса-то они есть. Да вот как с епископом быть? В Плоцке на соборе он с канониками выносит нам суровые приговоры.

– Епископа вы не бойтесь. Слыхала я, что возбраняет он ксендзам носить мечи и самострелы да своевольничать, но добро творить не возбраняет.

Ксендз Вышонек поднял очи горе и воздел руки.

– Да будет по воле вашей.

Все развеселились, услышав эти слова. Збышко снова приподнялся, опершись на

подушки, а княгиня, Дануся и отец Вышонец сели у его постели и стали «держать совет», как устроить это дело. Решили сохранить все в тайне, чтобы в доме ни одна живая душа ничего не знала; решили также, что и Юранд ничего не должен знать, пока сама княгиня не расскажет ему обо всем в Цеханове. Ксендз Вышонец должен был написать ему письмо от княгини с просьбой незамедлительно прибыть в Цеханов, где и лекарства для него найдутся получше, и не так он будет томиться в одиночестве. Решили, наконец, что Збышко и Дануся поисповедаются, а обвенчают их отец Вышонец ночью, когда все лягут спать.

Збышко подумал было, не взять ли в свидетели брака оруженосца-чеха, но, вспомнив, что получил его от Ягенки, оставил свое намерение. На одно короткое мгновение как живая предстала она перед его взором, ему привиделось её румяное лицо, её заплаканные глаза, почудился её просительный голос: «Не делай этого, не плати мне за добро злом, за любовь горькою обидою!» Глубокая жалость пронизала вдруг его сердце, он почувствовал, что причинит ей тяжкое горе, что не найдет она после этого утешения ни под згожелицким кровом, ни в глухом бору, ни в чистом поле, не найдет его ни в дарах аббата, ни в любви Чтана и Вилька. И сказал он ей мысленно: «Дай Бог и тебе, девушка, счастья, ничего не могу я поделать, хоть и рад был бы звезды для тебя с неба снять». И мысль о том, что он не в силах ничего изменить, принесла ему даже облегчение, и он снова обрел утраченное спокойствие и снова стал думать только о Данусе и о венчании.

Однако без помощи чеха он не мог обойтись; решив умолчать о предстоящем событии, он велел позвать своего оруженосца.

– Я сегодня, – сказал Збышко чеху, – должен исповедаться и причаститься, так ты одень меня так, будто идти мне в королевские покои.

Чех испугался и испытующе посмотрел на Збышка; тот понял его и сказал:

– Ты не бойся, люди не только перед смертью исповедуются; а тут и праздники на носу, отец Вышонец и княгиня уедут в Цеханов, и ближе чем в Прасныше ксендза не найдешь.

– А вы, ваша милость, не поедете? – спросил оруженосец.

– Выздоровею, так поеду, но все это в воле Божьей.

Чех успокоился, достал из короба и принес тот самый добытый в бою белый, шитый золотом полукафтан, который Збышко всегда надевал в торжественных случаях, и красивый коврик покрыть ноги и постель; затем с помощью двух турок он приподнял Збышка, умыл его, причесал и повязал алой повязкой его длинные волосы; полюбовавшись на дело рук своих, чех помог господину опереться на красные подушки и сказал:

– Если бы, ваша милость, вы могли пуститься в пляс, так хоть свадьбу играй.

– Пришлось бы обойтись без пляски, – улыбаясь, ответил Збышко.

А княгиня в это время раздумывала в своей горнице, во что бы нарядить Данусю; для неё, как для женщины, это было дело чрезвычайной важности: не могла же она допустить, чтобы её дорогая воспитанница пошла под венец в будничном платье. Служанки, которым тоже было сказано, что девушка будет исповедоваться и поэтому должна быть в белом, легко нашли в сундуке белое платье; но головку невесты

убрать было нечем. Непонятная печаль овладела сердцем княгини, когда она об этом подумала.

– Где же мне, – запричитала она, – найти для тебя, сиротки, рутовый веночек в этом бору! Ни цветика тут, ни листика, разве только мох зеленый под снегом.

А Дануся, стоя с распущенными косами, тоже запечалилась, что нет для неё веночка; однако через минуту она показала на гирлянды из бессмертников, которыми были увешаны стены горницы, и сказала:

– Хоть из них бы сплести веночек, ведь ничего другого не найти нам тут, а Збышко возьмет меня и в таком венке.

Опасаясь дурного предзнаменования, княгиня сперва не хотела; но в доме, куда приезжали только на охоту, не было никаких цветов, и пришлось удовольствоваться бессмертниками. Тем временем пришел ксендз Вышонек, он уже поисповедовал Збышка и увел теперь на исповедь Данусю; потом спустилась глухая ночь. Слуги после ужина легли по приказу княгини спать. Посланцы Юранда улеглись кто в людской, кто в конюшнях с лошадьми. Вскоре на людской половине погасли, подернувшись пеплом, лучины, и в лесном доме воцарилась мертвая тишина; одни только собаки лаяли порой на волков в сторону бора.

Но у княгини, отца Вышонека и Збышка по-прежнему горел огонь, отбрасывая красные отсветы на покрытый снегом двор. Объятые тревогой и проникнутые торжественностью предстоящей минуты, княгиня с Данусей, Збышко и ксендз бодрствовали в тишине, прислушиваясь к биению собственных сердец. После полуночи княгиня взяла Данусю под руку и повела её в горницу Збышка, где отец Вышонек ждал уже с причастием. В камине у Збышка пылал яркий огонь, и при неверном его свете юноша увидел Данусю, побледневшую от бессонницы, с венком из бессмертников на челе, наряженную в тяжелое, белое, спускающееся до полу платье. От волнения девушка полузакрала глаза, ручки у неё повисли вдоль платья, и изумленному Збышку она так живо напомнила изображение с костельного окна, что ему даже подумалось, будто не земную девушку, а бесплотного духа должен он взять себе в жены. Еще больше овладела им эта мысль, когда она опустила на колени для причащения и, сложив руки, откинула голову назад и совсем закрыла глаза. Она показалась ему умершей, и сердце его сжалось от страха. Однако это длилось одно лишь мгновение. Услышав возглас ксендза: «Ecce Agnus Dei» [76] Збышко сосредоточился, и мысли его устремились к Богу. В горнице слышен был только торжественный голос отца Вышонека: «Domine, non sum dignus» [77], треск дров и вместе с тем жалобный неумолчный стрекот сверчков в щелях камина. За окнами поднялся ветер, зашумел в заснеженном лесу и тут же смолк.

Збышко и Дануся некоторое время хранили молчание; ксендз Вышонек взял тем временем чашу и отнес её в домовую часовенку. Через минуту он вернулся, но уже не один, а с господином де Лоршем; на лицах у всех изобразилось удивление; заметив это, ксендз сперва приложил палец к губам, словно опасаясь, как бы кто-нибудь не издал возгласа изумления, а затем сказал:

– Я подумал, что лучше, если будет два свидетеля бракосочетания; но предупредил сперва обо всем этого рыцаря, и он поклялся мне рыцарской честью и аквисгранскими святынями хранить все в тайне, пока не минует в этом надобность.

Господин де Лорш сперва преклонил колени перед княгиней, затем перед Данусей; поднявшись с колен, он замер в молчании, одетый в торжественные доспехи, по

сгибам которых скользили красные отблески пламени, высокий, неподвижный, охваченный восторгом от лицемерия девушки в белом с венком бессмертников на челе, которая и ему показалась ангелом, сошедшим с окна готического храма.

Но вот ксендз подвел Данусю к постели Збышка и, покрыв им руки епитрахилью, начал обычный обряд. По доброму лицу княгини катились слезы, но душа её в эту минуту была спокойна – она думала, что совершает добрый поступок, соединяя этих двух чудных и невинных детей. Господин де Лорш снова опустился на колени и, опершись обеими руками на рукоять меча, казался рыцарем, которому явилось виденье, а Збышко и Дануся повторяли по очереди за ксендзом слова: «Я... беру... тебя себе...» – и словам этим, тихим и сладостным, вторил стрекот сверчков и треск дров в камине. Когда обряд венчания кончился, Дануся упала к ногам княгини, которая благословила молодых и, вверив их покровительству небесных сил, сказала:

– Возвеселитесь теперь, ибо она принадлежит тебе, а ты ей.

Тогда Збышко прогянул Данусе свою здоровую руку, а она обвила его шею, и с минуту слышно было только, как они, приникнув устами к устам, повторяют друг другу:

– Ты моя, Дануська!

– Ты мой, Збышко!

Но от чрезмерного волнения Збышко скоро ослабел и, опустившись на подушки, стал тяжело дышать. Однако он не лишился чувств и, по-прежнему улыбаясь Данусе, вытиравшей ему лицо, покрытое холодным потом, все повторял: «Ты моя, Дануська», – а она всякий раз склоняла свою непокрытую головку. Увидев эту картину, господин де Лорш окончательно растрогался и заявил, что ни в одной стране ему не приходилось встречать таких чувствительных сердец и что поэтому он даст торжественную клятву драться пешему или конному с любым рыцарем, чародеем или огненным змием, который посмеет помешать их счастью. Он и в самом деле тут же поклялся в этом на крестообразной рукояти своей мизерикордии, то есть небольшого меча, который служил рыцарям для добывания раненых. Княгиня и ксендз Вышонек были призваны им в качестве свидетелей этой клятвы.

Княгиня, которая не могла себе представить свадьбу без веселья, принесла вино – и все стали пить. Текли часы ночи. Переборов слабость, Збышко снова привлек к себе Данусю и сказал:

– Коли отдал мне тебя господь Бог, никто не отнимет тебя у меня; но жаль мне, что ты уезжаешь, ягодка моя красная.

– Я приеду с батюшкой в Цеханов, – ответила Дануся.

– Только бы ты не захворала или иная беда не стряслась над тобой... Храни тебя Бог от всякой напасти... Я знаю, ты должна ехать в Спыхов!.. Эх!.. Благодарение Богу и милостивой пани, ты уже моя, а уж раз мы связаны узами брака, нас ничто теперь не разлучит.

Тайно, ночью порой, они обвенчались, и скоро уж надо было им расставаться, поэтому порой странная тоска охватывала не одного только Збышка, но и всех остальных. Разговор обрывался. Время от времени притухало пламя в камине, и головы погружались во мрак. Ксендз Вышонек подкидывал тогда на горящие угли

новых поленьев и, когда сырые дрова начинали жалобно сипеть, говорил:

– Чего жаждешь ты, душа, страждущая в огне чистилища?

Ему отвечали сверчки, потом пламя, вспыхнув, вырывало из мрака бессонные лица, отражалось в доспехах господина де Лорша и озаряло белое платье и бессмертники на голове Дануси.

Собаки во дворе снова стали лаять в сторону бора так, как лают они всегда на волков.

Текли часы ночи, все чаще воцарялось молчание, и княгиня сказала наконец:

– Господи! Чем так сидеть после венчания, так лучше было бы пойти спать; но раз уж нам надо бодрствовать до утра, так перед отъездом сыграй же, ягодка, нам со Збышком ещё раз на лютне.

Дануся, усталая и сонная, рада была встряхнуться – она тотчас побежала за лютней и, вернувшись через минуту, села с нею у постели Збышка.

– Что же мне сыграть вам? – спросила она.

– Что сыграть? – переспросила княгиня. – Что ж, как не ту песенку, которую ты пела в Тынце, когда Збышко увидал тебя в первый раз!

– Помню, помню я эту песенку и до гроба её не забуду, – сказал Збышко. – Бывало, как услышу где, так слезы у меня из глаз и польются.

– Так я спою! – сказала Дануся.

И тотчас стала перебирать струны лютни и, закинув, как всегда, головку, запела:

Ах, когда б я пташкой

Да летать умела,

Я бы в Силезию

К Ясю улетела.

Сиротинкой бедной

На плетень бы села:

«Глянь же, мой соколик,

Люба прилетела!..»

Вдруг голос у неё пресекся, губы задрожали, и слезы брызнули из глаз и потекли по щекам. Минуту она пыталась успокоиться, но не смогла и расплакалась так же горько, как тогда, в краковской темнице, когда в последний раз пела эту песенку Збышку, думая, что завтра ему снесут голову с плеч.

– Дануська, что с тобой, Дануська? – спрашивал Збышко.

– Чего ты плачешь? Что это за свадьба? – воскликнула княгиня. – Ну, чего ты?

– Не знаю, – рыдая, ответила Дануська, – так мне что-то тоскливо!.. Так жаль... Збышка и вас...

Все встревожились и стали её успокаивать, стали толковать ей, что уезжает она ненадолго, что ещё на праздниках все они съедутся с Юрандом в Цеханове. Збышко

снова обнял её, прижимал её к груди и осушал губами слезы у неё на глазах; и все же сердца у всех сжались в тревоге – и в тревоге текли для них эти ночные часы.

Вдруг во дворе раздался такой неожиданный пронзительный скрип, что все вздрогнули. Вскочив со скамьи, княгиня воскликнула:

– Боже мой! Это колодезные журавли! Поят коней!

А ксендз Вышонек посмотрел в окно, в котором стеклянные шарики начали уже светлеть, и произнес:

– Чуть брезжит заря, день занимается. Ave Maria, gratia plena[78].

И вышел из горницы; вернувшись через некоторое время, он сказал:

– Светает, но день будет хмурый. Это люди Юранда поят коней. Пора в дорогу, бедняжка!..

При этих словах княгиня и Дануся громко разрыдались и запричитали вместе со Збышком, как причитают при расставанье простые люди; это был как бы обрядовый плач, и звучал он и как жалоба, и как песня, которая у простых душ льется так же естественно, как слезы льются из глаз.

Ой, да не помочь плачем, слезами,
Да когда ты рассташься с нами,
Да пришла наша година,
Да горька наша судьбина,
Ой, да прости-прощай!

В последний раз привлек к себе Збышко Данусю и сжимал её в объятиях, пока не захватило у него дух и пока княгиня не оторвала от него жену, чтобы одеть её в дорогу.

Тем временем совсем рассвело. Все пробудились в доме, поднялась суета. К Збышку вошел чех справиться об его здоровье и узнать, какие будут распоряжения.

– Придвинь постель к окну! – велел ему рыцарь.

Чех легко придвинул постель к окну, но, когда Збышко велел ему отворить окно, он удивился, однако выполнил и этот приказ, только укрыл господина своим кожухом, так как на дворе хоть и пасмурно было, но холодно и падал мягкий, обильный снег.

Збышко стал смотреть в окно. Сквозь хлопья снега, летевшие из тучи, он увидел на дворе санки; их окружали слуги Юранда верхом на лохматых лошадях, от которых поднимался пар. Все слуги были вооружены, у кое-кого поверх кожухов были надеты даже кольчуги, в которых отражались бледные лучи хмурого дня. Лес совсем закрыла снежная пелена; плетни и ворота были едва видны.

Дануся, уже закутанная в кожушок и лисью шубу, ещё раз прибежала в горницу к Збышку, ещё раз обвила его шею и сказала ему на прощанье:

– Хоть я и уезжаю, но я твоя.

А он целовал ей руки, щеки и глаза, которые едва виднелись из-под лисьего меха, и говорил:

– Храни тебя Бог! Счастливой дороги! Моя ты теперь, моя до гроба!

Когда Данусю снова оторвали от него, он приподнялся, насколько мог, приник головой к окну и смотрел; сквозь снежную пелену он видел, как Дануся садилась на санки, как княгиня долго сжимала её в объятиях, как целовали её придворные дамы и как ксендз Вышонек крестил её на дорогу. Перед самым отъездом она ещё раз обернулась к нему и протянула руки:

– Оставайся с Богом, Збышко!

– Дай Бог увидеться с тобой в Цеханове.

Но снег падал такой обильный, словно хотел все заглушить и все от них заслонить, и последние слова долетели до них так смутно, что обоим им показалось, будто они зовут друг друга уже издалека.

XXVI

После снежных метелей ударил мороз, и дни наступили ясные, солнечные. Днем леса искрились на солнце, реки сковало льдом, и болота застыли. Стояли ясные ночи, когда мороз так крепчал, что деревья оглушительно трещали в лесу; птицы жались к жилью; на дорогах стало опасно от волков, которые собирались в стаи и нападали не только на одиноких путников, но и на целые деревни. Однако народ, греясь у очагов в дымных хатах, радовался морозной зиме, предсказывая урожайный год, и весело ждал святок, которые вскоре должны были наступить. Лесной дом князя опустел. Княгиня с двором и ксендзом Вышонекком уехала в Цеханов. Збышку уже стало гораздо лучше; все же он ещё не настолько окреп, чтобы сесть на коня, и остался поэтому в лесном доме со своими людьми, Сандерусом, оруженосцем-чехом и княжьими слугами, за которыми надзирала почтенная шляхтянка, исполнявшая обязанности хозяйки.

Но душой рыцарь рвался к молодой жене. Невыразимо сладкой была для него мысль, что Дануся уже принадлежит ему и что никто её у него не отнимет, но, когда он думал об этом, тоска ещё больше томила его. По целым дням вздыхал он, ожидая той минуты, когда сможет покинуть лесной дом, и раздумывая о том, что же тогда делать, куда ехать и как снискать расположение Юранда. Порой его охватывала страшная тревога, и все же будущность представлялась ему сплошным праздником. Любить Дануську и сбивать шлемы с павлиньими перьями – таков его удел. Ему хотелось иногда поговорить об этом с чехом, которого он полюбил, однако он заметил, что, преданный всей душой Ягенке, чех неохотно говорит о Данусе, да и Збышко был связан тайной и не мог открыться ему.

Здоровье его улучшалось с каждым днем. За неделю до сочельника он впервые сел на коня и, хотя чувствовал, что в доспехах не смог бы этого сделать, все же приободрился. Он думал, что в ближайшее время ему не придется надевать панцирь и шлем, а впрочем, надеялся, что вскоре у него станет сил и на это. Чтобы убить время, он пробовал в горнице поднимать меч, и это ему удавалось, только секира оказалась пока тяжела, да и то он считал, что, ухватившись обеими руками за рукоять, смог бы уже нанести меткий удар.

Наконец, за два дня до сочельника, он велел готовить сани и седлать коней и сказал чеху, что они едут в Цеханов. Верный оруженосец немного обеспокоился, тем более что на дворе стоял трескучий мороз, но Збышко отрезал:

– Не суй нос не в свое дело, Гловач (так называл он чеха на польский лад). Нечего нам тут делать, а и захвораю я, так в Цеханове будет кому за мной присмотреть. Да и поеду я не верхом, а на санях, в сено зарююсь да укроюсь шкурами и только перед самым Цехановом сяду на коня.

Так он и сделал. Чех уже постиг нрав своего молодого господина и знал, что ему слова нельзя сказать поперек, а не выполнить приказ – и подавно, так что через час они уже тронулись в путь. Перед отъездом Збышко увидел, что Сандерус усаживается со своим коробом на сани.

– Что это ты прицепился ко мне, как репей? – спросил он у торговца индальгенциями. – Ты же говорил, что хочешь в Пруссию.

– Говорить-то я говорил, – ответил Сандерус, – да как же мне одному идти по такому снегу? Первая звезда взойти не успеет, как меня волки съедят, а тут мне тоже нечего делать. Лучше уж я в городе стану учить людей благочестию, оделять их святыми товарами и спасать из сетей диавола, как обещал в Риме отцу всех христиан. Да и крепко полюбились вы мне, ваша милость, и не брошу я вас до самого отъезда в Рим, а может статься, что и услугу какую-нибудь придется вам оказать.

– Он за вас, пан, всегда готов выпить и закусить, – сказал чех, – и больше всего рад оказать вам эту услугу. Но ежели в Праснышском лесу нападет на нас целая стая волков, так мы бросим им его на съедение, больше он ни на что не годен.

– Смотрите, как бы у вас грешное слово к устам не примерзло, – отрезал Сандерус, – а то такие сосульки тают только в огне преисподней.

– Эва! – ответил Гловач, поглаживая рукавицей свои едва пробивающиеся усики. – Я сперва попробую пива подогреть на привале, а тебе не дам.

– А нам заповедано: жаждущего напои. Еще один грех!

– Ну, тогда я дам тебе ведро воды, а пока получай то, что есть у меня под рукой.

С этими словами он набрал полные пригоршни снега и швырнул Сандерусу в бороду; однако тот увернулся и сказал:

– Не нужны вы вовсе в Цеханове, там уже медвежонка научили в снежки играть.

Так они переругивались, хотя оба пришли по нраву друг другу. Сандерус потешал Збышка и даже как будто сильно к нему привязался, поэтому молодой рыцарь не стал запрещать этому чудаку ехать с ним дальше. Итак, в ясное утро они выехали из лесной усадьбы; мороз стоял такой сильный, что лошадей пришлось покрыть попонами. Все кругом потонуло в снегу. Кровли хат едва виднелись из-под снега, и порой казалось, что дым поднимается прямо из белых сугробов и столбом уносится к небесам, розовея от утренней зари и раскидываясь вверху рыцарским султаном.

Чтобы не терять сил, да и укрыться от мороза под сеном и шкурами, Збышко ехал на санях. Он велел Гловачу пересесть на сани и на случай нападения волков держать наготове самострел, а пока весело с ним разговаривал.

– В Прасныше, – сказал Збышко, – мы только покормим лошадей да погреемся и сейчас же поедем дальше.

– В Цеханов?

– Сперва в Цеханов поклониться князю и княгине и помолиться Богу.

– А потом? – спросил Гловач.

Збышко улыбнулся и ответил:

– Кто знает, может, потом и в Богданец.

Чех удивленно посмотрел на своего господина. В голове у него мелькнула мысль, уж не отказался ли он от дочки Юранда. Это было похоже на правду, потому что Дануся уехала, а в лесном доме князя до ушей чеха дошел слух о том, что пан из Спыхова не соглашается отдать дочку за молодого рыцаря. Обрадовался добрый оруженосец; хоть он сам любил Ягенку, но для него она была словно звезда в небе, и рад он был добыть ей счастье даже ценою собственной крови. Збышка он тоже полюбил и всей душой желал служить им обоим до смерти.

– Так это вы, ваша милость, останетесь уже в своих владениях? – весело спросил он.

– Как же мне оставаться в своих владениях, – возразил Збышко, – коли я послал вызов крестоносцам, а ещё раньше Лихтенштейну? Де Лорш говорил, что магистр будто бы хочет пригласить короля в гости в Торунь, так я присоединюсь тогда к королевской свите: авось пан Завиша из Гарбова или пан Повала из Тачева испросят для меня позволения у короля драться с этими монахами. Те, наверно, выйдут на бой с оруженосцами, так что и тебе придется с ними сразиться.

– Иначе одна бы мне дорога была – тоже в монахи, – сказал чех.

Збышко посмотрел на него с удовлетворением.

– Круто придется тому, кто подвернется тебе под секиру. Дал тебе Бог страшную силу, но ты бы худо поступил, если бы зря стал похваляться ею, – истинному оруженосцу приличествует смирение.

Чех закивал головой в знак того, что не будет зря похваляться своей силой, но и не пожалеет её в бою против немцев, а Збышко по-прежнему улыбался, но уже не оруженосцу, а собственным мыслям.

– То-то старый пан обрадуется, как мы воротимся, – сказал после минутного молчания Гловач. – В Згожелицах тоже будут рады.

Ягенка, как живая, встала перед взором Збышка, словно тут вот, рядом, сидела с ним на санях. Всегда так бывало, что, неожиданно вспомнив девушку, он видел её как наяву.

«Нет, – подумалось ему, – не будет она рада, потому что ворочусь я в Богданец, да только с Дануськой, а она пускай за другого выходит...» В это мгновение Збышко представились Вильк из Бжозовой и молодой Чтан из Рогова – и так горько вдруг ему стало, что она может достаться кому-нибудь из них. «Уж лучше бы она кого другого нашла, – подумал он про себя, – ведь им бы только лакать пиво да в зернь играть, а она хорошая девушка» Подумал он и о том, что дядя очень огорчится,

когда обо всем узнает, однако тотчас утешился, вспомнив, что для Мацька всего важнее были род да богатство, которое могло бы поднять значение рода. Правда, Ягенку взять – на меже жениться, зато Юранд был богаче Зыха из Згожелиц, и легко было предугадать, что Мацько недолго будет сердиться на племянника, тем более что старик знал о его любви к Дануське и о том, чем он ей обязан...

Поворчит-поворчит, да и перестанет, ещё рад будет потом и Дануську станет любить, как родную дочь!

И вдруг в сердце Збышка шевельнулось чувство любви к дяде и тоски по этому суровому человеку, который любил и берег его как зеницу ока; в битвах защищал его больше, чем самого себя, для него захватывал добычу, для него наживал богатство. Двое их было – одиноких – на свете! Даже родственников не было у них, разве такие дальние, как аббат, и, когда им, бывало, приходилось расставаться, они друг без друга места себе не находили, особенно старик, которому для себя ничего уже не было надобно.

«Ох, и рад же он будет, ох, и рад! – повторял про себя Збышко. – Я бы одного только хотел: чтобы Юранд принял меня так, как примет дядя».

И он попытался представить себе, что скажет и что сделает Юранд, когда дознается про то, что Дануська с ним обвенчалась. Мысль об этом беспокоила Збышка, а впрочем, не очень – дело-то ведь было сделано. Неприлично было бы Юранду вызывать его на поединок, а уж если бы он очень уперся, Збышко мог бы сказать ему: «Соглашайтесь, покуда честью вас просят, а нет, так ведь ваше право над Дануськой людское, а мое Божье, и не ваша она теперь, а моя». Слыхал он как-то от одного причетника, сведущего в писании, что жена должна оставить отца своего и мать свою и прилепиться к мужу, и полагал, что право на его стороне. Он не думал, однако, чтобы у них с Юрандом дело дошло до ссоры и вражды, и полагал, что много помогут тут просьбы Дануси, а пожалуй, ещё больше вмешательство князя, которому Юранд был подвластен, и княгини, которую он любил как опекуншу своей дочери.

В Прасныше путникам посоветовали остаться на ночлег и предупредили, что волки от сильных морозов сбились в огромные стаи и нападают даже на целые обозы. Однако Збышко не обратил на это внимания, к тому же в корчме он случайно встретил нескольких мазовецких рыцарей, которые со слугами тоже направлялись к князю в Цеханов, и нескольких вооруженных купцов из самого Цеханова, которые возвращались с товаром из Пруссии. Для такой кучи народу волки не могли представлять опасности, и все они целым поездом выехали в ночь несмотря на то, что к вечеру подул ветер, нагнал туч и началась поземка. Ехали, держась близко друг к другу, но так медленно, что Збышко начал опасаться, что они не успеют к сочельнику. Местами, где лошади совсем увязали в снегу, приходилось расчищать путь. По счастью, лесом шла торная дорога. Однако путники завидели Цеханов, когда уже совсем сгустились сумерки.

Если бы не огни, пылавшие на холме, где строился замок, путники под городом, быть может, долго кружили бы во мгле, слушая завывание вьюги и не догадываясь, что они уже достигли цели. Никто из спутников Збышка толком не знал, зажгли ли эти огни в сочельник для гостей или по какому-нибудь старому обычаю, да и никто из них сейчас не думал об этом, все помышляли только об одном: как бы поскорее укрыться в стенах города.

А вьюга меж тем все крепчала. Пронизывающий холодный ветер нес целые тучи снега, гнул деревья, ревел, свирепствовал, срывал целые сугробы, взвивал и кружил

снежную пыль, заноса сани и лошадей; словно острым песком, хлестал путников по лицу, забивал дыхание, не давал говорить. Не стало слышно бубенчиков, подвешенных к дышлам, а в вое и свисте бури зазвучали какие-то жалобные голоса: то ли вой волков, то ли отдаленное конское ржание, то ли полный ужаса зов о помощи. Измученные лошади все теснее жались друг к дружке и шли все медленнее.

– Вот это метель так метель! – сказал, задыхаясь, чех. – Счастье, пан, что город уж близко и огни горят, иначе пришлось бы нам худо.

– Кого непогода застигла в поле, тому смерть, – заметил Збышко, – да я уж и огней не вижу.

– Мгла такая, что и огню не пробиться. А может, раскидало дрова и уголья.

На других санях купцы и слуги тоже толковали о том, что, коли непогода застигла кого далеко от жилья, не услышать уж тому наутро колокольного звона. Объятый внезапно тревогой, Збышко сказал вдруг:

– А что, коли Юранд, не дай Бог, в дороге!

Чех, который силился разглядеть во мгле огни, услышав слова Збышка, повернул к нему голову и спросил:

– Так это должен был приехать пан из Спыхова?

– Да.

– С панной?

– Огни совсем пропали, – произнес Збышко.

Огни и в самом деле потухли, зато на дороге у самых саней пявилося несколько всадников.

– Куда прешь?! – хватаясь за самострел, крикнул зоркий чех. – Кто вы?

– Мы княжьи люди, нас послали на помощь путникам.

– Слава Иисусу Христу!

– Во веки веков.

– Проводите нас в город! – сказал Збышко.

– Никто из вас не отстал?

– Никто.

– Откуда едете?

– Из Прасныша.

– Других путников по дороге не встречали?

– Не встречали. Может, на других дорогах найдутся.

– Люди посланы на все дороги. Поезжайте за нами. Вы сбились с пути! Берите правее!

И они повернули коней. Некоторое время слышен был только вой бури.

– Много ли гостей в замке? – спросил через минуту Збышко.

Ближайший всадник недослышал и наклонился к Збышку:

– Что вы говорите, пан?

– Я спрашиваю, много ли гостей у князя и княгини?

– Гости, как всегда, много!

– А нет ли пана из Спыхова?

– Нет, но его ждут. Люди тоже выехали навстречу.

– С плошками?

– При таком-то ветре!

Они не смогли продолжать разговор, так усилился рев бури.

– Прямо шабаш чертей да ведьм! – произнес чех.

Збышко велел ему замолчать и не произносить имени черных духов.

– Разве ты не знаешь, что в такие праздники черти боятся и прячутся в проруби? Как-то в сочельник днем рыбаки под Сандомиром нашли одного в неводе: он держал в пасти щуку, но как заслышал колокольный звон, так и сомлел, а они до звезды били его палками. Что и говорить, вьюга страшная, но это Христос попустил, видно, хочет, чтобы завтрашний день показался нам ещё радостней.

– Эва! Мы уж под самым городом были, а не случись этих людей, плутать бы нам, может, до полуночи, потому мы с дороги уж сбились, – возразил чех.

– С дороги мы сбились потому, что огни погасли.

Тем временем они въехали в город. Сугробы на улицах навалило такие, что во многих местах замело даже окна, вот почему, кружа за городом, путники не могли видеть огней. В городе было потише. На улицах было пустынно, горожане сидели уже за ужином. Лишь кое-где перед домами мальчики с вертепом и с козой пели, несмотря на метель, колядки. На рынке тоже встречались ряженые, они опутались гороховой соломой и изображали медведей, а так кругом было пусто. Купцы, с которыми ехал Збышко, остались в городе, а шляхтичи направились к старому замку, где жил князь; когда они подъехали поближе, замок весело засиял перед ними своими стеклянными окнами.

Подъемный мост через ров был опущен, так как время литовских набегов миновало, а крестоносцы, предвидя войну с польским королем, сами искали дружбы с мазовецким

князем. Кто-то из княжеских слуг затрубил в рог, и ворота тотчас отворились. У ворот стояло десятка полтора лучников; но на стенах и у бойниц не было ни живой души – князь позволил страже оставить посты. Навстречу гостям вышел старый Мрокота, который приехал в замок два дня назад; он приветствовал гостей от имени князя и проводил их в покои, где они могли переодеться к столу.

Збышко тотчас стал расспрашивать его об Юранде из Спыхова; Мрокота сказал, что Юранда пока нет, но его ждут, что он обещал приехать, а если бы ещё больше расхворался, то дал бы об этом знать. Все же навстречу ему послали десятка полтора верховых, потому что такой метели старики не запомнят.

– Так он, может, скоро приедет.

– Может, и приедет. Княгиня велела поставить для него и панны миски за общим столом.

Хотя Збышко всегда немного побаивался Юранда, однако сейчас он обрадовался в душе и сказал себе: «Пускай делает что хочет, все равно это жена моя приезжает, супруга моя, дорогая моя Дануська!» Он не верил своему счастью, повторяя эти слова. Потом ему подумалось, что, может, она уж во всем повинилась отцу, может, он уж совсем примирился и склонился на её мольбы тотчас отдать её Збышку. «Сказать по правде, что ему остается делать? Человек он умный и знает, что, коли даже не захочет отдать, я все равно возьму её, потому что мое право на неё крепче».

Переодеваясь, он расспрашивал Мрокоту о здоровье князя и особенно княгини, которую ещё в Кракове полюбил как родную мать. Он обрадовался, узнав, что в замке все здоровы и веселы, хотя княгиня очень тоскует по своей веселой певунье. Играет ей теперь на лютне Ягенка, которую княгиня тоже любит, но не так, как Данусю.

– Какая Ягенка? – спросил в удивлении Збышко.

– Ягенка из Длуголяса, внучка старого пана из Длуголяса. Красивая девушка, в неё лотарингский рыцарь влюбился.

– Так господин де Лорш здесь?

– А где же ему ещё быть? Он приехал из лесного дома князя и живет себе тут припеваючи. У нашего князя всегда полно гостей.

– Я буду рад повидаться с ним, это рыцарь без упрека.

– Он тоже вас любит. Однако пойдёмте, а то князь с княгиней уж за стол садятся.

Они пошли в застольную. Там пылал в двух каминах огонь, который поддерживали слуги, и было полным-полно гостей и придворных. Князь вошел первый в сопровождении воеводы и нескольких приближенных. Збышко земно ему поклонился, а затем поцеловал руку.

Князь обнял его голову, затем отвел в сторону и сказал:

– Я обо всем уже знаю. Сперва я гневался, что вы сделали это без моего позволения, да ведь, сказать по правде, и времени-то у вас не было – я ведь был

тогда в Варшаве и святки хотел там провести. А дело известное, коли баба чего захочет, и не думай противиться, все равно ничего не добьешься. Княгиня о вас как мать родная заботится, а мне, чем противиться, лучше ей угодить, чтобы она поменьше слез лила и печалилась.

Збышко опять земно поклонился князю.

– Дай Бог, ваша милость, отблагодарить вас.

– Слава Богу, ты уже здоров. Скажи же княгине, что я принял тебя милостиво, она обрадуется! Боже ты мой! Ее радость – моя радость! Юранду я за тебя тоже словечко замолвлю, думаю, он даст свое согласие – он ведь тоже любит княгиню.

– Хоть и не захочет он дать своего согласия, мое право выше.

– Твое право выше, и он должен дать свое согласие, но может не дать вам своего родительского благословения. Силой его у Юранда не вырвешь, а без родительского благословения не будет вам и Божьего благословения.

Збышко, который об этом ни разу не подумал, очень встревожился. Но в эту минуту вошла княгиня с Ягенкой из Длуголяса и другими придворными паннами, и он поспешил поклониться ей; княгиня поздоровалась с ним ещё милостивее, чем князь, и тотчас заговорила о том, что ждет приезда Юранда. Мол, и миски поставлены, и людей навстречу послали проводить гостей до самого замка. Ждать с ужином уже нельзя, князь этого не любит, да и гости, верно, приедут ещё до конца ужина.

– А с Юрандом, – говорила княгиня, – все будет, как Бог пошлет. Я либо сегодня же все ему скажу, либо завтра это сделаю после заутрени; князь тоже обещал замолвить словечко. Упрямя Юранд, но не с теми, кого любит, и не с теми, кому обязан.

Тут она стала поучать Збышка, как держаться с тестем, чтобы, не приведи Бог, не задеть и не прогневить его. Она надеялась, что все образуется; однако человек более искушенный и проницательный, чем Збышко, тотчас уловил бы в её речах некоторую тревогу. Может, княгиня потому тревожилась, что пан из Спыхова был человек крутого нрава, а может, потому, что он так долго не появлялся. Метель на улице пуще свирепела, и все говорили, что если непогода застигнет кого в поле, то его ждет верная гибель; но княгине думалось, что Дануська могла повиниться во всем отцу, а тот оскорбился и решил вовсе не приезжать в Цеханов. Впрочем, княгиня ничего не сказала об этом Збышку, да и времени уже не было: слуги стали вносить кушанья и расставлять их на столе. Збышко успел ещё склониться к её ногам и спросить:

– А если они приедут, как же тогда будет, милостивая пани? Мрокота сказал мне, что для Юранда есть отдельная горница, где найдется сено и для оруженосцев. А как же?..

Княгиня рассмеялась, хлопнула его легонько перчаткой по лицу и сказала:

– Перестань! Это ещё что? Ишь ты какой!

И отошла к князю, которому приближенные уже придвинули кресло. Один из них подал сперва князю плоское блюдо, полное тонко нарезанных лепешек и облаток, которыми князь должен был оделить гостей, придворных и слуг. Другое такое же блюдо держал

для княгини красивый юноша, сын сохачевского каштеляна. По другую сторону стола стал ксендз Вышонец, который должен был освятить расставленные на душистом сене яства. Внезапно в дверях показался человек весь в снегу и громко крикнул:

– Милостивый пан!

– Что такое? – спросил князь, недовольный тем, что нарушается обряд.

– На радзановской дороге совсем замело каких-то путников. Надо побольше людей, чтобы отрыть их.

Все испугались, встревожился и князь и, обратившись к сохачевскому каштеляну, крикнул:

– Верховых с лопатами, живо!

Затем к вестнику:

– Много людей замело?

– Мы не могли узнать. Метель страшная. Есть лошади и сани. Много слуг.

– Не знаете, чьи слуги?

– Говорят, пана из Спыхова.

XXVII

Услышав печальную весть, Збышко, даже не спросив у князя, бросился в конюшню и велел седлать коней. Чех, как оруженосец благородного происхождения, находился в застольной, он едва успел сбегать за теплой лисьей шубой своему господину; будучи человеком умным, он и не пытался удержать его, так как знал, что это бесполезно, а промедление может быть смерти подобно. Вскочив на другого коня, чех схватил у привратника несколько факелов, и они тотчас двинулись в путь вместе с княжьими слугами, которых быстро снарядил старый каштелян. За воротами всадников окутала непроницаемая тьма; но метель как будто поутихла. За городом они, может, сбились бы с пути, если бы не тот человек, который первый дал знать о несчастье: при нем была собака, которая уже знала дорогу, и он быстро и уверенно ехал вперед. В чистом поле ветер снова стал хлестать в лицо всадникам, которые уже пустили коней вскачь. Дорогу замело, местами лежали такие сугробы, что приходилось замедлять бег, так как кони уходили в снег по самое брюхо. Княжьи слуги зажгли факелы и плошки и ехали в дыму и в пламени, а ветер дул с такой силой, словно хотел оторвать от смолистых щепок клочья дыма и языки пламени и умчаться в поля и леса. Путь был дальний; всадники миновали уже селения близ Цеханова и Недзбож, а затем свернули на Радзанов. За Недзбожем буря и в самом деле стала утихать. Порывы ветра были уже слабее и не несли с собою туч снега. Небо посветлело. Некоторое время ещё валил снег, но вскоре и он перестал падать. Затем в разрывах туч кое-где блеснули звезды. Кони зафыркали, всадники вздохнули с облегчением. Звезд показывалось все больше, мороз крепчал. Спустя некоторое время метель совсем прекратилась.

Господин де Лорш, который ехал рядом со Збышком, стал его успокаивать; он говорил, что в минуту опасности Юранд несомненно подумал прежде всего о спасении дочери, и если даже все замерзнет, то её они непременно найдут живую и даже, может, спящую под шкурами. Збышко плохо понимал, что де Лорш говорит ему, да и

времени для этого уже не было, так как провожатый, ехавший впереди, свернул с дороги.

Молодой рыцарь выехал вперед и спросил:

– Почему мы сворачиваем?

– Их замело не на дороге, а вон там! Видите, пан, вон тот ольшаник?

Он показал рукой на заросли, темневшие вдали, которые можно уже было различить на снежной равнине, так как диск луны пробился сквозь тучи и ночь стала ясной.

– Видно, сбились с дороги.

– Сбились с дороги и кружили у реки. В метель и в бурю это часто случается. Кружили, кружили, покуда кони не остановились.

– Как же вы их нашли?

– Собака привела.

– Хат поблизости нет?

– Есть, только по ту сторону реки. Тут недалеко Вкра.

– Гони! – крикнул Збышко.

Но приказать было легче, чем выполнить приказание, – хотя мороз и крепчал, но на лугу свежеевыпавший, глубокий и сыпучий снег ещё не смерзся, кони проваливались выше колен, и подвигаться вперед приходилось медленно. Внезапно до слуха всадников донесся лай собаки, впереди замаячил толстый и кривой ствол ивы, над которым в лунном сиянии блестела крона безлистных ветвей.

– Те подальше, – сказал провожатый, – неподалеку от ольшаника; но и тут кто-то есть.

– Под ивой сугроб. Ну-ка, посветите!

Несколько княжьих слуг соскочили с коней и стали светить факелами; вскоре один из них крикнул:

– Человек под снегом! Вон видна голова!

– А вот и конь! – воскликнул другой.

– Отрыть!

Лопаты врезались в снег и стали откидывать его в стороны.

Через минуту показалась фигура человека, который сидел под деревом, склонив голову на грудь и низко надвинув шапку. Одной рукой он держал за повод коня, который лежал рядом, уткнувшись мордой в снег. Человек отъехал, видно, от своих, быть может для того, чтобы скорее пробиться к жилью и привести людей на помощь, а когда конь пал, укрылся с подветренной стороны под ивой – и там замерз.

– Посветите! – крикнул Збышко.

Слуга поднес факел к лицу умершего, но черты его трудно было распознать. Только когда другой слуга поднял склоненную голову, у всех вырвался крик:

– Пан из Спыхова!

Збышко велел двум слугам поднять его и везти в ближайшую хату, сам же, не теряя ни минуты, бросился с оставшимися слугами и провожатым на спасение остального поезда. По дороге он думал о том, что найдет там, может, Дануську, жену свою, уже мертвую, и во весь опор гнал коня, уходившего в снег по самую грудь. К счастью, уже было недалеко – не больше двухсот шагов. «Сюда!» – донеслись из темноты голоса тех, кто остался около занесенного снегом поезда. Збышко подъехал к людям и соскочил с коня.

– За лопаты!

Двое саней уже были отрыты. Лошади и люди замерзли так, что на спасение их не было никакой надежды. По снежным холмикам можно было догадаться, где остальные упряжки; впрочем, не все сани замело целиком. Около некоторых виднелись лошади; по брюхо в сугробах, они, казалось, рвались вперед и замерзли в последнем усилии. Перед одной парой лошадей стоял неподвижно, как столб, человек по пояс в снегу с копьем, зажатым в руке; остальные слуги заоченели около лошадей, держа их под уздцы. Смерть настигла их, видно, в минуту, когда они хотели вытащить лошадей из сугробов. Одна упряжка в самом хвосте поезда совсем не была засыпана снегом. Возница сидел, согнувшись на облучке, зажав руками уши; позади него лежали двое; на грудь им намело длинные полосы снега; соединясь с соседним сугробом, эти полосы прикрыли их, как пуховиком, и казалось, что мертвые спят спокойным и тихим сном. Другие погибли, борясь с метелью до последней минуты, и замерзли в позах, полных напряжения. Некоторые сани опрокинулись; у других были поломаны дышла. Ежеминутно лопаты отрывали изогнутые дугой конские хребты или головы, уткнувшиеся мордами в снег, людей на санях и рядом с санями; однако нигде не было обнаружено ни одной женщины. Збышко то работал лопатой так, что пот заливал ему лицо, то с бьющимся сердцем подносил факел к глазам трупов, ожидая увидеть любимое лицо, – все было напрасно! Пламя освещало только грозные усатые лица спыховских вояк – ни Дануси, ни другой какой-либо женщины не было нигде.

– Что бы это могло значить? – вопрошал в изумлении молодой рыцарь.

И кричал людям, работавшим поодаль, не откопали ли они женщину; но те находили одних только мужчин. Наконец работа была окончена. Слуги запрягли в сани собственных коней и, усевшись на облучки, двинулись с замерзшими к Недзбожу, чтобы попытаться в тепле хоть кого-нибудь из них вернуть к жизни. Збышко остался с чехом и двумя слугами. Ему пришло в голову, не отделились ли сани с Данусей от поезда: в них, надо полагать, были запряжены самые лучшие лошади, и Юранд мог распорядиться, чтобы они ехали вперед, а нет, так оставил их, может, где-нибудь при дороге около хаты. Збышко не знал, что предпринять; во всяком случае, он хотел осмотреть все ближайшие сугробы и ольшаник, а потом вернуться и искать на дороге.

Однако в сугробах они ничего не нашли. В ольшанике перед ними сверкнули несколько раз волчьи глаза, но и там они нигде не наткнулись на следы лошадей и

людей. Луг между ольшаником и дорогой блестел теперь в лунном сиянии, и на белой унылой его пелене виднелись вдаль там и тут темные пятна; но это тоже были волки, которые при приближении людей быстро убегали.

– Ваша милость, – сказал наконец чех, – напрасно мы ездим и ищем – панны из Спыхова не было в поезде.

– На дорогу! – приказал Збышко.

– Мы не найдем её и на дороге. Я все смотрел, нет ли где на санях коробов с женскими нарядами. Ничего я не нашел. Панна осталась в Спыхове.

Мысль была правильная, и пораженный Збышко сказал:

– Дай Бог, чтобы так оно было, как ты говоришь.

А чех продолжал строить догадки:

– Старый пан не оставил бы дочку одну на санях: уезжая, он посадил бы её с собой на коня, и мы нашли бы её вместе с ним.

– Поедем туда ещё раз, – велел встревоженный Збышко.

Ему подумалось, что так оно, может, и было, как говорит чех. А что, если они плохо искали! А что, если Юранд посадил Данусю с собой на коня, а потом, когда конь пал, Дануся отошла от отца, чтобы позвать на помощь! Тогда её, может, замело снегом где-нибудь неподалеку от него.

Точно угадав его мысли, Гловач сказал:

– Тогда на санях мы нашли бы её наряды; не могла же она поехать ко двору в чем была.

Как ни справедлив был этот довод, они все же направились к иве; но ни под нею, ни на полсотни шагов в окружности ничего не нашли. Юранда княжьи слуги уже увезли в Недзбож, и кругом было совершенно пусто. Чех сказал, что собака провожатого, которая нашла Юранда, нашла бы и панночку. Збышко вздохнул тогда с облегчением, почти уверившись в том, что Дануся осталась дома. Он даже представил себе, как это могло случиться: Дануся, видно, во всем повинилась отцу, но не смогла уломать его, и он нарочно оставил её дома, а сам поехал к князю жаловаться и искать заступничества перед епископом. Подумав вдруг, что со смертью Юранда исчезли все препятствия, разделявшие его с Данусей, Збышко невольно вздохнул с облегчением и даже ощутил радость в сердце. «Юранд не хотел, да Бог захотел, – сказал про себя молодой рыцарь, – а воля Божья всегда сильнее». Теперь ему остается только ехать в Спыхов и забрать свою Дануську, а потом уж выполнить обет, что на границе легче сделать, чем в далеком Богданце. «Воля Божья, воля Божья!» – все повторял он про себя; но вдруг сразу устыдился своей радости и, обратившись к чеху, сказал:

– Жаль мне его, прямо тебе говорю.

– Народ толкует, что немцы боялись его пуще огня, – заметил оруженосец.

Через минуту он спросил:

– Теперь в замок вернемся?

– Через Недзбож, – ответил Збышко.

Они въехали в Недзбож и направились в шляхетскую усадьбу, где их принял старый хозяин, Желех. Юранда они уже не нашли, но Желех сообщил им радостную весть.

– Оттирали его тут снегом, чуть не до костей, – сказал он, – и вино вливали в рот, а потом в бане парили, там он и задышал.

– Жив? – с радостью спросил Збышко, который, услышав эту новость, забыл про все свои дела.

– Жив-то жив, да вот Бог его знает, выживет ли, ведь душа неохотно с полпути возвращается.

– Почему его увезли?

– От князя за ним прислали. Сколько было перин в доме, все на него навалили и увезли.

– О дочке он ничего не говорил?

– Он только задышал, языком ещё не владел.

– А как остальные?

– А те уж у Бога за печкой. Не попасть уж им, бедным, нынче к заутрене, разве только к той, которую сам Христос служит на небе.

– Ни один не ожил?

– Ни один. Чем в сенях-то разговаривать, зашли бы в горницу. А коли поглядеть на них хотите, так они в людской лежат у огня. Пойдемте в горницу.

Однако Збышко торопился и не захотел зайти, как ни тянул его старый Желех, который любил «побеседовать» с народом. До Цеханова было ещё довольно далеко, а Збышко рвался туда – он хотел поскорее увидеть Юранда и хоть что-нибудь узнать у него о Данусе.

Они торопливо скакали по заметенной снегом дороге. Было уже за полночь, когда они приехали, и в часовне замка как раз кончалась заутреня. До слуха Збышка донеслось мычание и блеяние: это, по старому обычаю, мычали и блеяли молящиеся в память о том, что Христос родился в яслях. После службы к Збышку вышла княгиня, лицо её было печально и тревожно.

– А Дануська? – спросила она.

– Ее нет. Разве Юранд не сказал вам – я слышал, что он остался жив?

– Боже милостивый!.. Попущение на нас! Горе-то какое! Не говорит Юранд и лежит недвижимо.

– Не бойтесь, милостивая пани. Дануська осталась в Спыхове.

– Откуда ты знаешь?

– На санях нет и следа её нарядов. Не повез же он её в одной шубке.

– Правда, истинный Бог, правда!

И глаза её блеснули радостью.

– О младенец Иисус, ныне родившийся, – воскликнула она, – не гнев, видно, твой, но милость над нами.

Однако её смутило то обстоятельство, что Юранд приехал без дочери, и она снова спросила Збышка:

– Почему же он её оставил дома?

Збышко высказал ей свои предположения. Ей показалось, что он прав, однако особых опасений его догадки у неё не вызвали.

– Юранд теперь, – заметила она, – будет обязан нам, а по правде сказать, и тебе, своим спасением, ведь ты тоже ездил его откапывать. Не сердце, а камень должно быть у него, коли и теперь он станет упираться! Это будет ему и предостережением от Бога, чтобы не смел воевать против священного таинства. Вот очнется он и заговорит, я ему тотчас скажу об этом.

– Сперва пусть очнется, мы ведь ещё не знаем, почему он не взял Дануськи. А вдруг она захворала?

– Не болтай глупостей! И так я тоскую, что нет её. Если бы она захворала, он бы её не бросил!

– Это верно! – сказал Збышко.

И они пошли к Юранду. В горнице было жарко, как в бане, и совсем светло от пылавших в камине огромных сосновых поленьев. Ксендз Вышонек бодрствовал над больным, который лежал на постели под медвежьими шкурами, бледный, с волосами, слипшимися от пота, и закрытыми глазами. Рот у рыцаря был открыт, дышал он тяжело и трудно, так что шкуры от дыхания поднимались и опускались на груди.

– Ну, как он? – спросила княгиня.

– Я влил ему в рот ковшик подогретого вина, – ответил ксендз Вышонек, – у него теперь испарина.

– Он спит или не спит?

– Может, и не спит, уж очень тяжело дышит.

– А вы не пробовали говорить с ним?

– Пробовал, да он ничего не отвечает; думаю, что до рассвета не заговорит.

– Придется ждать рассвета, – сказала княгиня.

Ксендз Вышонец настаивал, чтобы она пошла отдохнуть, но княгиня и слышать об этом не хотела. В христианских добродетелях, в том числе и в уходе за больными, ей всегда хотелось стать равной покойной королеве Ядвиге и спасти своими заслугами душу отца; поэтому она не упускала случая показать в этой с давних пор христианской стране свою набожность и тем самым изгладить в памяти народа то, что она родилась в язычестве.

Кроме того, она горела желанием узнать из уст Юранда о Данусе, судьба которой её все-таки беспокоила. Усевшись около постели больного, она стала читать молитвы, а затем задремала. Збышко был ещё не совсем здоров и к тому же страшно утомился от ночной езды, поэтому вскоре последовал её примеру, и не прошло и часа, как оба они заснули крепким сном и проспали бы, может, до утра, если бы на рассвете их не разбудил колокольчик замковой часовни.

Но этот колокольчик разбудил и Юранда; открыв глаза, старый рыцарь сел вдруг на постели и стал озираться кругом, моргая глазами.

– Слава Иисусу Христу!.. Как ваше здоровье? – спросила княгиня.

Но Юранд, видно, ещё не совсем очнулся, он воззрился на княгиню, как будто не узнавая её, и через минуту крикнул:

– Сюда! Сюда! Разрывайте сугроб!

– Господи помилуй, да ведь вы уже в Цеханове! – снова воскликнула княгиня.

Юранд наморщил лоб, точно никак не мог собраться с мыслями, и переспросил:

– В Цеханове?.. Дочка меня ждет... князь с княгиней... Дануська! Дануська!..

И, закрыв вдруг глаза, он снова повалился на постель. Збышко и княгиня испугались, не умер ли он, но грудь его в ту же минуту стала вздыматься, как в глубоком сне.

Отец Вышонец приложил палец к губам, сделал знак рукой, чтобы не будили больного, и прошептал:

– Он может проспать так целый день.

– Да, но что он говорил? – спросила княгиня.

– Он говорил, что Дануся ждет его в Цеханове, – ответил Збышко.

– Это он ещё не очнулся, – объяснил ксендз.

XXVIII

Отец Вышонец опасался, что и после нового пробуждения у Юранда может опять помрачиться сознание и он снова может надолго впасть в беспамятство. А пока ксендз пообещал княгине и Збышку дать знать, как только старый рыцарь заговорит, и, когда те ушли, тоже отправился спать. Юранд проснулся только на второй день праздника, когда время подошло к полудню; он был уже в полном сознании. Княгиня и Збышко присутствовали при его пробуждении. Юранд сел на постели, взглянул на

княгиню и, тотчас признав её, воскликнул:

– Милостивая пани... Ради Бога, неужто я в Цеханове?

– Вы и праздник проспали, – ответила княгиня.

– Снегом меня замело. Кто меня спас?

– Да вот этот рыцарь, Збышко из Богданца. Помните, в Кракове...

Юранд устремил на юношу здоровый глаз и сказал:

– Помню... А где Дануська?

– Разве её не было с вами? – с беспокойством спросила княгиня.

– Как же она могла быть со мной, коли я ехал к ней?

Збышко и княгиня переглянулись, они подумали, что Юранд всё ещё бредит.

– Что вы, опомнитесь! – сказала княгиня. – Да разве Дануси не было с вами?

– Дануси? Со мной? – переспросил в изумлении Юранд.

– Слуги ваши погибли, а её не нашли. Почему вы оставили её в Спыхове?

Юранд ещё раз переспросил, но уже с тревогой в голосе:

– В Спыхове? Да ведь она не у меня, а у вас, милостивая пани!

– Вы же прислали за нею к нам в лесной дом слуг с письмом!

– Во имя отца и сына! – воскликнул Юранд. – Я никого не присылал.

Внезапная бледность покрыла лицо княгини.

– Что такое? – спросила она. – Вы уверены, что вы в памяти?

– Милосердный боже, где моя дочь? – вскричал, срываясь с постели, Юранд.

Отец Вышонек при этих словах поспешно вышел из горницы.

– Послушайте, – продолжала княгиня, – к нам в лесной дом приехали вооруженные слуги с письмом от вас, вы просили в письме отправить к вам Дануську. Вы писали, что вас придавило балкой на пожаре... что вы чуть совсем не ослепли и хотите видеть дочь. Слуги взяли Дануську и уехали...

– Горе мне! – воскликнул Юранд. – Клянусь Богом, никакого пожара в Спыхове не было и я никого за ней не посылал!

Тут вернулся ксендз Вышонек с письмом; он протянул его Юранду и спросил:

– Это ваш ксендз писал?

– Не знаю.

– А чья печать?

– Печать моя. Что написано в письме?

Отец Вышонек стал читать письмо. Юранд слушал, хватаясь за голову; когда ксендз кончил читать, он воскликнул:

– Письмо подложное!.. Печать поддельная! Горе мне! Они похитили мою дочь и погубят её!

– Кто?

– Крестоносцы!

– Раны Божьи! Надо сказать князю! Пусть шлет послов к магистру! – воскликнула княгиня. – Иисусе милостивый! Спаси её и помилуй!..

И она с криком выбежала из горницы. Юранд сорвался с постели и стал лихорадочно натягивать одежды на свое могучее тело. Збышко сидел в оцепенении, но через минуту в ярости заскрежетал зубами.

– Откуда вы знаете, что её похитили крестоносцы? – спросил ксендз Вышонек.

– Клянусь всем святым!

– Погодите! Так оно, может, и есть. Они приезжали в лесной дом жаловаться на вас... Требовали возмездия...

– И они похитили её! – внезапно воскликнул Збышко.

С этими словами он выбежал вон, бросился в конюшню и велел закладывать сани и седлать коней, сам толком не зная, зачем он это делает. Он сознавал только одно: надо ехать спасать Данусю – и притом немедленно, и притом в самую Пруссию, – надо вырвать её из вражеских рук или погибнуть.

Вернувшись в горницу, Збышко сказал Юранду, что оружие и кони сейчас будут готовы. Он был уверен, что Юранд поедет с ним. Юноша пылал гневом, сердце его надрывалось от муки и жалости, и все же он не терял надежды, ему казалось, что вдвоем с грозным рыцарем из Спыхова они всех одолеют, смогут ударить даже на всю крестоносную рать.

В горнице, кроме Юранда, отца Вышонек и княгини, он застал князя и господина де Лорша, а также старого пана из Длуголяса, которого князь, узнав о происшедшем, тоже призвал на совет, как человека разумного, отлично знавшего крестоносцев, у которых он провел долгие годы в неволе.

– Надо действовать осторожно, чтобы горячностью не испортить дела и не погубить девушку, – говорил пан из Длуголяса. – Немедля надо жаловаться магистру; коли вы, вельможный князь, дадите послание, я поеду к нему.

– И послание я дам, и к магистру вы поедете, – сказал князь. – Клянусь Богом, не дадим погибнуть дитяти! Магистр боится войны с польским королем, он хочет, чтобы

я и брат мой Семко стали на его сторону... Нет, не по его повелению похитили крестоносцы Дануську, и он прикажет отдать её.

– А если по его повелению? – спросил ксендз Вышонек.

– Хоть он и крестоносец, однако честнее их всех, – возразил князь, – да и я уж сказал, что не стал бы он теперь гневить меня, а скорее постарался бы угодить. Могущество Ягайла – не шутка... Эх, и донимали они нас, куда могли, а теперь спохватились, что, коли ещё мы, мазуры, поможем Ягайлу, худо им придется...

– Это верно, – заговорил пан из Длуголяса. – Крестоносцы зря ничего не делают; уж коли они похитили девушку, так, думаю, для того, чтобы выбить меч из рук Юранда и либо выкуп взять, либо обменять её.

Затем он обратился к пану из Спыхова:

– Кто у вас сейчас из невольников?

– Де Бергов, – ответил Юранд.

– Он что, из вельможных?

– Должно быть, из вельможных.

Услыхав имя Бергова, господин де Лорш стал о нем расспрашивать.

– Он – родич графа Гельдернского, – сказал лотарингский рыцарь, узнав, в чем дело, – великого покровителя ордена, чья фамилия имеет перед орденом большие заслуги.

– Это правда, – заметил пан из Длуголяса, переведя присутствующим слова де Лорша. – Члены этой фамилии были в ордене большими военачальниками.

– Не зря Данфельд и де Лёве так рьяно за него вступились, – сказал князь. – Только и кричали, что надо де Бергова отпустить на волю. Клянусь Богом, они похитили девушку только для того, чтобы вырвать его из неволи.

– Ну, тогда они вернут Дануську за де Бергова, – вмешался ксендз.

– Хорошо было бы знать, где она, – сказал пан из Длуголяса. – А ну, магистр спросит: кому я должен повелеть отдать вам её? Что мы ему тогда скажем?

– Где она? – глухо сказал Юранд. – Да уж, верно, не станут они держать её на границе, побоятся, что отобьют её, увезут куда-нибудь подальше, к устью Вислы или к самому морю.

Збышко произнес:

– Найдем и отобьем.

Князь долго сдерживался, а тут вдруг вскипел:

– Из моего дома тевтонские псы её похитили и мне нанесли обиду! Пока жив, не прощу я им этого! Довольно измен! Довольно набегов! Лучше вурдалаков иметь

соседями! Ну, теперь уж магистру придется покарать этих комтуров и вернуть девушку, а ко мне послов прислать с повинной. Иначе я разошлю вицы!

Он ударил кулаком по столу и прибавил:

– Небось за мной пойдет брат мой из Плоцка, и Витовт, и вся держава короля Ягайла. Довольно потворствовать им! У святого и то лопнуло б терпенье! С меня довольно!

Все умолкли, ожидая, пока укротится гнев князя. Анна Данута очень обрадовалась, что князь так близко принял к сердцу дело Дануси; она знала, что он терпелив, но и упорен, и уж если возьмется за дело, то не отступится, пока не поставит на своем.

После этого слово взял ксендз Вышонек.

– Когда-то в ордене никто не выходил из послушания, – сказал он, – и самолично, без позволения капитула и магистра, ни один комтур ничего не смел предпринять. Поэтому Бог отдал им в руки столь обширные земли и возвысил их чуть ли не над всеми земными державами. Но теперь нет у них ни послушания, ни правды, ни чести, ни веры. Ничего, одна только алчность да злоба такая, словно не люди они, а волки. Как же им внимать повелениям магистра или капитула, когда они не внемлют велениям Бога? Сидят, как удельные князья, по своим замкам и помогают друг другу творить зло. Мы пожалуемся магистру, а они откажутся. Магистр велит им отдать девушку, а они не отдадут или скажут: «Нет её у нас, мы её не похищали». Он велит им поклясться в этом, так они и клятву дадут. Что нам тогда делать?

– Что делать? – спросил пан из Длуголяса. – Пусть Юранд едет в Спыхов. Коли крестоносцы похитили Дануську для того, чтобы выкуп получить или обменять её на де Бергова, так они должны дать знать об этом, и, уж конечно, не кому иному, как Юранду.

– Ее похитили те, что приезжали в лесной дом, – сказал ксендз.

– Тогда магистр передаст их суду или велит драться с Юрандом.

– Они со мной должны драться, – воскликнул Збышко, – я первый послал им вызов!

А Юранд отнял руки от лица и спросил:

– Кто же был в лесном доме?

– Данфельд был, старый де Лёве да двое братьев: Готфрид и Ротгер, – ответил ксендз. – Они жаловались, требовали, чтобы князь повелел вам отпустить де Бергова на волю. Но князь, как узнал от де Фурси, что немцы первые напали на вас, накричал на них, и они несолоно хлебавши убрались.

– Поезжайте в Спыхов, – сказал князь, – крестоносцы явятся туда. Они потому ещё не явились, что оруженосец этого молодого рыцаря изломал Данфельду руку, когда привез им вызов. Поезжайте в Спыхов и, когда крестоносцы приедут, дайте мне знать. Они отдадут вам дочь за де Бергова; но я им все равно не прощу: из моего дома они её похитили и мне нанесли этим обиду.

Князь опять распалился гневом, мера его терпения была и впрямь переполнена.

– Шутили, шутили они с огнем, – прибавил он через минуту, – небось теперь обожгутся.

– Да они ото всего откажутся! – повторил ксендз Вышонек.

– Коли дадут Юранду знать, что девушка у них, так уж не смогут отказаться, – с легким нетерпением возразил Миколай из Длуголяса. – И я так думаю, что они не держат её неподалеку от границы – Юранд это справедливо заметил, – они увезли её подальше, в какой-нибудь замок или вовсе к морю; но, коли будет доказано, что это их рук дело, так у магистра им небось не отвертеться.

А Юранд стал повторять странным и вместе с тем ужасным голосом:

– Данфельд, Лёве, Готфрид, Ротгер...

Миколай из Длуголяса посоветовал также послать в Пруссию бывалых и хитрых людей, которые могли бы выведать в Щитно и в Янсборке, там ли Дануся, а если её там нет, то дознаться, куда её увезли; затем князь взял свой посох и вышел отдать распоряжения, а княгиня, желая обласкать Юранда, спросила:

– Каково вам-то?

Юранд с минуту времени ничего не отвечал, словно и не слышал вопроса, а потом вдруг произнес:

– Так, будто кто мне нож всадил в старую рану.

– Уповайте на милосердие божие; вернется Дануська, только отдайте им де Бергова.

– Собственной крови я не пожалел бы.

Княгиня не знала, говорить ли ему сейчас о том, что Дануська и Збышко обвенчались, но, пораздумав, решила, что не стоит прибавлять новых огорчений к тяжким несчастьям, обрушившимся на Юранда, да и какой-то смутный страх её объял. «Они будут искать её со Збышком, пускай Збышко при случае скажет ему, – подумала она, – а то сейчас он бы совсем ума решился». Княгиня предпочла поговорить о другом.

– Вы нас не вините, – сказала она. – Приехали люди в таких же кафтанах, как у ваших слуг, с письмом, скрепленным вашей печатью; в письме говорилось, что вы больны, что свет у вас отнимается и что вы ещё раз хотите взглянуть на свою доченьку. Как же могли мы воспротивиться и не выполнить отцовскую волю?

Юранд склонился к её ногам.

– Я никого не виню, милостивая пани.

– Знайте, Бог вернет вам вашу дочь, ибо хранит её всевидящее око. Он ниспошлет ей спасение, как ниспослал на последней охоте, когда свирепый тур напал на нас и Збышко, по наитию свыше, стал на нашу защиту. Збышко сам едва не заплатился жизнью и долго хворал после этого, но спас и Дануську, и меня, за что князь дал ему пояс и шпоры. Вот видите!.. Десница господня хранит Данусю. Что и говорить, жаль её! Я думала, что она приедет с вами, что я увижу её, мою милую, а вот оно

что...

Голос задрожал у княгини, и слезы полились у неё из глаз, а Юранд, который долго сдерживался, на мгновение предался отчаянию, внезапному и страшному, как порыв бури. Он вцепился руками в свои длинные волосы и со стоном стал биться головой о стену, хриплым голосом повторяя:

– О Иисусе! Иисусе! Иисусе!

Но Збышко бросился к нему, потряс его изо всей силы за плечи и крикнул:

– В путь пора! В Спыхов!

XXIX

– Чьи это слуги? – спросил вдруг за Радзановом Юранд, который ехал все время погруженный в задумчивость, а сейчас словно очнулся ото сна.

– Мои, – ответил Збышко.

– А мои все погибли?

– Я видел их мертвых в Недзбоже.

– Нет моих старых соратников!

Збышко ничего не ответил, и они в молчании торопились дальше, чтобы поскорее добраться до Спыхова, где надеялись застать посланцев от крестоносцев. По счастью, снова трещали морозы, дороги были укатаны, и путники могли быстро подвигаться вперед. Под вечер Юранд снова заговорил, он стал спрашивать о крестоносцах, приехавших к князю в лесной дом, и Збышко рассказал ему все – и о том, как они жаловались князю, и о том, как уехали, и о том, как погиб господин де Фурси, и о том, как страшно изломал чех руку Данфельду; когда он обо всем этом рассказывал, его поразило вдруг одно обстоятельство: он вспомнил о той женщине, которая привезла от Данфельда в лесной дом целительный бальзам. На привале Збышко стал расспрашивать о ней чеха и Сандеруса; но оба они не знали толком, что с нею случилось. Им казалось, что она не то уехала вместе с людьми, присланными за Данусей, не то вскоре после них. Збышку пришло сейчас в голову, что её могли подослать для того, чтобы было кому предупредить этих людей, в случае если бы Юранд сам приехал в лесной дом. Они тогда не стали бы выдавать себя за его слуг, а вручили бы княгине вместо подложного письма от Юранда другое письмо, которое могло у них быть наготове. Все это было подстроено с дьявольской хитростью, и молодой рыцарь, который до этого знал крестоносцев только по битвам, первый раз подумал о том, что одного кулака на них мало, что надо уметь побеждать их и головой. Мысль эта неприятно его поразила, ибо тяжкое бедствие, постигшее его, и страдания пробудили в нем прежде всего жажду битвы и крови. Даже спасение Дануси представлялось ему цепью сражений или поединков; а теперь он понял, что придется, пожалуй, укротить это желание мстить и рубить головы с плеч, держать его, как медведя, на цепи и искать совершенно новых путей спасения Дануси. Подумав об этом, он пожалел, что с ним нет Мацька. Мацько был так же хитер, как и отважен. Впрочем, Збышко сам решил послать Сандеруса из Спыхова в Щитно и поручить ему разыскать эту женщину и попытаться выведать у неё, что случилось с Данусей. Он говорил себе, что если Сандерус вздумает изменить ему, это не особенно повредит делу, а если он сохранит ему верность, то может во многом помочь, так как ремесло у него было такое, что открывало ему доступ повсюду.

Однако Збышко хотел сперва посоветоваться обо всем с Юрандом и отложил это дело до приезда в Спыхов, тем более что спустилась ночь и молодому рыцарю показалось, что Юранд так устал и измучился, так был удручен горем, что уснул в своем высоком рыцарском седле. Но Юранд поник головой только потому, что его придавила беда. Видно, старый рыцарь о ней только и думал, и сердце его было полно страшных опасений, потому что он внезапно сказал:

– Лучше было мне замерзнуть под Недзбожем! Ты меня откопал из-под снега?

– Не один я, с другими.

– И на охоте ты спас мою дочь?

– Как же мог я поступить иначе?

– И теперь мне поможешь?

Сердце Збышка загорелось вдруг такой любовью к Дануське и такой ненавистью к обидчикам-крестоносцам, что он привстал в седле и сквозь зубы, так, точно ему тяжело было говорить, произнес:

– Вот что скажу я вам: коли голыми руками придется брать прусские замки, и то я захвачу их и вырву её из неволи.

Наступило минутное молчание. Под влиянием слов Збышка в Юранде заговорил его мстительный и неукротимый дух, старый рыцарь заскрежетал в темноте зубами и снова стал повторять имена:

– Данфельд, Лёве, Ротгер, Готфрид!

Он думал о том, что, если крестоносцы потребуют отдать им де Бергова, он отдаст его, если потребуют приплатить, он приплатит, даже весь Спыхов отдаст, но горе тому, кто поднял руку на его единственное дитя!

За всю ночь оба рыцаря не сомкнули глаз. Утром они едва узнали друг друга, так за одну эту ночь изменились их лица. Видя, как страдает Збышко и как ожесточилось его сердце, пораженный Юранд сказал:

– Она накинула на тебя покрывало и спасла тебя от смерти – я знаю это. Но ты её любишь?

Збышко поглядел ему прямо в глаза и смело ответил:

– Она жена моя.

Юранд осадил коня и воззрился на Збышка, изумленно моргая глазами.

– Как ты сказал? – переспросил он.

– Я сказал, что она жена моя, а я её муж.

Словно ослепленный внезапной вспышкой молнии, рыцарь из Спыхова прикрыл перчаткой глаза, но ничего не ответил; затем он тронул коня, проехал вперед и в

молчании поскакал дальше.

XXX

Но Збышко, следовавший за старым рыцарем, не мог долго выдержать, он сказал про себя: «Чем таить злобу, по мне, уж лучше пусть вспыхнет гневом». Он догнал Юранда и, тронув стремям его стремя, заговорил:

– Послушайте, как все это было. Что Дануська сделала для меня в Кракове, это вы знаете, но вы не знаете, что в Богданце мне сватали Ягенку, дочку Зыха из Згожелиц. И дядя мой, Мацько, хотел, чтобы я на ней женился, и отец её, Зых, хотел, и аббат, наш богатый родич, тоже хотел... Да что там долго рассказывать! Хорошая девушка и как лань красивая, да и приданое богатое. Но не мог я жениться на ней. Жаль мне было Ягенки, но ещё больше тосковал я по Дануське, вот и уехал я к ней в Мазовию, потому что жить без неё больше не мог, как на духу говорю вам. Вспомните, как вы сами любили, вспомните! И тогда дивиться не станете.

Збышко прервал свой рассказ, ожидая, что Юранд что-нибудь скажет; но тот молчал, и юноша стал рассказывать дальше:

– На охоте с Божьей помощью спас я от тура княгиню и Дануську. И княгиня мне сказала тогда: «Не станет теперь Юранд противиться, как же не отплатить тебе за твой подвиг?» Но без вашего родительского благословения я тогда и не помышлял на Данусе жениться. Да и как мне было жениться, когда лютей зверь помял меня так, что я жив остался только чудом. А потом, вы знаете, приехали эти люди за Дануськой, будто бы в Спыхов хотели её увезти, а я и с постели ещё не вставал. Думал, что никогда уж её не увижу. Думал, что возьмете вы её в Спыхов да и отдадите там за кого-нибудь замуж.

Ведь в Кракове вы мне не дали согласия... Ну, а я уж думал, что смерть моя близко. Господи боже мой, что это была за ночь! Одна тоска да печаль! Думал я, уедет она, и закатится для меня красное солнышко. Вы поймите любовь мою и муку мою поймите...

На мгновение у Збышка голос задрожал от слез, но сердца он был мужественного и совладал с собою.

– Эти люди, – продолжал он, – за нею приехали вечером и тотчас хотели её увезти; но княгиня велела им ждать до утра. Тут-то меня и осенило: поклонись в ноги княгине и проси её отдать тебе Дануську. Думал: помру, хоть одна мне будет утеха. Вспомните, что Дануська должна была уехать, а я оставался больной и ждал смерти. Не было у нас времени просить вашего согласия. Князь уехал уже из лесного дома, и княгиня не знала, на что решиться, не с кем было ей посоветоваться. И все же смиловались они надо мною с ксендзом, и обвенчал нас отец Вышонек с Дануськой... Божья власть, божий закон...

Юранд прервал его глухим голосом:

– И Божья кара.

– За что же карать нас? – спросил Збышко. – Вы только про то подумайте, что до венца прислали людей за Дануськой, и хоть повенчал бы нас ксендз, хоть нет, все едино её увезли бы.

Но Юранд снова ничего не ответил и ехал вперед угрюмый, замкнувшись в себе, и

лицо у него стало каменное, так что Збышко, который сперва почувствовал облегчение, как всегда, когда человек откроет тайну, которую долго хранил, испугался в душе и подумал с тревогой, что старый рыцарь затаил теперь гнев и что отныне они будут друг другу чужими, будут врагами.

Гнетущая тоска легла ему на сердце. С того времени, как уехал он из Богданца, никогда ещё не было ему так тяжело. Он думал теперь, что нет никакой надежды на примирение с Юрандом и, что ещё хуже, на спасение Дануськи, что все пошло прахом и что впереди его ждут ещё горшие беды, ещё горшая ждет его участь. Но такая уж была его натура, что недолго он предавался унынию, тотчас овладели им гнев, желание спорить, сражаться. «Он не хочет дать своего согласия, – сказал про себя Збышко об Юранде, – что ж, коли рознь, так рознь, будь что будет!» Он готов был в эту минуту схватиться даже с Юрандом. Одно им владело желание – сразиться с кем угодно и за что угодно, только бы что-нибудь делать, только бы дать выход своему гневу, горьким своим сожалениям, только бы найти хоть какое-нибудь облегчение.

Тем временем они подъехали к корчме на распутье, которая называлась «Светлячком»; возвращаясь от князя в Спыхов, Юранд всегда останавливался в этой корчме, чтобы дать отдохнуть людям и лошадям. Он невольно сделал это и сейчас. Через минуту оба они со Збышком уже входили в отдельную комнату. Вдруг Юранд остановился перед молодым рыцарем и, впившись в него глазами, спросил:

– Так это ты ради неё сюда приехал?

Тот жестко ответил:

– Думаете, я стану отказываться?

И устремил на Юранда глаза, готовый на вспышку гнева ответить такой же вспышкой. Но лицо старого воина выражало не злобу, а одну лишь бесконечную печаль.

– И дочку мою ты спас? – спросил он через минуту. – И меня откопал из-под снега?

Збышко с изумлением посмотрел на старого рыцаря, опасаясь, не мутится ли у него ум. – Юранд повторял те же вопросы, которые уже задавал ему раньше.

– Присядьте, – сказал юноша, – я вижу, вы ещё очень слабы.

Но Юранд положил Збышку руки на плечи и вдруг крепко прижал изумленного юношу к груди; опомнившись, тот обнял старого рыцаря, и они долго сжимали друг друга в объятиях, связанные общей бедою и общей горькой участью.

Когда они выпустили друг друга из объятий, Збышко обхватил ещё руками колени старого рыцаря и со слезами на глазах стал целовать ему руки.

– Вы не станете больше противиться? – спросил он.

– Я потому противился, – ответил Юранд, – что обещал её Богу.

– Вы обещали её Богу, а Бог мне. Такова его воля!

– Такова его воля! – повторил Юранд. – Но теперь нам надо молить его о милосердии.

– Кому же Бог поможет, как не отцу, который ищет свое дитя, как не мужу, который ищет свою жену? Не станет же он помогать разбойникам.

– А все-таки её похитили, – возразил Юранд.

– Так вы отдадите крестоносцам де Бергова.

– Я отдам все, чего они пожелают.

Но при мысли о крестоносцах в нем проснулась вдруг старая ненависть, злое чувство, как пламя, охватило его, и он прибавил сквозь зубы:

– А в придачу они получают то, чего не желают.

– Я тоже поклялся отомстить им, – произнес Збышко, – но сейчас нам надо спешить в Спыхов.

И он стал торопить с отъездом. Когда слуги покормили коней и сами немного отогрелись в тепле, поезд снова тронулся в путь, хотя на дворе уже сгущались сумерки. Путь предстоял ещё дальний, к ночи крепчал мороз. Юранд со Збышком ещё не совсем поправились и ехали поэтому на санях. Збышко рассказал старому рыцарю про своего дядю Мацька, про то, как скучает он без старика и как жалеет, что нет его с ними, потому что им очень пригодились бы его храбрость и, главное, хитрость, которая в борьбе с такими врагами нужна, пожалуй, больше, чем храбрость. Затем он обратился к Юранду и спросил у него:

– А вы хитрый?.. Я что-то совсем не умею хитрить.

– Да и я не умею, – ответил Юранд. – Не хитростью воевал я с ними, а вот этой рукой, а направляла её та мука, что принял я от них.

– Да, я понимаю, – сказал молодой рыцарь, – я понимаю, потому что люблю Дануську и её похитили у меня. Если только, упаси Бог...

Он не кончил, ибо при одной мысли о том, что может случиться, почувствовал, что не человеческое, а волчье сердце бьется у него в груди. Некоторое время они молча ехали по белой, залитой лунным светом дороге; но вот Юранд заговорил словно с самим собою:

– Ну, было бы за что мстить мне, я бы ничего не сказал! Ей-ей, не за что было! Я с ними дрался в открытом бою, когда с посольством от нашего князя ходил к Витовту; но дома я был их добрым соседом... Бартош Наленч[79] захватил сорок рыцарей, когда те ехали к ним, заковал в цепи и вверг в подземелье в Козмине[80]. Полвоза денег пришлось крестоносцам отвалить за них. А когда ко мне заезжал по дороге немец, так я его как рыцарь рыцаря принимал и не отпускал без даров. Не раз и крестоносцы наезжали ко мне через болота. Не терпели они от меня никаких обид, а такое мне учинили, чего я и сейчас самому лютому своему врагу не учинил бы.

Страшные воспоминания терзали душу Юранда, голос его оборвался.

– Одна она была у меня, – продолжал он через минуту со стоном, – как ярочка, как одно сердце в груди, а они, точно собаку, на веревку её привязали, и стала она

как полотно на веревке у них... А теперь вот дочку... О господи Иисусе!

Снова воцарилось молчание. Збышко поднял к луне свое молодое лицо, на котором изобразилось изумление, затем бросил взгляд на Юранда и спросил:

– Отец! Они заслуживают возмездия, но не лучше ли было бы им заслужить любовь людей? Почему они чинят столько обид всем народам и всем людям?

Юранд развел безнадежно руками и глухо ответил:

– Не знаю...

Некоторое время Збышко ещё думал над этим; но через минуту мысли его вернулись к Юранду.

– Говорят, вы жестоко им отомстили, – сказал он.

Юранд подавил в сердце боль, совладал с собою и снова заговорил:

– Я поклялся отомстить... И обещал Богу, коли поможет он мне в этом, отдать ему мое единственное дитя. Вот почему не дал я тебе своего согласия. А теперь уж не знаю: воля ли на то была Божья, гнев ли божий навлекли вы на себя своим поступком.

– Нет! – возразил Збышко. – Я говорил уже вам, что эти собаки все равно схватили бы её, хоть бы мы и не были с нею обвенчаны. Бог принял ваш обет, а Дануську мне отдал, ведь без его воли мы бы ничего не смогли сделать.

– Всякий грех противен воле Божьей.

– Грех, а не таинство. Таинство – это дело Божье.

– То-то оно и есть, ничего теперь не поделаешь.

– Вот и слава Богу! Вы уж больше не сокрушайтесь, ведь никто не поможет вам так расправиться с этими разбойниками, как я. Вот увидите! За Дануську мы своим чередом отплатим, а, коли жив ещё хоть один из тех, кто схватил тогда вашу покойницу, так вы его мне отдайте. Сами тогда увидите!

Но Юранд покачал головой.

– Нет, – угрюмо возразил он, – никого из них в живых не осталось...

Некоторое время слышно было только фыркание лошадей и приглушенный топот копыт по накатанной дороге.

– Однажды ночью, – продолжал Юранд, – я услышал какой-то голос, словно в стене: «Довольно мстить!» Но я не послушался, потому что это не был голос моей покойницы.

– Чей же это мог быть голос? – спросил с тревогой Збышко.

– Не знаю. В Спыхове часто слышны голоса, а порою и стоны, это оттого, что много крестоносцев умерло у меня на цепях в подземелье.

– А что вам ксендз говорит?

– Ксендз освятил городок и тоже сказал мне, что довольно уж мстить; но я не мог с ним согласиться. Слишком много обид я нанес крестоносцам, и потом они сами захотели мне отомстить. Засады устраивали, вызывали на поединки. Так было и на этот раз. Майнегер и де Бергов первые меня вызвали.

– Вы когда-нибудь брали выкуп?

– Никогда. Из тех, кого я захватил, де Бергов первый выйдет живым.

Разговор оборвался, с широкой дороги они свернули на узкий извилистый проселок, местами спускавшийся в лесную лощину, полную сугробов, по которым трудно было проехать. Весной или летом во время дождей эта проселочная дорога становилась, наверно, совсем непроезжей.

– Мы уже к Спыхову подъезжаем? – спросил Збышко.

– Да, – ответил Юранд. – Придется ещё лесом ехать, а там начнутся топи, посреди которых стоит городок... За топиями тянутся луга и сухие поля; но до городка можно доехать только по плотине. Немцы не раз хотели подобраться ко мне, но не смогли, и много костей их тлеет по лесным оврагам.

– И попасть-то к вам нелегко, – сказал Збышко. – А если крестоносцы пошлют к вам людей с письмами, как же те к вам проберутся?

– Они не раз уже присылали своих посланцев, есть у них люди, которые знают дорогу.

– Дай-то Бог застать их в Спыхове, – сказал Збышко.

Это желание исполнилось раньше, чем думал молодой рыцарь: не успели они выехать из лесу на открытую равнину, где среди топей лежал Спыхов, как увидели впереди двух всадников и низкие сани, в которых сидели три темные фигуры.

Ночь была очень ясная, и на белой пелене снега вся группа была видна совершенно явственно. Сердце забило у Юранда и Збышка: кто же мог ехать ночью в Спыхов, как не посланцы крестоносцев?

Збышко велел вознице гнать лошадей, и вскоре они подъехали так близко, что их услышали оба всадника, охранявшие, видно, седоков на санях; они повернулись и, скинув с плеч самострелы, крикнули:

– Wer da?[81]

– Немцы, – шепнул Юранд Збышку.

Затем он громко сказал:

– Это мое право спрашивать, а ты должен отвечать. Кто вы такие?

– Путники.

- Какие путники?
- Пилигримы.
- Откуда?
- Из Щитно.
- Они! – снова шепнул Юранд.

Тем временем их сани поравнялись с санями немцев, и в ту же минуту впереди показалось шесть всадников. Это была спыховская сторожевая охрана, которая день и ночь стерегла плотину, ведущую к городку. Рядом с конями бежали большие и страшные собаки, похожие на волков.

Узнав Юранда, слуги приветствовали его с нескрываемым удивлением – они никак не думали, что господин их вернется так рано. Юранд не заметил их, все его внимание было поглощено посланцами.

- Куда вы едете? – снова спросил он, обращаясь к ним.
- В Спыхов.
- Чего вам там нужно?
- Это мы можем сказать только господину.

Юранд хотел уже было сказать: «Я – господин Спыхова», – но сдержался, вспомнив, что разговор не может состояться на людях. Спросив ещё раз у посланцев, есть ли у них какие-нибудь письма, и получив ответ, что им велено передать все на словах, он приказал скакать вперед. Збышко сгорал от нетерпения, ему так хотелось поскорее узнать о Данусе, что он просто ничего не видел. Он изнемогал, пока их пропускала сторожевая охрана, ещё два раза преградившая им путь; он изнемогал, пока опускали мост надо рвом, за которым на валу виднелся высокий острог. Хотя раньше ему не раз хотелось взглянуть на городок, пользовавшийся такой зловещей славой, городок, при одном воспоминании о котором немцы крестились, однако сейчас он ничего не замечал, его внимание приковали посланцы крестоносцев, от которых он надеялся узнать, где же Дануся и когда она может выйти на волю. Он и в мыслях не имел, что через минуту его ждет глубокое разочарование.

Кроме всадников, приданных для охраны, и возницы, в посольстве из Щитно было два человека: та самая женщина, которая в свое время привозила в лесной дом целительный бальзам, и молодой пилигрим. Женщины Збышко не мог узнать, так как в лесном доме он её не видал, а в пилигриме он сразу заподозрил переодетого оруженосца. Юранд тотчас ввел обоих в угловую комнату и остановился перед ними, могучий и страшный в отблесках пламени, которое падало на него от пылавшего камина.

- Где моя дочь? – спросил он.

Очутившись перед лицом грозного мужа, немцы испугались.

Как ни дерзок был с виду пилигрим, но и он дрожал от страха как осиновый лист, а

у женщины просто подкашивались ноги. Она перевела взгляд с Юранда на Збышка, затем на лоснящуюся лысую голову ксендза Калеба и снова обратила глаза на Юранда, как бы вопрошая, что же делают тут эти двое.

– Господин, – ответила она наконец, – мы ничего не можем сказать вам об этом; но нас прислали к вам по важному делу. Тот, кто послал нас к вам, строго-настроено приказал нам говорить с вами без свидетелей.

– У меня нет от них тайн, – произнес Юранд.

– Но они есть у нас, благородный господин, – возразила женщина, – и если вы скажете им остаться, то нам придется только попросить вас позволить нам завтра утром уехать отсюда.

Гнев изобразился на лице Юранда, не терпевшего противоречий. Его белесые усы зловеще встопорщились; вспомнив, однако, что речь идет о Данусе, он совладал с собою. Збышко желал только, чтобы разговор состоялся как можно скорее, и, будучи уверен, что Юранд ему обо всем расскажет, промолвил:

– Что ж, коли так, оставайтесь сами.

И вышел вон с ксендзом Калебом; не успел он, однако, войти в светлицу, увешанную щитами и оружием, добытыми Юрандом в бою, как к нему приблизился Гловач.

– Милостивый пан, – сказал он, – это та самая женщина.

– Какая женщина?

– Та, которая привозила от крестоносцев герцинский бальзам. Мы с Сандерусом её тотчас признали. Она, видно, приезжала выслеживать и наверно знает, где панночка.

– И мы об этом дознаемся, – ответил Збышко. – Может, вы знаете и этого пилигрима?

– Нет, – сказал Сандерус, – но не покупайте, пан, у него отпущений, это не настоящий пилигрим. В пытку бы его, так небось много можно было бы выведать.

– Погодите! – сказал Збышко.

Между тем монахиня, как только дверь угловой комнаты захлопнулась за Збышком и ксендзом Калебом, торопливо шагнула к Юранду и прошептала:

– Вашу дочь похитили разбойники.

– С крестом на плащах?

– Нет. Но, благословение Богу, благочестивые братья отбили её у разбойников, и теперь она у них.

– Где она, я вас спрашиваю?

– Под опекой благочестивого брата Шомберга, – скрестив на груди руки и смиренно склонив голову, ответила монахиня.

Услышав страшное имя палача детей Витовта, Юранд побледнел как полотно; он опустился на скамью, закрыл глаза и отер рукою холодный пот, выступивший на лбу.

Когда пилигрим, который всё ещё не мог подавить свой страх, увидел, что творится с Юрандом, он подбоченился, развалился на скамье и, вытянув ноги, бросил на рыцаря взгляд, исполненный надменности и пренебрежения.

Воцарилось долгое молчание.

– Брат Маркварт тоже помогает брату Шомбергу приглядывать за ней, – продолжала женщина. – Надзор строгий, никто панночку не обидит.

– Что я должен сделать, чтобы мне её отдали? – спросил Юранд.

– Смириться перед орденом! – высокомерно ответил пилигрим.

Услышав эти слова, Юранд встал, подошел к немцу и, наклонившись к нему, произнес сдавленным, страшным голосом:

– Молчать!..

Пилигрим снова испугался. Он знал, что может грозить Юранду, что может сказать такие слова, которые заставят его укротить свой гнев и смириться; но испугался, что не успеет слово вымолвить, как случится нечто страшное; уставив округлившиеся глаза в грозное лицо спыховского владыки, он умолк и так и замер от ужаса, только нижняя челюсть затряслась у него ещё сильнее.

– Письмо у вас есть? – обратился Юранд к монахине.

– Нет, господин. У нас нет письма. Нам велено передать вам все на словах.

– Говорите!

Она ещё раз повторила все, что успела уже рассказать, как бы желая, чтобы Юранд раз навсегда запомнил её слова:

– Брат Шомберг и брат Маркварт стерегут панночку, так что вы укротите свой гнев... Хоть и много лет вы наносили ордену тяжкие обиды, но с нею ничего худого не случится, ибо братья хотят ответить вам добром на зло, если вы удовлетворите их справедливые требования.

– Чего они требуют?

– Они требуют, чтобы вы отпустили на волю господина де Бергова.

Юранд вздохнул с облегчением.

– Я отдам им де Бергова, – ответил он.

– И других невольников, которых вы держите в Спыхове.

– У меня два оруженосца Майнегера и де Бергова, а также их слуги.

– Вы должны отпустить их на волю и вознаградить за то, что держали в темнице.

– Упаси Бог, чтобы я стал торговаться за родную дочь.

– Благочестивые братья тоже так думали, – сказала женщина, – но это ещё не все, что они велели вам передать. Вашу дочь похитили какие-то люди, наверно, разбойники и, наверно, затем, чтобы взять с вас богатый выкуп... Бог помог братьям отбить её у них, и сейчас они одного только хотят – чтобы вы отпустили на волю товарища их и гостя. Но братья знают, да и вы, господин, знаете, как ненавидят в этой стране рыцарей креста и как несправедливо осуждают их даже за самые благочестивые поступки. Братья уверены, что, если народ дознается, что ваша дочь у них, их сразу заподозрят в том, будто это они похитили её, и таким образом за доброе дело на них будут только возводить клевету и посылать жалобы... Да! Здешний народ, злобный и злокозненный, не раз уже платил им так за добро, отчего благочестивый орден, славу которого братья должны блюсти, терпел всяческое поношение. Поэтому они ставят ещё одно условие: вы сами должны объявить своему князю и всему жестокому рыцарству вашего края, что не рыцари креста, а разбойники похитили вашу дочь, – а так оно и есть на самом деле, – и что выкуп за неё вы должны платить разбойникам.

– Это правда, – сказал Юранд, – что разбойники похитили мою дочь и что выкуп я должен платить разбойникам...

– Вы всем должны так говорить. Если только хоть один человек, хоть одна живая душа узнает, что вы договаривались с братьями, или хоть одна жалоба будет послана магистру или капитулу, могут встретиться тяжелые препятствия...

Беспокойство изобразилось на лице Юранда. В первую минуту ему показалось естественным, что комтуры, боясь ответственности и худых толков, требуют сохранения тайны, но теперь у него возникло подозрение, не кроется ли тут и другая причина, какая именно – он не мог понять, и поэтому его объял такой страх, какой обнимает самых храбрых людей, когда опасность грозит не им самим, а тем, кто близок им, кого они горячо любят.

Он решил попытаться выведать ещё что-нибудь у монахини.

– Комтуры хотят сохранить все в тайне, – сказал он, – но как же это сделать, если за дочь я должен отпустить де Бергова и других невольников?

– Вы скажете, что взяли выкуп за господина де Бергова, чтобы было чем заплатить разбойникам.

– Никто этому не поверит, я никогда не брал выкупа, – мрачно возразил Юранд.

– Но ведь дело никогда не касалось вашей дочери, – прошипела монахиня.

Снова воцарилось молчание; затем пилигрим, решив, что Юранд теперь должен смириться, набрался храбрости и сказал:

– Такова воля братьев Шомберга и Маркварта.

– Вы скажете, – продолжала монахиня, – что пилигрим, который приехал со мной, привез вам выкуп, а мы тотчас уедем отсюда с благородным господином де Берговым и невольниками.

– Это как же? – нахмурился Юранд. – Неужели вы думаете, что я отдам вам невольников, прежде чем вы вернете мне дочь?

– Вы можете поступить иначе. Вы можете сами поехать в Щитно, куда её привезут вам братья.

– Я? В Щитно?

– Но ведь по дороге сюда её снова могут похитить разбойники, и тогда подозрение опять падет на благочестивых рыцарей; они хотят поэтому передать её вам из рук в руки.

– А кто мне поручится, что я вернусь назад, коли сам полезу в волчью пасть?

– Тому порукой добродетели братьев, их праведность и благочестие.

Юранд заходил по горнице; он уже понимал, что тут кроется предательство, и боялся его, но в то же время чувствовал, что крестоносцы могут предъявить ему любые условия и что он перед ними бессилён.

Но тут ему, видно, пришла в голову какая-то мысль; он неожиданно остановился перед пилигримом, пристально на него поглядел, а затем обратился к монахине и сказал:

– Хорошо. Я поеду в Щитно. Вы и этот человек в одежде пилигрима останетесь здесь до моего возвращения, а потом уедете с де Берговым и невольниками.

– Вы не хотите верить монахам, – вмешался пилигрим, – как же они могут поверить вам, что, вернувшись, вы отпустите нас и де Бергова?

Юранд побледнел от негодования; наступила страшная минута, казалось, он вот-вот схватит пилигрима за грудь и придавит его коленом. Однако он смирил свой гнев, глубоко вздохнул и проговорил медленно и раздельно:

– Кто бы ты ни был, не злоупотребляй моим терпением, оно может истощиться.

А пилигрим обратился к монахине:

– Говорите, что вам приказано

– Господин, – сказала она, – если бы вы поклялись на мече рыцарской чести, мы не посмели бы не поверить вам; но не приличествует вам давать клятву людям простого звания, да и нас прислали сюда не за вашей клятвой.

– Зачем же вас прислали?

– Братья сказали, что вы должны, не говоря никому ни слова, явиться в Щитно с господином де Берговым и невольниками.

При этих словах Юранд медленно отвел назад руки, скрючил пальцы, как хищная птица когти, и, наклонившись к женщине, точно хотел сказать ей что-то на ухо, произнес:

– А вам не говорили, что я прикажу вас и Бергова колесовать в Спыхове?

– Ваша дочь во власти братьев и под опекой Шомберга и Маркварта, – с ударением ответила монахиня.

– Разбойников, отравителей, палачей! – взорвался Юранд.

– Которые сумеют отомстить за нас и которые сказали нам перед отъездом: «Что ж, не захочет он выполнить всех наших приказаний, так лучше тогда девушке умереть так, как умерли дети Витовта». Выбирайте!

– И поймите, что вы во власти комтуров, – прибавил пилигрим. – Они не хотят нанести вам обиду, и комтур из Щитно дает слово, что вы беспрепятственно выедете из его замка; но они хотят, чтобы за все содеянное вами вы пришли поклониться плащу крестоносцев и молить победителей о пощаде. Они хотят простить вас, но сперва хотят согнуть вашу гордую выю. Вы называли их предателями и клятвопреступниками, они хотят, чтобы вы вверили себя им. Они вернут свободу вам и вашей дочери, но вы должны молить их об этом. Вы унижали их, а должны поклясться, что рука ваша никогда не поднимется на белый плащ.

– Этого требуют комтуры, – прибавила женщина, – а с ними Маркварт и Шомберг.

На минуту воцарилась мертвая тишина. Казалось, только приглушенное эхо с ужасом повторяет где-то над головой: «Маркварт... Шомберг». Из-за окон долетали оклики лучников Юранда, которые стояли на страже на валах около острога.

Пилигрим и монахиня то переглядывались, то смотрели на Юранда, который долго сидел, прислонясь к стене, неподвижный, с лицом, затененным связкой шкур, висевшей у окна. Одна только мысль владела им: если он не сделает того, чего требуют крестоносцы, они задушат его дочь, а если сделает, то, может, все равно не спасет ни Дануси, ни себя. Он не знал, что делать, не видел никакого выхода. Он чувствовал только беспощадную силу, которая придавила его. Ему уже виделась железные руки крестоносца на шее Дануси. Он хорошо знал рыцарей креста и ни минуты не сомневался, что они убьют её, зароят на замковом валу, а потом от всего откажутся, от всего отрекутся, и кто же тогда сможет доказать, что это они похитили её. Правда, в его руках посланцы, он может отвезти их к князю и под пыткой заставить сознаться во всем; но в руках крестоносцев Данусю, и они тоже могут замучить её. Ему чудилось, что дочь протягивает к нему издали руки, взывая о помощи. Если бы знать наверняка, что она в Щитно, можно было бы этой же ночью двинуться к границе, напасть на немцев, не ожидающих набега, захватить замок, вырезать стражу и освободить Данусю. Но её могло не быть в Щитно, даже наверняка не было там. В этот миг в голове его, как молния, сверкнула ещё одна мысль: а что, если схватить женщину и пилигрима и отвезти их прямо к великому магистру? Может, магистр заставит их сознаться и прикажет комтурам отдать дочь? Однако эта мысль сверкнула, как молния, и тотчас погасла... Ведь эти люди могли сказать магистру, что они приехали выкупить Бергова и ни о какой девушке ничего не знают. Нет! Этот путь никуда не мог привести, но какой же тогда избрать? Он подумал, что, если поедет в Щитно, его закуют в цепи и ввергнут в подземелье, а Дануси все равно не отпустят, чтобы не открылось, что это они похитили её. А меж тем смерть грозит его единственному дитяти, смертельная опасность нависла над последней дорогой головой!.. В конце концов мысли его стали путаться и мука стала такой невыносимой, что он впал в оцепенение. Он сидел неподвижно, онемелый, словно высеченный из камня. Если бы он захотел подняться в эту минуту, то не смог бы этого сделать.

Посланцам наскучило ждать, монахиня поднялась и сказала:

– Скоро уж рассвет. Позвольте нам, господин, удалиться, мы хотим отдохнуть.

– И подкрепиться после дальней дороги, – прибавил пилигрим.

Они поклонились Юранду и вышли вон.

А тот все сидел неподвижно, словно объятый сном или мертвый.

Через минуту дверь отворилась, и на пороге появился Збышко, а за ним ксендз Калев.

– Что же посланцы? Чего они хотят? – спросил молодой рыцарь, приближаясь к Юранду.

Юранд вздрогнул, но ничего не ответил, только заморгал глазами, как человек, пробудившийся от крепкого сна.

– Уж не больны ли вы! – воскликнул ксендз Калев, который хорошо знал Юранда и заметил, что с ним творится что-то неладное.

– Нет, – ответил Юранд.

– А что же с Дануськой? – допытывался Збышко. – Где она, что они вам сказали? С чем они приехали?

– С вы-ку-пом, – медленно ответил Юранд.

– С выкупом за Бергова?

– За Бергова...

– Как за Бергова? Что с вами?

– Ничего...

Но в голосе его звучали такие непривычные ноты и такое бессилие, что Збышко и ксендз встревожились, тем более что Юранд говорил не об обмене Бергова на Данусю, а о выкупе.

– Милосердный боже! – воскликнул Збышко. – Где Дануська?

– Нет её у кре-сто-нос-цев, нет! – сонным голосом ответил Юранд.

И внезапно, как мертвый, повалился со скамьи наземь.

XXXI

На другой день в полдень посланцы повидались с Юрандом, а спустя некоторое время уехали, захватив с собой де Бергова, двоих оруженосцев и человек двадцать других невольников. После этого Юранд позвал отца Калеба и продиктовал ему письмо князю, в котором сообщал, что Данусю похитили вовсе не крестоносцы, что ему удалось открыть, где она, и что в ближайшие дни он надеется её освободить. То же

самое он сказал и Збышку, который с прошлой ночи не мог прийти в себя от изумления и просто обезумел от тревоги. Старый рыцарь не хотел отвечать на его вопросы, велел ему терпеливо ждать и ничего не предпринимать для спасения Дануси, так как в этом нет пока надобности. Под вечер он снова заперся с ксендзом Калобом, велел ему прежде всего написать свою духовную, поисповедался и причастился, а затем призвал Збышка и старого молчаливого Толиму, который был его товарищем во всех набегах и битвах, а в мирное время хозяйничал в Спыхове.

– Вот это, – сказал Юранд старому вояке Толиме таким громким голосом, как будто тот был туг на ухо, – муж моей дочери, с которой он обвенчался при княжеском дворе, испросив на то мое согласие. После моей смерти он будет здесь господином, владельцем городка, земель, лесов, лугов, людей и всех спыховских богатств...

Толима очень удивился, повернул свою квадратную голову в сторону Збышка, затем поглядел на Юранда, однако ничего не сказал, потому что вообще говорил очень мало, только поклонился Збышку и обнял руками его колени.

– Эту мою последнюю волю, – продолжал Юранд, – записал ксендз Калоб, и внизу под ней стоит моя восковая печать; ты же должен свидетельствовать, что слышал все от меня и что я велел слугам повиноваться молодому рыцарю, как они мне повиновались. Ты ему покажешь всю добычу и деньги, что хранятся в моей сокровищнице, и до самой смерти будешь верно служить ему и во время мира, и на войне. Слышишь?

Толима приставил ладони к ушам и кивнул головой, затем, по данному Юрандом знаку, поклонился и вышел, а рыцарь обратился к Збышку и сказал с ударением:

– Сокровищами, что у меня хранятся, можно удовлетворить самого алчного и выкупить за них не одного, а сотню невольников. Помни об этом.

Но Збышко спросил:

– А почему вы уже поручаете мне Спыхов?

– Я поручаю тебе больше, чем Спыхов, – родную дочь.

– Да и час смерти сокрыт от нас, – заметил ксендз Калоб.

– Да, сокрыт, – печально повторил Юранд. – Совсем недавно замело меня снегом, и хоть Бог меня спас, но нет у меня прежней силы...

– Милосердный боже! – воскликнул Збышко. – Что с вами случилось, почему вы так изменились со вчерашнего дня и говорите охотней не про Данусю, а про смерть? Милосердный боже!

– Вернется Дануська, вернется, – ответил Юранд. – Господь хранит её. Но если только она вернется... Послушай... Увези её в Богданец, а в Спыхове оставь хозяйничать Толиму. Он человек верный, а тут плохие соседи... Там её на веревку не привяжут... Там безопаснее...

– Да что это вы! – воскликнул Збышко. – Словно с того света говорите? Что над вами стряслось?

– Да я уже чуть не попал на тот свет, а теперь вот чую, что-то расхварываюсь, и

одно меня только заботит: доченька моя, одна ведь она у меня. Да вот ты, я ведь знаю, что ты её любишь...

Он оборвал свою речь и, вынув из ножен короткий меч, называемый мизерикордией, повернул его рукоятью к Збышку:

– Поклянись мне ещё раз на этом кресте, что никогда её не обидишь и верно будешь любить...

У Збышка слезы навернулись на глаза. Он бросился тотчас на колени и, положив палец на рукоять, воскликнул:

– Клянусь Богом, что не стану обижать её и верно буду любить!

– Аминь! – произнес ксендз Калеп.

Юранд вложил в ножны мизерикордию и раскрыл Збышку объятия.

– Ведь и ты сын мой!..

И они разошлись, ибо надвинулась уже темная ночь, а они вот уже несколько дней почти совсем не отдыхали. Однако на другой день Збышко поднялся чем свет; он так испугался вчера, не захворал ли в самом деле Юранд, что решил узнать, как старый рыцарь провел ночь.

В дверях горницы Юранда он столкнулся с Толимой, который как раз выходил оттуда.

– А как пан, здоров? – спросил Збышко.

Толима поклонился, приставил ладонь к уху и переспросил:

– Что вы говорите, ваша милость?

– Я спрашиваю, как здоровье пана? – повторил погромче Збышко.

– Пан уехал.

– Куда?

– Не знаю. В доспехах...

XXXII

Чуть забрезжил свет и забелелись деревья, кусты и глыбы известняка, разбросанные там и тут по полям, когда нанятый провожатый, шедший рядом с конем Юранда, остановился и сказал:

– Позвольте мне дух перевести, пан рыцарь, а то я совсем запыхался. Оттепель и туман, но уже недалеко...

– Доведи меня до дороги, а потом вернешься, – ответил Юранд.

– Дорога будет направо, за леском, а с холма вы тотчас увидите замок.

Мужик издрог от утренней сырости и стал «греться», то есть хлопать себя по бокам

руками; ещё больше утомившись, он присел на камень.

– А ты не знаешь, комтур в замке? – спросил Юранд.

– Где же ему быть, коли он хворает?

– Что с ним?

– Народ толкует, будто польские рыцари его поколотили, – ответил старый мужик.

В голосе его определенно слышалось удовлетворение. Он был подданным крестоносцев, но превосходство польских рыцарей радовало его мазурское сердце.

Через минуту он прибавил:

– Что говорить! Сильны наши паны, но с поляками им круто приходится.

Однако он тотчас покосился на рыцаря и, как бы желая увериться в том, что ему не будет худа за неосторожное слово, сорвавшееся с языка, сказал:

– Вы, пан, по-нашему говорите, вы не немец?

– Нет, – ответил Юранд. – Однако веди меня дальше.

Мужик поднялся и снова зашагал рядом с конем. По дороге он то и дело совал руку в суму, доставал горсть немолотой ржи и всыпал себе в рот. Утолив таким образом голод, он стал объяснять Юранду, почему ест сырое зерно, хотя тот был слишком поглощен своим несчастьем и своими мыслями и ничего не заметил.

– И на том спасибо, – говорил мужик. – Плохое наше житье под немецкими панами. Обложили нас податями, а помольную плату такую дерут, что бедному человеку приходится, как скотине, жевать зерно с мякиной. А коли найдут в хате жернова, так и мужика изобьют, и весь скарб у него заберут, да что там, бабам и детям и то не дадут спуска... Не боятся они ни Бога, ни ксендза. Вон вельборгский ксендз стал попрекать их за это, так они его на цепь посадили. Ох, плохо нам под немцами! Уж коли удастся намолоть мучицы между двух камней, так и эту горсточку бережем к святому воскресенью, а в пятницу как птицы небесные кормимся, но и на том спасибо, а то перед новью и того не станет. Рыбу ловить нельзя... Зверя бить тоже... Не так, как в Мазовии.

Так жаловался этот подданный крестоносцев, говоря то ли с самим собой, то ли с Юрандом. А тем временем они миновали пустошь, покрытую заснеженными глыбами известняка, и вступили в лес, который в предутреннем свете казался седым. Из лесу потянуло на них холодом и пронизывающей сыростью. Уже совсем рассвело. Если бы не встал день, Юранду трудно было бы пробираться по узкой лесной дорожке, тянувшейся по косоугору, на которой его рослый боевой конь местами едва протискивался между деревьями. Но лес вскоре кончился, и спустя немного времени старый рыцарь поднялся со своим провожатым на вершину белого холма, по которому бежала проезжая дорога.

– А вот и дорога! – сказал мужик. – Теперь вы, пан, сами доберетесь.

– Доберусь, – ответил Юранд. – Возвращайся домой Он сунул руку в кожаный кошель, притороченный спереди к седлу, достал из него серебряную монету и подал

проводитому. Крестьянин, привыкший получать от местных крестоносцев не подарки, а палки, глазам своим не верил; схватив монету, он прижался головой к стремян и обнял его руками.

– Господи Иисусе! – воскликнул он. – Да вознаградит вас Бог, вельможный пан!

– Оставайся с Богом.

– Храни вас Бог. Щитно перед вами.

С этими словами он ещё раз склонился к стремян и исчез. Юранд остался один на холме и смотрел в указанном крестьянином направлении на серую и влажную пелену тумана, которая заслонила от него мир. За этой пеленой таился зловеший замок, куда вели его неволя и злая судьба. Близко, уже близко! А там, что ж, чему быть, того не минуешь... При этой мысли в сердце Юранда, наряду со страхом и тревогой за Данусю, наряду с готовностью вырвать её из вражеских рук, пусть даже ценой собственной крови, родилось новое, невыразимо горькое и незнакомое ему доселе чувство унижения. Вот он, Юранд, при одном имени которого трепетали пограничные комтуры, по их повелению едет сейчас к ним с повинной головой. Он, который столько их победил и унизил, почувствовал себя сейчас побежденным и униженным. Нет, они не победили его в открытом бою, не одолели храбростью и рыцарской силой, и все же он чувствовал себя побежденным. Это было нечто неслыханное, ему казалось, что все кругом рушится. Он ехал для того, чтобы смириться перед крестоносцами, он, который, не будь Дануси, предпочел бы один сразиться со всей крестоносной ратью. Разве не случалось, что рыцарь, который должен был сделать выбор между позором и смертью, бросался на целое войско? А он чувствовал, что и его ждет, быть может, позор, и при мысли об этом готов был выть от боли, как воеет волк, почувствовав в своем теле стрелу.

Но это был человек, у которого не только тело, но и воля была железная, он мог сломить упорство других, но мог переломить и себя.

«Я не тронусь с места, – сказал он себе, – пока не укрошу свой гнев, ибо не спасти, а только погубить могу я в гневе свое дитя».

И он как бы схватился врукопашную со своим гордым сердцем, со своей яростью и жадной боя. Если бы кто-нибудь увидел его на этом холме, в доспехах, недвижного, верхом на рослом коне, он решил бы, что это отлитый из железа великан, и никак не подумал бы, что этот недвижимый рыцарь ведет в эту минуту самый тяжкий бой из всех, какие ему приходилось вести в своей жизни. Он боролся с собой до тех пор, пока не одолел себя и не почувствовал, что сила воли ему не изменит.

Тем временем мгла поредела, и в дымке замаячила вдали темная громада. Юранд понял, что это стены щитненского замка. Завидев их, он не тронулся с места, только стал молиться усердно и жарко, как молится человек, который может уповать только на милосердие божие.

Когда Юранд тронул наконец коня, он почувствовал, что в сердце его вливается бодрость. Он готов был теперь вынести все, что ждет его впереди. Он вспомнил Георгия Победоносца, потомка самого знатного рода в Каппадокии[82], который претерпел всякие позорные муки и все же не лишился чести, напротив, восседает одесную Бога и именуется покровителем всего рыцарства. От пилигримов, прибывших из дальних стран, Юранд не раз слышал рассказы об его подвигах и, вспомнив теперь о них, воспрянул духом.

В его сердце даже стала медленно пробуждаться надежда. Правда, крестоносцы славились своей мстительностью, и он не сомневался, что они отплатят ему за все поражения, которые он им нанес, за стыд, который терпели они после каждого боя с ним, и за страх, в котором он столько лет держал их.

Но именно это придавало ему мужества. Он думал, что они похитили Данусю только для того, чтобы захватить его, а если они его захватят, зачем им нужна тогда она? Да! Его непременно закут в цепи и не станут держать поблизости от Мазовии, а увезут в какой-нибудь дальний замок, где он, быть может, до гроба будет стонать в подземелье; но Данусю они отпустят. Даже если выйдет наружу, что они вероломно его захватили и томят в неволе, ни великий магистр, ни капитул не вменяют им это в вину, потому что он, Юранд, действительно был грозой крестоносцев и пролил больше их крови, нежели любой другой рыцарь в мире. Зато тот же великий магистр может покарать их за то, что они заключили в темницу невинную девушку, к тому же воспитанницу князя, перед которым магистр заискивал, предвидя, что ему грозит война с польским королем.

Эти мысли исполнили его сердце надеждой. Порой ему начинало казаться, что Дануся непременно вернется в Спыхов под надежные крылья Збышка... «Богатырь он, – думал Юранд, – никому не даст её в обиду». И, растрогавшись, старый рыцарь стал вспоминать все, что знал про Збышка: «Немцев под Вильно бил, на поединках с ними дрался, фризов изрубил, которых с дядей вызвал на бой, на Лихтенштейна напал, дочку оборонил от тура да четырем крестоносцам вызов послал и, наверно, им не простит». Юранд поднял тут глаза к небу и сказал:

– Я обещал её тебе, Господи, а ты её отдал Збышку!

И так легко ему стало, когда рассудил он, что уж если господь отдал Дануську юноше, то не позволит же он немцам насмеяться над собой, вырвет её из их рук, даже если вся крестоносная рать не станет отдавать её. Потом он опять стал думать про Збышка: «Мало того, что богатырь, но и душа у него добрая, не человек, золото. Будет он лелеять её, будет он любить её, и дай Бог счастья моему дитяти, но видится мне, что не пожалеет она с ним ни о княжеском дворце, ни об отцовской любви...» При этой мысли глаза Юранда вдруг увлажнились слезами, и сердце его сжалось, полное тоской. Так бы хотелось ему наглядеться ещё на свое дитятко и умереть не в мрачных подземельях крестоносцев, а нескоро, нескоро, в Спыхове, на руках у них обоих. Но на все воля Божья!.. Щитно уже виднелось. Стены замка все явственней вырисовывались во мгле, уже близок был час жертвы, и старый рыцарь, чтобы ободриться, говорил себе:

«Да, на все воля Божья! Жизнь моя уже на закате, годом больше, годом меньше, какая разница. Эх, хотелось бы наглядеться ещё на обоих, но и то сказать, пожил человек на свете, все изведаль, что должен был изведать, всем отомстил, кому должен был отомстить. А теперь что? Ныне на ногах, а завтра в могиле, и коли уж надо пострадать, ничего не поделаешь. Как ни хорошо будут жить Дануська со Збышком, а меня они не забудут. Верно, не раз будут вспоминать и раздумывать; где-то он теперь? Жив ли? Или уже на том свете?.. Станут разведывать и, может, узнают обо мне. Мстительный народ крестоносцы, но и до выкупа жадны. Збышко ничего не пожалеет, чтобы хоть кости мои выкупить у них, а уж на помин души дети, верно, не раз дадут. Хорошие они оба, сердечные, благослови их за это, господи, и ты, пресвятая Богородица!»

Дорога становилась все шире и многолюдней. В город тянулись сани с дровами и

соломой; гуртовщики гнали скот; с озер везли на санях мороженую рыбу; в одном месте четыре лучника вели на цепи мужика, видно, на суд за какую-то провинность: руки у него были связаны за спиной, а ноги закованы в кандалы, которые задевали за снег и мешали ему идти. Пар вырывался у мужика из уст и раздувавшихся ноздрей, а лучники, распевая, знай подгоняли его. Завидев Юранда, они уставились на него с любопытством, верно дивясь великанскому росту всадника и коня, но, заметив золотые шпоры и рыцарский пояс, опустили самострелы, приветствуя рыцаря и отдавая ему честь. В местечке было ещё более шумно илюдно, однако все торопливо уступали дорогу вооруженному рыцарю; он миновал главную улицу и свернул к замку, который, казалось, ещё спал, окутанный мглой, поднимавшейся надо рвом.

Но не все вокруг было погружено в сон. Не спало воронье; хлопая крыльями и каркая, оно целыми стаями кружилось над косогором, поднимавшимся к замку. Подъехав поближе, Юранд понял, почему сюда слетелось столько воронья. У дороги, ведшей к воротам замка, стояла огромная виселица, а на ней висели тела четырех мазурских крестьян, подданных ордена. В воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка, и трупы, которые, казалось, уставились глазами на собственные ступни, раскачивались только тогда, когда черные вороны, толкая друг дружку и задевая за воровки, садились им на макушки и плечи и клевали их опущенные головы. Некоторые трупы висели уже, видно, давно, черепа их совсем обнажились, а ноги непомерно вытянулись. При приближении Юранда стая со страшным шумом взвилась в воздух, но, сделав круг, повернула назад и стала садиться на перекладину виселицы. Юранд, крестясь, проехал мимо, приблизился ко рву и, остановившись в том месте, где над воротами повис подъемный мост, затрубил в рог.

Он протрубил раз, другой, третий и ждал. На стенах не было ни живой души, из-за ворот не доносилось ни звука. Однако через минуту с лязгом поднялось тяжелое решетчатое окошко, прорезанное в стене неподалеку от замка, и в проеме показалась бородатая голова немецкого кнехта.

– Wer da? – спросил резкий голос.

– Юранд из Спыхова! – ответил рыцарь.

Окошко снова опустилось, и воцарилась немая тишина.

Время текло. За воротами не слышно было никакого движения, только от виселицы долетал крик воронья.

Долго стоял ещё Юранд. Потом он поднял рог и затрубил ещё раз.

Но ему снова ответила тишина.

Тогда он понял, что крестоносцы держат его у ворот, обуянные гордыней, которой нет предела, когда они видят перед собой побежденного, что они хотят унижить его, как нищего. Он отгадал и то, что ему, быть может, придется ждать так до вечера, а то и дольше. В первое мгновение вся кровь ударила ему в голову, им внезапно овладело желание соскочить с коня, поднять один из камней, лежавших на краю рва, и швырнуть его в решетку. При других обстоятельствах так поступил бы и он сам, и любой другой мазовецкий или польский рыцарь, и пусть они выходят тогда за ворота на бой! Но он вспомнил, зачем приехал сюда, одумался и смирил свой порыв.

– Разве не отдаю я себя в жертву за родное дитя? – сказал он себе.

И снова стал ждать.

Но вот между зубцами стен что-то затемнелось. Стали показываться меховые шапки, черные колпаки и даже железные шлемы, из-под которых на рыцаря глядели любопытные глаза. С каждой минутой любопытных становилось все больше, ибо невиданным зрелищем был для стражи замка грозный Юранд, одиноко ждавший, пока для него откроются ворота крестоносцев. Если бы кто-нибудь из них увидел его раньше перед собой, это значило бы, что он взглянул смерти в глаза, а теперь они могли смотреть на него безнаказанно. Головы поднимались все выше, и наконец все зубцы поближе к воротам усеялись кнехтами. Юранд подумал, что, наверно, и рыцари смотрят на него сквозь решетчатые окна башни у ворот, и поднял глаза вверх, но окна были прорезаны в толстых стенах так, что смотреть в них можно было разве только вдаль. Зато на зубчатой стене в толпе, которая сперва глядела в молчании на Юранда, стали уже раздаваться голоса. То там, то тут слышалось его имя, то там, то тут звучал смех, хриплые голоса все громче и наглей улюлюкали, точно травили волка, а так как в замке никто им не мешал, то они стали в конце концов бросать комья снега в стоявшего у ворот рыцаря.

Тот невольно тронул коня; тогда на мгновение перестали лететь комья снега, голоса стихли и некоторые головы даже скрылись за стеной. Видно, грозным и впрямь было имя Юранда. Но скоро даже самые трусливые поняли, что от страшного мазура их отделяют ров и стена, и грубое солдатье снова стало бросать в него уже не только комья снега, но и льдинки и камни, которые со звоном отскакивали от доспехов и попоны, покрывавшей коня.

– Я отдал себя в жертву за родное дитя, – повторил про себя Юранд.

И снова стал ждать.

Наступил полдень, стены опустели, кнехтов позвали на обед; немногие солдаты, оставшиеся на страже, поели на стенах, а потом стали потешаться, швыряя в голодного рыцаря обглоданные кости. Одни стали спорить и подстрекать друг дружку сойти к рыцарю и дать ему кулаком по шее или двинуть древком копья. Другие, вернувшись с обеда, кричали, что, если ему надоело ждать, он может повеситься, – на виселице есть свободный крюк с готовой петлей. Под шум и гам, издевательства, взрывы смеха и проклятий проходили послеполуденные часы. Короткий зимний день клонился к закату, а мост всё ещё висел в воздухе и ворота оставались закрытыми.

Под вечер поднялся ветер, туман рассеялся, небо очистилось, и зажглась заря. Снега поголубели, а потом полиловели. Мороза не было, но ночь обещала быть ясной. Люди снова спустились со стен, осталась только стража, воронье от виселицы улетело прочь в леса. Потом небо потемнело, и наступила мертвая тишина.

«Они до ночи ворот не откроют», – подумал Юранд.

На мгновение у него мелькнула мысль, не вернуться ли в город, но он тотчас её отбросил. «Они хотят, чтобы я стоял тут, – сказал он себе. – Если я поверну назад, они уже не пустят меня домой, окружат, поймут, а потом скажут, что ничего они мне не обещали, что взяли меня силой, а если даже мне удастся прорваться, все равно не миновать ехать назад...»

Необычайный закал польских рыцарей, легко переносивших голод, холод и боевые труды, закал, которому дивились иноземные летописцы, часто позволял им совершать подвиги, на которые не были способны изнеженные люди Запада. Юранд же в ещё большей степени обладал этим закалом, и, хотя его уже терзали муки голода и, несмотря на тулуп, надетый под панцирем, пронизывал насквозь вечерний холод, он решил ждать, даже если ему придется умереть у этих ворот.

И вдруг, ещё до наступления ночи, он услышал скрип шагов на снегу.

Он оглянулся: со стороны города к нему направлялись шесть человек, вооруженных копьями и алебардами, а между ними шел седьмой, опираясь на меч.

«Может, им откроют ворота, и я тогда въеду с ними, – подумал Юранд. – Не станут же они брать меня силой или убивать – их слишком мало для этого; если, однако, они нападут на меня, значит, они не хотят сдержать обещание, и тогда – горе им!»

Он схватился за стальную секиру, висевшую у седла, такую тяжелую, что обыкновенный воин не смог бы поднять её даже двумя руками, и поехал навстречу им.

Однако они и не думали нападать на него, напротив, кнехты тотчас воткнули в снег древка копий и алебард; ночь ещё не окутала землю, и Юранд заметил, что оружие дрожит у них в руках.

Тогда седьмой, который похож был на начальника, торопливо вытянул вперед левую руку и, подняв её вверх, спросил:

– Это вы, рыцарь, Юранд из Спыхова?

– Я...

– Вы хотите выслушать, с чем меня прислали к Вам? Могущественный и благочестивый комтур фон Данфельд повелел сказать вам, что, пока вы не сойдете с коня, перед вами не откроют ворота.

Юранд помедлил минуту, затем сошел с коня, к которому тотчас подскочил один из копейщиков.

– Оружие вы тоже должны нам отдать, – снова сказал человек с мечом.

Рыцарь из Спыхова заколебался. А что, если они потом нападут на него, безоружного, и заколют его как зверя, а что, если схватят и ввергнут в подземелье? Однако через минуту он подумал, что тогда крестоносцы прислали бы больше народу. Ведь если они накинутся на него, то панцирь сразу не пробьют, а он вырвет оружие у первого же солдата и перебьет их всех, прежде чем подоспеет подмога. Уж его-то они знают.

«А если, – сказал он себе, – они хотят пролить мою кровь, так ведь я затем сюда и приехал».

Подумав об этом, он бросил сперва секиру, затем меч и мизерикордию – и ждал. Копейщики быстро подобрали оружие, затем человек, который говорил с Юрандом, отступил на несколько шагов и, остановившись, произнес наглым и громким голосом:

– За все обиды, нанесенные тобой ордену, ты, по повелению комтура, должен облачиться в это вретище, которое мы тебе оставляем, привязать на веревке на шею ножны меча и смиренно ждать у ворот, пока комтур не смилостивится над тобой и не прикажет отворить их.

И через минуту Юранд остался один во мраке и тишине. На снегу перед ним темнело покаянное вретище и веревка, но он долго стоял, чувствуя, как что-то в нем рвется и рушится, что-то гибнет и умирает, чувствуя, что через минуту он не будет уж больше рыцарем, не будет уж больше Юрандом из Спыхова, а нищим, невольником, без имени, без чести, без славы.

Протекли ещё долгие минуты, прежде чем он приблизился к покаянному вретищу и заговорил:

– Могу ли я поступить иначе? Ты знаешь, Иисусе, они задушат мое невинное дитя, если я не исполню всего, что они требуют, и ты знаешь, что для спасения своей жизни я бы никогда этого не сделал! Горек мой позор, горек! Но ведь и тебя перед смертью отдали на посмеяние. Во имя отца и сына...

Он наклонился, надел вретище, в котором были прорезаны отверстия для головы и рук, повесил на шею на веревке ножны меча и побрел к воротам.

Ворота были закрыты, но сейчас ему было безразлично, когда они откроются перед ним. Замок погрузился в безмолвие ночи, только стража перекликалась по временам на раскатах. В башне у ворот высоко светилось одно-единственное окошечко, остальные были темны.

Текли часы ночи, в небе поднялся лунный серп и озарил угрюмые стены замка. Тишина стояла такая, что Юранд мог бы услышать биение своего сердца. Но он онемел и оцепенел, словно из него вынули душу, и ничего уже не сознавал. У него осталась только одна мысль – что он перестал быть рыцарем, Юрандом из Спыхова, но кем он стал, это было ему неизвестно... По временам ему чудилось, что среди ночи к нему от повешенных, которых он видел утром, бесшумно идет по снегу смерть...

Вдруг он вздрогнул и мгновенно очнулся:

– Боже милостивый, что это?

Из высокого окошечка в башне у ворот долетели едва слышные сперва звуки лютни. Когда Юранд ехал в Щитно, он был уверен, что Дануси нет в замке; но от этого звука лютни посреди ночи сердце его мгновенно встрепенулось в груди, ему почудилось, что он узнает эти звуки, что это играет она, его дочь, милое его дитя!.. Он упал на колени, сложил молитвенно руки и, дрожа как в лихорадке, слушал.

Полудетский, исполненный безмерной тоски голос запел:

Ах, когда б я пташкой
Да летать умела,
Я бы в Силезию
К Ясю улетела.

Юранд хотел выкрикнуть любимое имя, позвать свое дитя; но слова застряли у него в горле, словно сжатом железным обручем. Волна боли, слез, тоски и горя залила внезапно ему грудь, он бросился лицом в снег и, объятый волнением, воззвал в

душе к небу, словно вознося благодарственную молитву:

– О Иисусе! Я слышу ещё голос моего дитяти! О Иисусе!

И все его огромное тело сотряслось от рыданий.

А в вышине полный тоски голос пел в невозмутимой ночной тиши:

Сиротинкой бедной

На плетень бы села:

«Глянь же, мой соколик,

Люба прилетела!..»

Утром толстый бородатый немецкий кнехт пнул ногой лежавшего у ворот рыцаря.

– Вставай, собака!.. Ворота открыты, и комтур повелел тебе предстать перед ним.

Юранд очнулся словно ото сна, он не схватил кнехта за горло, не сокрушил его своими железными руками, лицо его было тихим, почти смиренным; он поднялся и, не говоря ни слова, пошел за солдатом в ворота.

Не успел он миновать их, как позади раздался лязг цепей, подъемный мост стал подниматься вверх, а в воротах упала тяжелая железная решетка...

ПРИМЕЧАНИЯ

События, к которым обратился Сенкевич в романе «Крестоносцы», имели огромное значение как для истории Польши, так и для соседних с нею славянских и балтийских народов, ставших объектом немецкой феодальной агрессии. Это решающий этап борьбы против Тевтонского ордена, когда произошла знаменитая Грюнвальдская битва 1410 года, сломлено было могущество и приостановлена экспансия разбойничьего государства.

Тевтонский орден, или Орден крестоносцев, был немецким католическим духовно-рыцарским орденом. Возник он в XII веке, в эпоху Крестовых походов, в Палестине. Папа Иннокентий III утвердил его в 1198 году (тогда рыцари и стали носить белые плащи с черным крестом). Оставшись в Палестине не у дел, Орден сперва попытался обосноваться (но безуспешно) в Трансильвании (Семиградье), а затем ему удалось в XIII веке создать на чужих землях феодальное военно-колониционное государство. Началось с того, что князь Конрад I Мазовецкий (1187 или 1188 – 1247), стремясь с помощью рыцарей отразить набеги соседей, балтийского племени пруссов, отдал Ордену в 1226 году свои владения в Хелминской земле (на правом берегу Вислы в нижнем её течении). Отсюда крестоносцы начали покорение пруссов. К 1283 году вся Пруссия оказалась под гнетом рыцарей, которые в самом начале колонизаторского похода добились от императора, а вскоре и от папы буллы, согласно которой захваченные земли становились собственностью Ордена. Папа принял Орденское государство под свое покровительство. Дальнейшее его расширение шло как за счет земель, где имелось некрещеное население (Литва), так и за счет давно уже (в X в.) принявшей католичество Польши, шло методами насильственного захвата и посредством интриг, подкупа, обмана, дипломатических ухищрений. В Восточной Прибалтике Орден имел свой филиал: созданный в 1237 году из остатков Ордена меченосцев Ливонский орден, подчинявший папско-епископской власти земли латышей и эстонцев, пытавшийся продвинуться и дальше, но разбитый Александром Невским в Ледовом побоище 1242 года. К концу XIV – началу XV века владения Тевтонского ордена (с ливонскими землями) простирались от Лебы до Нарвы и занимали территорию в 200

000 кв. км.

В военно-административном отношении Орден был строго централизован. Главой его был избираемый пожизненно великий магистр (гроссмейстер). В годы, когда происходит действие «Крестоносцев», эту должность занимал с 1393 по 1407 год Конрад фон Юнгинген, а затем Ульрих, его брат, убитый под Грюнвальдом. Великому магистру подчинялись магистры провинций (тогда их было три: Германия, Пруссия, Ливония). Части провинций (земли) управлялись фогтами. Члены Ордена делились на конвенты (обычно 12 рыцарей и 6 священников), каждый из которых имел резиденцию в замке, являвшемся одновременно и центром управления административным округом (комтурией, командорией). Комтуры, правители округов, во время войны командовали отдельными отрядами. В романе часто выступают носители этой должности с прибавлением к ней названий замка и города. Великие магистры имели (с 1309 г.) резиденцию в городе и крепости Мариенбурге (польское название – Мальборк) на реке Ногате, правом рукаве Вислы. Власть великих магистров, сравнимую с монаршей, ограничивало существование генерального капитула, считавшегося верховной властью в Ордене. Повседневное управление осуществлялось великим магистром вместе с советом из пяти высших сановников: великий комтур (замещавший главу Ордена в мирное время, являвшийся квартирмейстером), великий маршал (военачальник, заместитель на поле боя), великий госпитальер (начальник лазаретов), великий ризничий и казначей. Только «братья» из немецких дворян имели полноту прав в Ордене, назначались на высокие должности, составляли основу тяжелой конницы – главной военной силы крестоносцев. Жили там также светские дворяне, клир, так называемые «полубратья» – политически бесправные горожане и крестьяне (из них набиралась пехота, кнехты). Недовольство поработанных низов ослабляло Орден и со временем привело к тому, что его правители все меньше полагались на население своей державы и прибегали к услугам наемников.

Территориальным приобретениям крестоносцев способствовали нелады между сопредельными народами и отсутствие у соседей государственного единства. Когда начался натиск Ордена на польские земли, Польша не успела выйти из состояния феодальной раздробленности. В раннефеодальный период первым князьям и королям из династии Пястов удавалось собирать под свою руку этнографически польские земли (те, которые входят в границы ПНР). С конца XI века страна распадается на уделы, независимые друг от друга княжества, которым трудно было противостоять натиску извне. Борьба за объединение польских земель началась с конца XIII века. Выдающуюся роль сыграл в ней Владислав I Локоток (Локеток, 1260 – 1333), князь ленчицкий и куявский, после длительной борьбы объединив под своей властью Великопольшу (с Гнезно, Познанью, Калишем) и Малопольшу (с Краковом, где в 1320 г. он был коронован как польский король). Активно противодействовали Владиславу чешские короли (сами занимавшие в начале XIV в. польский престол), бранденбургские маркграфы и Тевтонский орден. Последний захватил в 1308 – 1309 годах Восточное (Гданьское) Поморье, потеря которого лишила Польшу устья Вислы и отрезала от моря. Мирным путем Локотку Поморья вернуть не удалось. В 1327 году начались военные действия (персонажи романа вспоминают о разорении крестоносцами городов Серадза и Ленчицы). 27 сентября 1331 года под деревней Пловце в Куявии Владиславу удалось разбить часть сил Ордена. Но Поморья король (которому противодействовала сепаратистски настроенная знать, «можновладцы») не отвоевал. Более того, в 1332 году Орден занял Куявию (она лежит рядом с Хелминской землей, между средней Вислой и Нотецем) и, по условиям заключенного тогда же перемирия, сохранил её, как и соседнюю Добжинскую землю, за собой.

Правивший с 1333 по 1370 год сын Локотка Казимир III Великий стремился к укреплению центральной власти, содействовал развитию городов и торговли,

различными (чаще не военными) средствами стремился приобрести и упрочить влияние в других частях Польши. Он начал вместе с тем захват Галицко-Волынской земли. С Орденом Казимир заключил в 1343 году в Калише «вечный мир», согласно которому Польше возвращались Куявия и Добжинская земля, а Поморье и Михаловская земля оставлялись крестоносцам. Надолго примириться с этим было нельзя: устье Вислы с Гданьском было совершенно необходимо для торговли, для нормального развития страны. Борьба откладывалась лишь на время. Надо было накапливать силы.

Наследника-сына у Казимира не было. Королем стал сын его сестры Эльжбеты и Карла-Роберта Анжуйского, Людовик (в Венгрии, где он занял престол в 1342 г. – Лайош Великий), при котором конфликт с Орденом отошел в тень. Людовик был занят Венгрией, польские дела поручал матери и избранным сановникам, в Краков приезжал редко и ненадолго. После его смерти (1382 г.) польско-венгерская уния, возбудившая недовольство шляхты, была расторгнута. Последовал период смут: в Великопольше произошла междоусобная война между родами Гжималитов и Наленчей, сторонниками анжуйской династии и её противниками, поддержавшими мазовецкого князя. Шляхта, которой были предоставлены новые привилегии, согласилась на наследование престола дочерью Людовика (с условием её постоянного проживания в стране). Была отвергнута кандидатура старшей, Марии, вышедшей замуж за Сигизмунда Люксембургского, в 1378 – 1415 годах бранденбургского маркграфа, с 1387 года венгерского короля, с 1410 года главы Священной Римской империи, затем чешского короля, ярого врага гуситов (все эти годы он вел политику, противную польским интересам, и поддерживал Орден). Коронована была 15 октября 1384 года младшая из сестер – Ядвига (1374 – 1399).

Объединение польских земель на исходе XIV века завершено не было. Экономически развитая, с сильными городами, Силезия (Шлёнск) была разбита на княжества, где сидели местные Пясты, и попала большей своей частью в ленную зависимость от Чехии, чей король именно за эту цену отказался в 1335 году от притязаний на польский престол. (В XVI в. ею завладели Габсбурги, в XVIII в. – Пруссия; только в 1945 г. она полностью возвращена была Польше.) Западное Поморье (со Щецином), в вассальную зависимость от Священной Римской империи попавшее ещё в XII веке и тоже пребывавшее в раздробленности, хоть и сблизилось в XIV веке с Польшей, но осталось вне её пределов (в XVII в. его захватили шведы, а затем Бранденбургско-Прусское государство; устье Одры только сорок лет назад вновь стало польским). Мазовия (Мазовше), северо-восточная часть Польши, соседствовавшая с Литвой и с владениями крестоносцев, распалась с середины XIII века на ряд мелких княжеств, большинство которых со второй половины XIV века признало себя ленниками польского короля. (Лишь в первой половине XVI в. Мазовия стала неотъемлемой частью королевства.) На страницах «Крестоносцев» появляются двое местных князей. Януш I (1340 – 1429), владетель княжества цехановского, варшавского (он сделал будущую польскую столицу княжеской резиденцией) и других, женатый на литвинке, дочери Кейстута, Дануте Анне (ок. 1362 – 1448), признавал королевский суверенитет над Мазовией. Его брат Земовит (Семовит, Семко) IV (ок. 1352 – 1426), князь плоцкий, сохачевский и проч., после смерти Людовика претендовал на польскую корону и, хоть взял в жены Александру, сестру Ягелло, от присяги последнему до конца жизни уклонялся (её пришлось принести его детям), был одно время (как и его жена) связан с Орденом, принимая от него посулы и подарки.

Опорой центральной власти призвано было стать рыцарское сословие (шляхта). К нему принадлежат герои «Крестоносцев», главные и второстепенные, рожденные вымыслом и известные историкам. Как ни живуч был феодальный партикуляризм, все в большей степени это сословие зависело от службы королю, которая была

обязанностью и давала право на землевладение и власть над крестьянами. Наряду с рыцарями полноправными, посвященными в это звание старшим в феодальной иерархии, были воины-слуги, оруженосцы. Особое положение занимали «можновладцы», крупные феодалы. Во второй половине XIII века рыцарское сословие стало обзаводиться наследственными гербами (девиз, боевой клич был известен и раньше). На базе существовавших родов стали складываться роды геральдические, к гербам которых можно было «приписаться» без наличия кровного родства.

Реальных исторических лиц в романе так много, что комментировать появление каждого из них просто невозможно, да и незачем. Одни были славны прежде всего ратным искусством, доблестью и силой. Таков знаменитый Завиша Чарный из Гарбова, герба Сулима, дравшийся, кроме Грюнвальда, во многих сражениях и на турнирах, побывавший на иноземной службе и погибший в 1428 году в венгеро-турецкой войне. Как турнирный боец, был известен и Якуб из Кобылян (ок. 1380 – после 1419), отличившийся в битвах с Орденом. Играющий довольно заметную роль в повествовании Миколай Повала из Тачева на страницах хроники, посвященных Грюнвальду, назван меж теми, кто стоял в первом ряду хоругви придворных чинов, а в первом ряду краковской хоругви историк перечислил восемь рыцарей, много раз упомянутых Сенкевичем. Как искусный в водительстве войск отмечен в хрониках предводитель этой хоругви и обозный (квартирмейстер) польских войск Зындрам из Машковиц (ум. ок. 1414 г.). В складывавшейся административной системе управления страной главные должности занимали «можновладцы» как при дворе, так и на местах: воеводы, старосты (королевские наместники), каштеляны (правители замка с округой). Таких в книге много. Названы лица, последовательно занимавшие должность краковского каштеляна: Ясько (Ян) из Тенчина (1398 – 1405 гг.), Ян из Тарнова (1406 – 1409 гг.), Кристин из Острова (с 1410 г.). Придворные должности (маршалок, мечник, стольник, подचाший, ловчий и др.) тоже упоминаются на страницах «Крестоносцев». О происхождении, значении и судьбе этих и других чинов должен, впрочем, помнить читатель, познакомившийся уже с трилогией.

Серьезное влияние на государственные дела оказывали высшие лица в церковной иерархии, епископы и архиепископы (в частности, только они были тогда королевскими канцлерами и подканцлерами). Роль тех, кто изображен писателем, была в происходящих событиях неодинакова: одни больше думали о возвышении церкви и умножении её богатств, другие выше ставили служение государственному делу. Советниками короля в заграничных делах были Миколай Куровский (ум. в 1411 г.), епископ познанский (1395 г.), влоцлавский (1399 г.), архиепископ гнезненский (1402 г.), который замещал с 1409 года уехавшего на войну короля, и Миколай Тромба (ок. 1358 – 1422), королевский секретарь и подканцлер (1404 г.), после Грюнвальда гнезненский архиепископ, первый в Польше примас. Видным дипломатом был Войцех Ястшембец (1362 – 1436), канцлер ещё при Ядвиге, епископ в Познани (1399 г.) и Кракове (1412 г.), ставший примасом после Тромбы. А вот о другом канцлере и епископе, Петре Выше (ок. 1350 – 1414), сообщают, что он, столь же богатый, сколь и прижимистый, не потратил своих средств в час войны, в отличие от других прелатов, выставивших под Грюнвальдом нанятые ими хоругви. Под конец книги появляется в роли скромного писца при короле Збигнев Олесницкий (1389 – 1455), впоследствии епископ и кардинал, глава оппозиционной можновладской группы, конфликтовавший с королем Казимиром Ягеллончиком (неприятель перенесший и на его отца), сторонник верховенства духовной власти над светской.

Из внешнеполитических задач самой неотложной была, разумеется, борьба с орденой агрессией. Опасность грозила и со стороны других немецких феодалов. На востоке «можновладцев» манили земли западнорусских и южнорусских княжеств, за овладение которыми надо было спорить с Литвой, с Венгрией. Стремясь увеличить

силы и облегчить решение сложных задач, польские феодалы обратили взоры в сторону Литвы.

Великое княжество Литовское сложилось в XIII – XIV веках и расширилось за счет ослабленной монголо-татарским игом Руси. Православное население стало в нем составлять большинство, принеся свой язык, право, культуру, письменность. Подчинение удельных князей центральной власти, воинственное соперничество с Москвой, успешно объединявшей русские земли, угроза со стороны Орды определяли политику ряда литовских правителей. С другой стороны, само существование Литвы ставилось под угрозу натиском крестоносцев. Воевал с ними (битва при оз. Дурбе в 1260 г.) ещё Миндовг (Миндаугас, убит в 1263 г.), объединивший литовские земли. После 1283 года и особенно после Калишского мира крестоносцы все чаще переходят Неман: только с 1340 по 1410 год они совершают до сотни походов на литовские земли, сооружают опорные пункты экспансии – замки Баербург, Марианвердер, Готтесвердер и другие. Поскольку язычество официально существовало в Литве до конца XIV века, Орден выставлял эту агрессию перед Европой как богоугодную миссионерскую акцию. С особым упорством он стремился завладеть Жемайтией (Жмудью), дабы соединить свои прусские и ливонские владения. Ожесточенную борьбу с рыцарями ведут Гедимин, правивший с 1316 года и убитый в 1341 году при осаде Баербурга, а также его сыновья Ольгерд (княжил в 1345 – 1377 гг.) и Кейстут. Тогда произошли успешные для литовцев, но не усмирившие захватчиков битвы при реках Стреве близ Трок (Тракай) в 1348 году и Рудаве (близ Кенигсберга; по-польски – Крулевец) в 1370 году. Затем на великом княжении утвердился сын Ольгерда Ягайло (ок. 1350 – 1434), а ополчившийся на него и на время изгнавший его из столицы Кейстут был схвачен племянником и погиб (1382 г.) в подземельях Кревского замка. В политике, направленной против Москвы (Ягайло, как известно, в канун Куликовской битвы 1380 г. заключил союз с Мамаем), и в междоусобной борьбе за власть новый князь нуждался в опоре. В обмен на помощь Тевтонского ордена он обещал в 1382 году отдать ему Жмудь.

14 августа 1385 года в замке Крево (ныне Гродненская обл. БССР) было заключено соглашение о династическом союзе между Литвой и Польшей. 18 февраля 1386 года Ягайло был обвенчан с Ядвигагой и под именем Владислава II Ягелло провозглашен польским королем. В 1387 году Литва официально приняла католичество. В Вильнюс (Вильно) был посажен епископом поляк Анджей Ястшембец.

Орден с озлоблением запротестовал против унии, объявляя крещение литовцев фиктивным, требуя от папы признания королевского брака недействительным. Но факт распространения католичества на Литву в глазах папы оказался достаточно весомым. Крестоносцы пытались использовать несогласие среди польских и литовских князей и панов. В Польше открыто действовал в пользу крестоносцев (вместе со своим племянником влоцлавским епископом Яном Кропило, 1360 – 1421) опольский князь Владислав (1327 – 1401), связавшийся с Сигизмундом Люксембургским и предававший интересы польской короны. В 1392 году он отдал под залог Ордену Добжинскую землю, полученную им в управление ещё от Людовика Венгерского, и даже выдвинул план раздела польских земель между соседями. Королева Ядвига, стремясь миром вернуть утраченное, встретилась в 1397 году с великим магистром, но справедливости не добились.

Литовские князья видели в смене религии прямую выгоду: средство сломить православных удельных князей. Боярам импонировали права, имевшиеся у польских феодалов. Ставшие католиками, приписавшиеся к шляхетским гербам эти права приобретали, а верные православию оказывались обиженными. Захват польскими панами галицко-волынских и подольских земель, стремление истолковать унию как

переход Литвы под польскую администрацию вызывали понятное недовольство. Во главе сторонников литовской самостоятельности стал сын Кейстута Витовт (Витаутас, Витольд, в крещении – Александр, ок. 1350 – 1430). Заточенный вместе с отцом, он бежал из кревской темницы сперва в Мазовию, а затем к крестоносцам, с помощью которых воевал против Ягайла. Затем последовало примирение, Витовт получил в удел несколько княжеств и присутствовал при Кревской унии. Но недоверчивость и неприязнь Ягайла, поставившего наместником в Литве своего брата Скиргайла (1354 – 1397) и отдавшего ему Троки (которые, как отцовское наследство, считал своими Витовт), сделали соглашение недолговечным. В 1389 году Витовт снова бежит к крестоносцам, ведет их в Литву и осаждает Вильнюс. Король снова мирится с Витовтом, повернувшим оружие против Ордена и вырезавшим его гарнизоны, заключает с ним в 1392 году в Острове договор, которым отдает ему в управление Литву, как королевскому наместнику. (Позже, в 1401 г., согласно виленско-радомскому соглашению, Витовт пожизненно избирается великим князем литовским.) Крестоносцы не прекращают войны, в 1394 году ещё раз идут на Вильнюс, пробуют поссорить Витовта с королем, направить литовскую экспансию на восток. Витовт (хоть и был тестем великого князя Василия Дмитриевича) не ладил с Москвой, опасаясь, что влияние последней усилит сопротивление православных удельных князей его единовластию, вступал в союзы с противниками московских князей, вмешивался в дела русских соседей. Готовясь к походу на восток, он отдал Жемайтию в 1398 году Тевтонскому ордену.

Примерно с этого времени читатель может следить за событиями непосредственно по роману Сенкевича, в комментарии находя конкретизирующие указания на реальные факты. Описанная на последних страницах романа Грюнвальдская битва окончилась начавшаяся в 1409 году «великую войну» против Тевтонского ордена.

После Грюнвальда, взяв множество городов и замков в Пруссии, Владислав II Ягелло осадил Мариенбург, но взять его не смог. 26 сентября он снял осаду, 10 октября одержал победу в битве под Короновом и в декабре заключил перемирие. Многие историки, начиная с Длугоша, говорили, что плоды Грюнвальдской победы не были должным образом использованы. Но следует учитывать и неблагоприятные для польского короля обстоятельства: уровень имевшейся военной техники, состояние войска, не подготовленного к штурму первоклассных укреплений, угроза со стороны союзника Ордена венгерского короля Сигизмунда, ставшего в 1410 г. императором, поддержка, оказанная крестоносцам римской курией, и т. д. По Торуньскому миру (1 февраля 1411 г.) Орден отказался от претензий на Жемайтию до смерти Ягелло и Витовта, отдал Добжинскую землю, выплатил крупную контрибуцию. Борьба с крестоносцами продолжалась. Военные действия возобновлялись в 1414 г. (но под давлением римской курии кончились перемирием и пристрастным, в пользу крестоносцев, папским арбитражем), а затем – в 1422 г., в результате чего Орден отказался от Жемайтии уже навечно. Лишь после Тринадцатилетней войны 1454 – 1466 гг. Польша вернула себе, согласно условиям мира, заключенного опять-таки в Торуня, Восточное Поморье, Хелминскую и Михаловскую земли, Мальборк, Эльблонг и епископство Вармию. Орден (столицей его стал теперь Кенигсберг) признал себя вассалом польского короля. В 1525 г. Орденское государство было ликвидировано, возникло государство светское – герцогство Пруссия, причем до 1657 г., до времен, описанных в «Потопе», ленная зависимость его от Польши сохранялась.

«Крестоносцы» печатались в варшавском «Слове», «Тыгоднике иллюстрированом», «Дзеннике познаньском» в 1897 – 1900 годах. В 1900 году вышло отдельное издание.

Примечания

В Тынце под Краковом (ныне это часть города) было в древние времена заложено аббатство бенедиктинцев, старейшего из католических монашеских орденов.

2

Сохранился памятник польско-латинской поэзии XIV в. «Песнь о краковском войте Альберте», где описывается бунт немецкого патрициата в Кракове (1311 г.), не без труда в течение года подавленный Локотком.

3

Платить наличными (лат).

4

Тогдашние фамилии, вернее, прозвания. (Примеч. автора.)

5

Подканцлера, которого в 1389 г. король направил в Вильно, звали Клеменс (ум. в 1408 г.). Ошибка перекочевала в роман, по-видимому, из латинской «Истории Польши» Яна Длугоша (1415 – 1480), которая использовалась Сенкевичем в качестве одного из источников.

6

Вацлав IV (1361 – 1419) из династии Люксембургов был чешским королем в 1378 – 1419 гг., императором до 1400 г. (низложен немецкими феодалами), вел борьбу с братом Сигизмундом (в связи с этим иногда поддерживал Польшу). Об упомянутом здесь «рыцарском единорстве», как назначенном, но несостоявшемся, пишет Длугош, относя спор к 1390 г.

7

Краковский епископ Станислав из Щепанова (ок. 1030 – 1079), выступивший против короля Болеслава Смелого и за это казненный, был канонизирован в 1254 г.

8

Скоец был равен двум грошам и составлял 1/24 часть гривны (при Казимире III равнялась 197 г серебра). На один скоец можно было купить четырех цыплят, на шесть – бочку пива.

9

Рынгалла (в крещении Елизавета, ум. 1433) была потом замужем за молдавским господарем.

10

Генрик (1366 – 1398), епископ плоцкий, был младшим братом Земовита и Януша.

11

Речь идет о «великом расколе» 1378 – 1417 гг., когда католический клир разделился на две, а потом три церкви, во главе которых стояли соперничавшие папы. В годы, описанные в «Крестоносцах», в Авиньоне был папа Бенедикт XIII (1394 – 1423), в Риме – Бонифаций IX (1389 – 1404), Иннокентий VII (1404 – 1406), Григорий XII (1406 – 1415). Собор в Пизе, низложив в 1409 г. двух пап, избрал третьего, но его не признали местные курии. «Троепапие» ликвидировал в 1417 г. Констанцкий собор.

12

Свидригайло (в католичестве Болеслав, ок. 1370 – 1452), младший из Ольгердовичей, будучи недоволен сближением Ягелло с Витовтом и передачей последнему власти в Литве, бежал к крестоносцам, признал себя их вассалом и отдал им Жемайтию. Несколько лет он воевал с Витовтом, пока не получил в удел Подолию и Северскую землю. После смерти Витовта был в 1430 – 1432 гг. великим князем литовским, вступил в конфликт с польскими феодалами из-за подольских земель и был низложен, боролся за власть, найдя опору в русских землях княжества и принимая помощь Ордена, но потерпел неудачу.

13

Имеется в виду великий магистр Ордена в 1391 – 1393 гг. Конрад фон Валленрод. Мицкевич сделал его героем одноименной поэмы (наделив такой судьбой и мотивами действий, которые являются плодом художественного вымысла и далеки от реальности).

14

Самбия – часть Пруссии, завоеванная Орденом к середине XIII в.

15

Затор – город в Силезии (в нынешнем Бельском воеводстве), находившийся во владении одной из ветвей местных Пястов.

16

Витовт принял у себя изгнанного золотоордынского хана Тохтамыша, разбитого в 1395 г. Тимуром (Тамерланом) и в 1398 г. ханом Заволжской орды Темир-Кутлум (Тимур-Кутлуком). Витовт взял Тохтамыша в союзники, чтобы получить через него владычество над всей Русью. На реке Ворскле в 1399 г. они были разбиты главой золотоордынского войска Едигеем (1352 – 1419).

17

Комес (лат.) – звание, которым в Польше титуловали в XI – XII вв. высших сановников. В XIII в. оно распространилось на знать вообще, встречалось в документах до середины XIV в.

18

Под 1394 г. Длугош помещает известие о том, как Януш «воздвиг на реке Нареве, на земле и в княжестве своего удела, новую крепость, которую назвал Злоторьей», а появившиеся крестоносцы сожгли все укрепления ещё не законченного деревянного

замка, князя же посадили «на кобылу и, связав ему под брюхом той кобылы ноги», отвезли к «прусскому магистру» (Длугош Я. Грюнвальдская битва. М. – Л., 1962, с. 34).

19

То есть рыцаря из Фрисландии (историческая область у берегов Северного моря, ныне провинция Нидерландов).

20

Повесть о Вальгере Прекрасном (иначе: Вальгеже Удалом) приведена в «Великопольской хронике» Годзислава Башко (конец XIII в.) и является польской переработкой западного сюжета о Вальтере Аквитанском.

21

аббат ста деревень (лат.).

22

Бенедикт Нурсийский (480 – 543) – реформатор западноевропейского монашества, основатель монастыря Монтекассино (близ Неаполя) и ордена бенедиктинцев. Далее называются другие чтимые этим орденом святые.

23

Бригитта (1303 – 1373), шведская принцесса, основательница женского монашеского ордена, была причислена к лику святых в 1391 г. (Сыграли тут роль хлопоты враждовавшей с Тевтонским орденом Маргариты, королевы Дании, Норвегии и Швеции.) До нас дошли фрагменты польского перевода «Откровений святой Бригитты», сделанного, согласно одному из предположений, в конце XIV в. для королевы Ядвиги.

24

Филипп Смелый (1342 – 1404) – бургундский герцог с 1363 г.

25

Станислав Цёлек (до 1383 – 1437), сын мазовецкого воеводы Анджея, учился в 1392 – 1402 гг. в Пражском университете, позднее стал подканцлером и епископом, писал латинские стихи.

26

Исторический факт. (Примеч. автора.)

27

Карл IV Люксембургский (1316 – 1378) был императором с 1347 г., чешским королем с 1346 г. Отец Вацлава и Сигизмунда.

28

Исторический факт. (Примеч. автора.)

29

Когда Краков стал столицей объединенного польского государства, были сооружены такие известные памятники старопольского зодчества, как Мариацкий костёл (XIII – XV вв.), Сукенницы (здание цеха суконщиков, XIV – XVI вв.) и др.

30

торг, гостиный двор (лат.).

31

Кафедральный собор на Вавельском холме был построен в 1320 – 1361 гг.

32

Добко (Добеслав) из Олесницы (ум. в 1440 г.). – Длугош сообщает о нем, что на турнире, устроенном в Торуне в честь польского короля, он обращал на себя «взоры всех зрителей силой духа и тела», а «сев на коня по королевскому приказанию, настолько превзошел своих противников, что вынудил всех их покинуть поле», и «даже в третьем часу ночи только он один оставался на виду на арене, хотя против него несколько раз выступали, сменяя один другого, новые и новые придворные рыцари магистра Пруссии» (там же, с. 40). Эпизод этот историк, однако, помещает под 1404 г.

33

Витовт был тогда женат на дочери князя Дмитрия Ольгердовича (ум. в 1399 г.) Анне, умершей в 1418 г.

34

Восточные половцы (кипчаки) после завоевания составили основную часть населения Золотой Орды, ассимилировав монгольских пришельцев и передав им свой язык.

35

Синей ордой в русских источниках называли Ак-Орду (Белую орду), объединение тюркско-монгольских племен (на северо-востоке от Аральского моря и в бассейне Сырдарьи), покоренное в конце XIV в. Тимуром.

36

Закристя – ризница.

37

То есть на будущий Ягеллонский университет, основанный Казимиром в 1364 г. и в первые века называвшийся Краковской академией, а в 1400 г. обновленный (после упадка при Людовике) и реорганизованный, чему содействовала Ядвига, которая завещала университету лично ей принадлежавшее имущество.

38

Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое (лат.).

39

Смоленск был захвачен Витовтом в 1395 г. В 1401 г. смоляне восстали, убили литовского наместника и поставили своего князя. Витовт снова взял город в 1404 г. после осады. В 1514 г. Смоленск был отвоеван Русским государством, в 1611 г. опять, несмотря на геройское сопротивление, захвачен Сигизмундом III, взят обратно войсками царя Алексея Михайловича в 1654 г.

40

Мир вам! (лат.)

41

адский огонь (лат.).

42

Ныне это район Кракова, в древности – пристоличный городок.

43

Ее называли Эльжбетой-Бонифацией; первое имя – в честь Елизаветы Боснийской, матери Ядвиги.

44

Станислав из Скарбимежа (из Скальбмежа, 1360 – 1431) был юристом и философом, первым ректором Краковской академии после её реорганизации.

45

Имеется в виду Остров-Велькопольский (ныне Калишское воеводство).

46

Спытко (Спытек) из Мельштына (до 1362 – 1399), краковский воевода, действительно выдвинулся на одно из первых мест среди знати: не принадлежа к княжескому роду, он получил от короля в 1387 г. в управление Подолию.

47

Олькуш (ныне Катовицкое воеводство) в XIV – XVI вв. как раз переживал пору расцвета рудных промыслов (добыча серебра, свинца).

48

Отроками на средневековой Руси (в X – XI вв.) были названы младшие дружинники князей и крупных феодалов.

49

Уменьшительное от Пшецлав. (Примеч. автора.).

50

Вильк (wilk) – по-польски: волк.

51

школяры (лат.).

52

Константинопольский престол занимал тогда Мануил III.

53

Все законы, любое право позволяет отражать силу силой и защищаться всеми средствами (лат.).

54

женщину (лат.).

55

распутную и пьяницу (лат.).

56

служила Бахусу (лат.).

57

прелюбодейка (лат.).

58

супругу (лат.).

59

Яблоко от яблони недалеко падает (лат.).

60

помои (лат.).

61

Во веки веков, аминь (лат.).

62

Джон Виклиф (Уиклиф, между 1320 и 1330 – 1384) – английский богослов, выступавший против папской теократии, церковной собственности, культа святых, торговли индульгенциями и оказавший влияние на движение Реформации в других европейских странах.

63

Имеется в виду город Целье и Цельское графство в Словении.

64

Винцентий из Шамотул (ум. в 1332 г.) – познанский воевода, «генеральный староста» великопольских земель, за измену отстраненный от должности Локотком и перекинувшийся на сторону Ордена; участвовал в опустошительном походе крестоносцев на Великопольшу в июле 1331 г., но затем перешел к королю.

65

Курпами называли обитателей лесных пущ по нижнему течению реки Нарев (северная Мазовия). Они занимались охотой, бортничеством, смолокурением. Христианство в Мазовии распространялось медленнее, нежели в других частях Польши, но уже во второй половине XI в. было создано мазовецкое епископство с центром в Плоцке.

66

Святой Иаков из Компостеллы – патрон основанного в XII в. духовно-рыцарского ордена Сантьяго-де-Компостелла.

67

Мир! Мир! (лат.)

68

Цымбарка, которая вышла замуж за Эрнеста Железного, Габсбурга. (Примеч. Автора.) Цымбарка (ок. 1395 – 1429) была дочерью Земовита IV и Александры. Потомки её и Эрнста были императорами Священной Римской империи.

69

Рыцарь Утер, влюбившись в целомудренную Игерну, жену герцога Горласа, с помощью Мерлина оборотился Горласом и имел от Игерны сына, короля Артура. (Примеч. автора.)

70

О подобных случаях вспоминает Виганд из Марбурга. (Примеч. автора.)

71

Святой Бонифаций, основатель и глава германской церкви, заложивший ряд монастырей и епархий, был убит в 755 г. близ Докума шайкой разбойников.

72

опоясанный воин (лат.).

73

Ладно! Ладно! (лат.)

74

Якуб Курдвановский из Кожкви был площким епископом в 1396 – 1425 гг.

75

В случае смерти (лат.).

76

Со агнец господень (лат.).

77

Господи, недостоин я (лат.).

78

Богородице, дево, радуйся (лат.).

79

Бартош Наленч из Одолянова (ум. в 1393 г.), участник войн с Гжималитами, был старостой Куявии и познанским воеводой.

80

Город Козмин расположен в нынешнем Калишском воеводстве.

81

Кто там? (нем.)

82 Каппадокия – местность в восточной части Малой Азии, римская провинция, откуда родом был, согласно христианской житийной литературе, воин-мученик Георгий Победоносец (II – III вв. н. э.).